

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 2004

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 2004



Посвящается
светлой памяти
Лидии Дмитриевны
Громовой-Опульской

Знание

только тогда знание,
когда оно приобретено усилиями
своей мысли, а не памятью.

Лев Шайден



Л. Н. Толстой в гостях у Чертковых. Ясенки. 1907 г.
Фотография В. Г. Чертова

Государственный и природный заповедник
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“»
Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК

2004

статьи
материалы
публикации

ТУЛА



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Л. Д. Громова-Опульская, К. Н. Ломунов — *главные редакторы*,
Н. И. Азарова, Т. Н. Архангельская, Л. В. Гладкова,
О. А. Голиненко, В. А. Лебедева, В. Б. Ремизов,
Н. П. Пузин, В. И. Толстой, Б. М. Шумова

Составители:

Л. В. Милякова, А. Н. Полосина

Я 82 **Яснополянский сборник-2004:** Статьи, материалы, публикации. — Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2004. — 354 с.: ил.

ISBN 5-93322-022-1

Двадцать второй выпуск «Яснополянского сборника» содержит последние работы российских и зарубежных исследователей жизни и творчества Л. Н. Толстого.

Издание адресовано литературоведам, преподавателям и студентам, музейным сотрудникам, культурологам и всем, интересующимся жизнью и творчеством Л. Н. Толстого.

ББК 83.3 (2=Рус) 1

СОДЕРЖАНИЕ



От редколлегии

11

Список условных сокращений

12

ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО: ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА

Мишель Окутюрье

Страх как критерий подлинности
в военных рассказах Толстого

15

Владимир Гудаков

Лев Толстой и Кавказ: произведения
о Кавказе как этнологический источник

21

И. Н. Исакова

На пути к пониманию (повесть «Утро помещика»)

24

О. В. Сливацкая

Внешний и внутренний ракурс
создания «образа человека»: «Анна Каренина»

34

А. Ю. Большакова

Русский «золотой век» у Л. Толстого
(к проблеме литературного архетипа)

62

Н. В. Волохова

Социально-антропологическая концепция Л. Н. Толстого
как основа иерархии духовных ценностей в его учении

83

Г. В. Овчинникова

Асимметрия языкового знака при передаче реалий
исходного текста в переводном (на примере французского
и немецкого переводов повести «Хаджи-Мурат»)

96

Магбуля Магеррамова

Л. Н. Толстой на сцене театров Баку

105

**КРУГ ЧТЕНИЯ,
ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА****Л. А. Сапченко**

«Сельский житель» и «Русский путешественник»
в произведениях Л. Н. Толстого «Утро помещика» и «Людцерн»
(к проблеме «Толстой и Карамзин»)

113

Чарльз Эпштейн

Толстой на литературном чтении Диккенса
(перевод с английского С. А. Макуренковой)

129

Н. Г. Михновец

Рождественская повесть Диккенса
в художественной рецепции Льва Толстого

135

И. Е. Гринева

Молодой Толстой — читатель
русских журналов 1850-х годов

151

Л. В. Милякова

Как Толстой Тургенева читал
(по материалам яснополянской библиотеки)

160

Мишель Кадо

Лев Толстой — читатель и переводчик Виктора Гюго
(перевод с французского А. Н. Полосиной)

179

Г. В. Алексеева

Рецепция Л. Н. Толстым
социалистических идей американских писателей

191

А. Г. Королева

Из круга чтения Л. Н. Толстого

204

Н. А. Никитина

Лев Толстой — собиратель многовековой мудрости

214

Джордж Гибнан

Толстой с американской точки зрения 1990-х гг.:
семь категорий

221

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ**А. Н. Полосина**

Переводы трилогии Л. Н. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность» на французский язык
(по архивным материалам)

233

Т. Н. Архангельская

Новые документы о военной судьбе
гр. Ф. И. Толстого в 1812 г.

243

Александр Цагареишвили

Воспоминания о Льве Толстом
(перевод с грузинского А. Л. Эбаноидзе)

253

В. Н. Абросимова, Г. В. Краснов

Младшая дочь Л. Н. Толстого и его последний секретарь:
из переписки А. Л. Толстой и В. Ф. Булгакова

262

«Трудное переживаем мы время, милая Маруся...»

(из писем С. А. Толстой к М. А. Маклаковой
1901–1902, 1903 и 1909 гг.)

(Публикация Н. И. Бурнашевой)

283

Воспоминания Н. И. Цветкова

(Публикация А. М. Кураковой)

314

Е. Ю. Петрова

Из индийской корреспонденции Л. Н. Толстого

326

ИЗ ИСТОРИИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ**Е. В. Солдатов**

Березовые посадки Ясной Поляны

337

ПАМЯТИ УШЕДШИХ**Лидия Дмитриевна Громова-Опульская**

21 мая 1925 – 31 декабря 2003

345

Г. В. Алексеева

Прощание с Лидией Дмитриевной

349

От редколлегии

Очередной, двадцать второй выпуск «Яснополянского сборника» содержит новые работы русских и зарубежных исследователей. Первый раздел, традиционно посвященный проблематике и поэтике творчества Л. Н. Толстого, открывается статьей французского слависта Мишеля Окутюрье «Страх как критерий подлинности в военных рассказах Толстого», посвященной проблеме феноменологии страха. Особое внимание уделено анализу проблемы понимания как одной из самых актуальных в современной философии и в некоторых направлениях литературоведения на примере рассказа «Утро помещика» в статье И. Н. Исаковой. В работе О. В. Сливичкой «Внешний и внутренний ракурс создания „образа человека“: „Анна Каренина“» исследуются особенности авторской позиции писателя. В ряде статей уделено внимание философским проблемам, в частности, социально-антропологической концепции Л. Н. Толстого (Н. В. Волохова). Проблеме литературного архетипа как одной из главных особенностей художественного мира писателя посвящена статья А. Ю. Большаковой.

Второй раздел «Круг чтения, источники творчества» включает исследования и материалы, раскрывающие личные и духовные контакты писателя со своими современниками и предшественниками: Н. М. Карамзиным (Л. А. Сапченко), Чарльзом Диккенсом (Чарльз Эпштейн, Н. Г. Михновец), И. С. Тургеневым (Л. В. Милякова), Виктором Гюго (Мишель Кадо), Эптоном Синклером (Г. В. Алексеева) и др. В раздел вошла одна из последних работ американского слависта Джорджа Гибиана «Толстой с американской точки зрения 1990-х гг.: семь категорий».

По-прежнему особое место занимает публикация новых материалов: воспоминаний, писем, архивных документов. Впервые публикуются переписка главных редакторов знаменитых парижских издательств и первых переводчиков трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» на французский язык (А. Н. Полосина); переписка А. Л. Толстой и В. Ф. Булгакова (В. Н. Абросимова, Г. В. Краснов); письма С. А. Толстой к М. А. Маклаковой (Н. Э. Бурнашева); воспоминания о Толстом Александра Цагарейшвили, а также яснополянского крестьянина Н. И. Цветкова и др. На основе ранее неизвестных архивных материалов написана статья Т. Н. Архангельской «Новые документы о военной судьбе гр. Ф. И. Толстого в 1812 г.».

Бесспорную научную ценность представляет завершающая сборник статья Е. В. Солдатовой «Березовые посадки Ясной Поляны».

Список условных сокращений

- Архив РАН* — Архив Российской академии наук
ГАТО — Государственный архив Тульской области
ГМИИ им. А. С. Пушкина — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)
ГРМ — Государственный Русский музей (Петербург)
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
Гусев — Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., 1973
Гусев. Летопись I, II — Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828–1890. М., 1958; 1891–1910. 1960
Гусев. Материалы, I, II, III, IV — Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. Изд-во АН СССР, 1954, 1957, 1963, 1970
ДСТ — Толстая С. А. Дневники. В двух томах. М., 1978
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
ИР НБУ — Институт рукописей Национальной библиотеки Украины
Летописи — Государственный Литературный музей. Летописи. Кн. 12. Л. Н. Толстой. Том II. М., 1948
ЛН — «Литературное наследство»
Моя жизнь — Толстая С. А. Моя жизнь. Машинопись. Музей-усадьба «Ясная Поляна»
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
ОР ГМТ — Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва)
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
ПАТ — Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., изд. Общества Толстовского музея, 1911
ПРП — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. В двух томах. М., 1978
ПТСБ — Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990
Опульская — Опульская Л. Д. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979
РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства
РГИА — Российский Государственный исторический архив
РГНФ — Российский Гуманитарный научный фонд
РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Сухотина Т. А. — Сухотина Т. А. Воспоминания. М., 1981
ЯЗ — Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904–1910. Яснополяские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1–4
ЯПб — Яснополянская библиотека
Ясн. сб. — Яснополянский сборник. Тула
BNF — Bibliothèque nationale de France (Paris)
NAF — Les Nouvelles acquisitions françaises (BNF, Paris)

**ТВОРЧЕСТВО
Л. Н. ТОЛСТОГО:
ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА**



СТРАХ КАК КРИТЕРИЙ ПОДЛИННОСТИ В ВОЕННЫХ РАССКАЗАХ ТОЛСТОГО*

Тема страха в скрытом виде присутствует в самом заглавии первой изданной книги Льва Толстого «Военные рассказы» (1856), объединяющей большую часть его ранних произведений. В самом деле, жанр, обозначенный этим заглавием, подразумевает тему страха как составную часть или оборотную сторону основного психологического мотива храбрости. Речь идет, конечно, не о страхе «вообще», «метафизическом» или «экзистенциальном», о страхе как мироощущении («angoisse»), о том страхе, который позже будет описан в знаменитых «Записках сумасшедшего», а о страхе как психологическом состоянии, вызванном опасностью ранения или смерти во время сражения.

В этом смысле проблематика, к которой нас подводит эта тема, не философская, а одновременно психологическая и этическая: этим она, на наш взгляд, бросает свет на ту глубокую связь, которая у Толстого соединяет психологический анализ и этическую оценку.

Подзаголовок первой кавказской повести Толстого «Набег» — «рассказ волонтера» — служит мотивировкой сюжета. Перед нами рассказ наблюдателя-психолога — скорее очевидца, чем участника действия, который через перипетии военной операции изучает поведение людей, офицеров и солдат кавказской армии, стараясь найти ответ на психологическо-этический вопрос «что такое храбрость?». Еще до выступления отряда он ставит этот вопрос заслуженному старому офицеру-кавказцу, капитану Хлопову (образ которого, несомненно, восходит к лермонтовскому Максиму Максимычу), служащему на Кавказе не из-за романтической жажды славы, а по бедности, и который предстает перед нами как бы эталоном реалистической оценки истинных ценностей: «храбрый тот, который ведет себя как следует» (3, 16). Рассказчик доводит его мысль до полной ясности при помощи цитаты из Платона: «Храбр тот, кто боится

* Настоящая статья является несколько исправленным вариантом доклада, прочитанного на симпозиуме «Семиотика страха в русской культуре» (Сорбонна. Париж. Май 2001). — Примеч. автора.

только того, чего *следует* бояться, а не того, чего *не нужно* бояться» (3, 17). Смысл такого уточнения в том, чтобы снять привычную антитезу «храбрость — страх» и таким образом освободить страх от традиционной отрицательной моральной оценки.

Весь рассказ — иллюстрация или, точнее, экспериментальная проверка этой своеобразной «реабилитации» страха. Те из действующих лиц, которые не знают или, по крайней мере, не показывают страха, представлены то как тщеславные позеры (поручик Розенкранц), то как безрассудные новички (молодой прапорщик Аланин, который перед встречей с противником молодцевато прогарцевал перед капитаном Хлоповым и вызвал этим его недовольство. За свою юношескую отвагу он поплатится бессмысленной смертью). И наоборот, страх будет признан и реабилитирован с грубой прямоотой в конце рассказа, когда старый солдат, грустно наблюдающий за агонией Аланина, скажет: «Ничего не боится, как же так можно! <...> Глуп еще — вот и поплатился» (3, 38). А на вопрос рассказчика: «А ты разве боишься?» — он прямо отвечает: «А то нет!» (3, 38).

Эта реабилитация страха доведена до парадокса во втором кавказском рассказе, «Рубка леса». Здесь офицер, описанный рассказчиком как представитель категории «бонжуров», то есть столичных аристократов, служащих на Кавказе по моде, щеголяет перед ним своей откровенностью, признаваясь в страхе под обстрелом неприятеля. Рассказчик не поддается на обман и понимает, что такая показная откровенность — тоже форма тщеславия. Тем не менее сама возможность хвастаться своим страхом показывает, что это чувство может уже не показаться постыдным.

Помимо этого случая, в кавказских рассказах страх перед опасностью отражен только косвенно. В «Набеге», например, сам рассказчик признается в том, что почти готов слушаться капитана Хлопова, когда тот перед выступлением отряда советует ему, волонтеру, остаться в казачьей станице и не участвовать в операции. Раз решившись, он невольно отмечает в себе некоторое беспокойство и присутствие «мрачных мыслей», «неотвязчивой чередой» набегающих ему в душу (3, 27). Сам капитан Хлопов, образец «истинной», не показной и не бездумной храбрости, кажется при выезде отряда «задумчивее обыкновенного» (3, 20) и, раздраженный военным энтузиазмом новичка Аланина, напоминает рассказчику, что из двадцати офицеров отряда «кому-нибудь да убитым или раненым быть» (3, 21). А когда начинается стрельба, он крестится. В «Рубке леса» рассказчик из-за тщеславного стремления «не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро» (3, 56), старательно скрывает свой страх от раздавшегося пушечного выстрела, тогда как у стоящего рядом простого солдата он

естественно проявляется в форме «досады», выраженной плевком в сторону и восклицанием: «Тьфу ты, проклятый! <...> трошки по ногам не задела» (3, 56).

Гораздо более острые и тяжелые формы страх принимает в «Севастопольских рассказах». И это естественно: условия современной войны, с массовым употреблением тяжелой артиллерии, делают Крымскую войну гораздо более кровавой, чем война на Кавказе. Именно эта сторона войны и составляет основной пафос рассказа-репортажа «Севастополь в декабре месяце», где кульминационным пунктом прогулки по осажденному Севастополю под руководством автора-рассказчика является посещение лазарета, где мучаются и умирают тяжелораненые бойцы.

В двух следующих рассказах, «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года», Толстой приводит своих персонажей на самый опасный пункт сражения и описывает их в момент самой страшной опасности. В первом среди группы офицеров, на которых останавливается взгляд писателя, выделяются двое: адъютант Калугин, честолюбивый аристократ и человек с крепкими нервами, и штабс-капитан Михайлов, робкий провинциал, озабоченный своим общественным положением между пехотными офицерами, которых он презирает за их грубость, и штабными офицерами-аристократами, относящимися к нему с унижительной благосклонностью. Толстой следит за их поведением накануне, а затем после тревожной ночи, во время которой русские отбивают неприятельскую атаку.

Последний рассказ, «Севастополь в августе 1855 года», описывает гибель в страшную ночь штурма Малахова кургана и взятия Севастополя англо-французскими войсками двух братьев Козельцовых — старшего, испытанного офицера, вернувшегося на поле битвы после ранения, и младшего, только что поступившего из корпуса. Младший за несколько часов после своего прибытия в осажденный город успевает пройти все стадии боевого крещения — от первоначального юношеского молодечества, через все оттенки страха вплоть до самого «животного ужаса», пред тем как его преодолеть и умереть «смертью храбрых» во главе порученного ему отряда.

В обоих рассказах Толстой описывает с привычной подробностью смену душевных состояний своих героев, ту «диалектику души», в изображении которой Чернышевский видел отличительную черту его таланта, иногда при этом прибегая к внутреннему монологу, позволяющему убедительно передать причудливое движение «потoka сознания». Таким образом он выстраивает перед нами целую «феноменологию страха» (и внутренней борьбы с ним) в душе военных, поставленных лицом к лицу перед смертельной опасностью.

Эта феноменология страха развивается по двум линиям. Первую можно назвать героической и патриотической. Она проглядывает уже в «Рубке леса», где поведение простых солдат из крестьян, контрастирующее с тщеславными признаниями «бонжура» Болхова, вызывает у рассказчика размышления о национальном характере: он возносит спокойную, простую, бесшумную храбрость русских солдат, основанную на скромности, простоте и «способности видеть в опасности совсем другое, чем опасность» (3, 71), противопоставляя ее храбрости южных народов, основанной на «скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме» (3, 70). Эта линия завершается последним севастопольским рассказом, написанным под свежим впечатлением поражения русских войск и сдачи города неприятелю. Здесь реалистическое описание всех оттенков страха, испытанного молодым Козельцовым и побежденного на пороге героической смерти, служит прославлению защитников города.

Но существует и другая линия, чисто толстовская: это линия разъедающего психологического анализа, который обнажает персонажей, лишает их покрова социальной лжи, раскрывает их подлинную суть, — то «срыванье всех и всяческих масок», которое, по удачному выражению Ленина, характеризует реализм Толстого, и в частности его психологический анализ.

Эта линия яснее всего обнаруживается в «Севастополе в мае», где подробное и беспристрастное описание нескольких ярко очерченных характеров в момент смертельной опасности приводит автора к следующему выводу: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны» (4, 59).

«Ни Калугин со своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов со своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (4, 59).

Это знаменитое заключение, которое часто приводилось как ранний манифест «правдоискательства», столь характерного для позднего Толстого-моралиста, — прежде всего художественный манифест молодого Толстого, разрабатывающего свою собственную манеру письма. Речь идет здесь не столько о правде «вообще», сколько о правде человеческой личности, то есть, в толстовском значении, — о ее под-

линности, очищенной от масок, которые накладывают на нее социальные условности и человеческое тщеславие (в котором, как мы знаем, молодой Толстой видел главное препятствие на пути к самосовершенствованию). Именно эту подлинность и призвана раскрыть непосредственная, художественная убедительность произведения: она и является тем художественным идеалом, к которому нацелена его работа над образом и в котором выражается его мастерство. Литературное творчество для Толстого — *испытание правдой*. Цель вымысла и художественной разработки повествования в том, чтобы поставить героя в такое положение, в котором самим изображением его будет разоблачена ложь социальных условностей и человеческого тщеславия и раскроется его подлинная суть.

Это соображение ведет нас к одной поправке в заключении «Севастополя в мае». Правда, к которой нас приводит художник, — интуитивная, а не рассудочная, она в самой ткани рассказа, то есть авторского вымысла, а не в его авторских рассуждениях о нем, в его тексте, а не в его комментариях к нему. Когда он ставит на одну доску всех персонажей рассказа, взвешивая их хорошие и дурные стороны, он хитрит, желая доказать свою беспристрастность. В нем говорит моралист, а не художник. На самом деле, по всему внешнему построению и внутренней логике рассказа выходит, что именно штабс-капитан Михайлов является его настоящим героем.

Правда, Толстой дважды называет его человеком ограниченным, отмечая у него «тупость умственных способностей» и «ограниченный взгляд». Изображая его во время прогулки, перед выходом на бастион, он представляет его в невыгодном свете, как человека чуть смешного своей сентиментальностью холостого провинциала, влюбленного в жену соседа по имени, своей неуклюжестью несветского человека, напрашивающегося в аристократическую компанию, своей слабостью хозяина, неспособного добиться послушности от слуги-пьяницы.

Его видимая неполноценность выступает еще ярче по сравнению с Калугиным, при встрече с ним на бастионе, где он должен выстоять несколько часов со своим отрядом под обстрелом неприятеля: он завидует выдержке адъютанта, посланного генералом с приказами и за известиями, и тщетно старается подражать ему, скрывая свой страх и не нагибаясь при каждом свисте ядра. Ему это не удастся, и в собственных глазах, как и в глазах Калугина, он представляется трусом.

И тем не менее именно он совершает героический — тем более героический, что, по сущности, бесполезный, внушенный только чувством долга, — поступок, вернувшись на обстрелянное поле, чтобы

удостовериться в смерти другого офицера, вместо того чтобы послать туда своего подчиненного, тогда как Калугин ухищряется получить требуемую генералом информацию через вторые руки, не подвергая себя таким образом излишней опасности.

Словом, вопреки «уравнительным» рассуждениям автора-комментатора, именно «ограниченный» штабс-капитан Михайлов всем ходом действия выделен в качестве героя и, во всяком случае, поставлен выше блестящего и, по-видимому, бесстрашного адъютанта Калугина. И именно страх, который он не в силах скрыть, но который не мешает ему поступить «как должно», является критерием той подлинности, в которой и состоит его превосходство.

Владимир Гудаков

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И КАВКАЗ:
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О КАВКАЗЕ
КАК ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Последние события на Кавказе, война в Чечне вызывают повышенный интерес к российско-кавказским отношениям. Для освещения избранного сюжета мы выбрали этнологический аспект двух кавказских произведений Л. Н. Толстого, «Хаджи-Мурат» и «Кавказки», которые, как нам представляется, дают прекрасный материал для этнологического анализа российско-кавказских отношений в годы Кавказской войны.

Для анализа использованы некоторые теоретические положения видного русского этнолога Льва Гумилева, создавшего непротиворечивую теорию этногенеза. В связи с этим пришлось обратиться к нескольким непривычным, введенным им в научный оборот терминам, а также терминам чисто этнологическим, как-то: комплиментарность, этнический контакт, месторазвитие, симбиоз, стереотип поведения, этноцентризм, этнос, суперэтнос, контактная зона.

Кавказ вошел, как известно, в русскую литературу в период романтизма и стал как бы ее отдушиной на весь XIX век. Самым главным, что находили на Кавказе А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и другие писатели, была свобода. Свободные люди — казаки и горцы — стали составной частью русской, и не только русской, культуры.

Александр Дюма написал о Кавказе роман, полный романтики и приключений.

Великий художник И. Е. Репин, когда ему нужны были типы казаков для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», приехал на Кубань, в станицу Пашковскую, где и писал их портреты.

Лев Толстой обратился к Кавказу в годы Кавказской войны, и поэтому она все время присутствует в его кавказских произведениях. Но дело не только в том, что война присутствует постоянно, — дело в показе войны.

Французский языковед Э. Бенвенист, изучая соотношение слов «война» и «мир», пришел к выводу, что в прошлом это соотношение было иным, чем в наше время. Состояние войны считалось обычным

состоянием, а не чем-то неестественным и антигуманным. В эпоху Толстого война тоже считалась делом обычным и неизбежным, на Кавказе тем более, и Толстой об этом говорит словами Оленина: «...люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет» (6, 101).

Кавказские повести Толстого — идеальный источник для понимания сущности межэтнических отношений в контактной зоне цивилизаций. Лев Гумилев говорит об этом следующее: «Вариант длительного сосуществования при постоянной вражде прекрасно описан Л. Н. Толстым, наблюдавшим стычки гребенских казаков с чеченцами»¹. Гумилев определяет такое состояние этносов термином «симбиоз», что означает «сосуществование этносов в одном регионе, при котором они не сливаются, а каждый занимает свою экологическую нишу». Месторазвитием гребенского казачества (под месторазвитием евразийцы понимают сочетание элементов ландшафта, где этнос сложился как система) была полоса плодородной лесистой земли вдоль Терека «саженной в триста шириной» и «около восьми-десяти верст длины». К северу — Ногайская степь, к югу — чеченцы. То есть гребенцы были типичным этносом контактной зоны между двумя суперэтносами: Степью и Кавказом. Живя долго рядом с чеченцами, казаки «перероднились с ними», как пишет Толстой, и «усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев» (6, 15). Более того, Толстой «верно отметил взаимное уважение двух соседних этносов и настороженность казаков к солдатам, которые на Тереке были пионерами ассимиляции казаков великороссами»². Сам Толстой говорит об этом так: «Влияние России выражается только с невыгодной стороны стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата» (6, 16).

Для нас важно в этом тексте следующее.

Ключевое слово «по влечению» позже, через сто лет, будет определено Львом Гумилевым как комплиментарность, т. е. «подсознательное ощущение взаимной симпатии (антипатии) членов этнических коллективов, определяющее деление на „своих“ и „чужих“»³. Это «влечение», определяющее отношение этносов друг к другу, и было подмечено гениальным русским писателем.

Толстой также передает различные стереотипы поведения казаков и солдат-великороссов. Курение солдата в хате — для казака, предки которого русские староверы, нетерпимо, и это большой грех.

Горские стереотипы поведения казаку намного ближе:

«Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски» (6, 16).

Толстой не однажды сталкивает различные этнические стереотипы поведения. И если стереотипы поведения русских и чеченцев далеки друг от друга, то война еще более увеличивает их отрицательную комплиментарность.

Этнический стереотип поведения теснейшим образом связан с этноцентризмом, который, как мы полагаем, является подсознательным восприятием этносом своего стереотипа поведения как нормы, как эталона для других этносов. Прекрасной иллюстрацией сказанного является описание вечера, устроенного Воронцовым, на который был приглашен Хаджи-Мурат. Дамы на балу задают ему один и тот же вопрос, нравится ли ему то, что он видит. Причем они уверены, что не может не нравиться. Хаджи-Мурат не отвечает, нравится ему или нет, а говорит только, что этого у горцев нет.

Это убедительное доказательство тезиса о том, что у разных этносов стереотипы поведения различны и сравнение их по шкале «нравится — не нравится», «плохо — хорошо» некорректно. Ключевое слово здесь — «по-другому». Каждый этнос, а тем более суперэтнос, живет в мире своих ценностей, которые зачастую не только не совпадают, но и противоположны.

¹ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1990. С. 88.

² Там же.

³ Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. М., 1993. С. 501.

И. Н. Исакова

НА ПУТИ К ПОНИМАНИЮ

(Повесть «Утро помещика»)

В современной философии и некоторых направлениях литературоведения проблема понимания стала одной из самых актуальных. Понимание как духовная связь между «Я» и «Другим» противопоставлено общению. Г. Г. Гадамер в статье «Неспособность к разговору» (1971) выделяет подлинные разговоры, способные преобразовать человека: «Разговор, если он удался, оставляет что-то нам, он оставляет что-то в нас, и это „что-то“ изменяет нас»¹. И противопоставляет их «мертвым»² разговорам, проходящим бесследно. Оппозиция «понимание — общение» может быть положена в основу анализа *диалогов* и *монологов* литературного произведения. Как формы высказывания диалог и монолог имеют свои особенности. Диалог представляет собой быстрый обмен речью, обусловленность реплик друг другом, отсутствие предварительного обдумывания и заданности разговора, реплики чередуются непринужденно и свободно. Для монолога характерны длительность, построенность речи, одностороннее высказывание, предварительное обдумывание. Официальные разговоры представляют собой иной тип диалога. Здесь большое значение имеет нормированность, этикет: стандартные ситуации, действия требуют «шаблонных речевых взаимодействий»³. Однако человек может не употреблять шаблонные речевые формулировки, говорить по-своему. Важна роль апперцепции как сходного опыта говорящего и слушающего. Чтобы общение с человеком, принадлежащим к другому социальному слою, другой культуре, прошло нормально, говорящему нужно использовать речевые стандарты, выработанные этой культурой, но в таком случае стирается его индивидуальность. При этом говорящий очень часто испытывает некоторые затруднения, ему не хватает лексики, использующейся в этой среде⁴.

От диалогов и монологов как форм речи следует отличать *диалогичность* и *монологичность*, обозначающие «качества сознания авторов и изображаемых ими лиц»⁵. Эти термины были введены в науку благодаря работам М. М. Бахтина. Диалогичность предполагает открытость человека другому сознанию и способность вести разговор, духовно обогащающий собеседников. *Монологичность*

связана с желанием человека слушать только себя; «это своего рода сила, отрицающая равноправие сознаний, воплощенная претензия на власть над другим человеком»⁶. Монологизм предполагает риторические формы речи. Сознание персонажа может быть «по преимуществу либо диалогичным, либо монологичным»⁷. Персонаж с диалогичным сознанием всегда хочет понять другого, старается видеть в нем лучшие стороны, пытается сделать для него что-то хорошее. Монологичный персонаж сосредоточен на себе, другой ему малоинтересен. При этом персонаж с диалогичным и монологичным сознанием в одних разговорах слушает собеседника, пытается его понять, а в других — изображать «слушание» из вежливости или по необходимости. Таким образом, персонажи проявляют монологическую и диалогическую установку в разговоре. Два персонажа могут прийти к пониманию только в том случае, когда у обоих есть диалогическая установка.

Проблема понимания волнует и психологов. Э. Берн выделяет в каждом человеке три психологических типа личности (родитель, ребенок, взрослый); в результате их взаимодействия или нестыковок возникает или не возникает понимание⁸.

Большое внимание уделяется, особенно в последние годы, невербальной части высказывания, так называемым *кинестическим* средствам (жесты, мимика и пр.), которые могут совпадать со словами, усиливая их смысл, или же противоречить им, выдавая истинные мысли персонажа.

Диалоги и монологи в эпических произведениях обычно сопровождаются комментарием повествователя, функции которого разнообразны. Уже в первом незаконченном произведении «История вчерашнего дня» внимание Толстого привлек сам процесс разговора. Писатель замечает: «Не от недостатка ума нет разговоров, а от эгоизма. Всякой хочет говорить о себе или о том, что его занимает; ежели же один говорит, другой слушает, то это не разговор, а преподавание» (1, 280). Толстой детально исследовал подтекст разговоров, который может быть очень далеким от сказанных слов. В диалогах толстовских персонажей, как правило, редко совпадают содержание, главное для собеседников, и буквальный смысл высказываний в целом, изобилующих стереотипами, дежурными фразами.

В творчестве Толстого проблема общения и понимания одна из главных. Естественно, она особенно актуальна при изображении отношений барина и мужика. Рассказ «Утро помещика» (1856) интересен, в частности, тем, что практически полностью состоит из диалогов Дмитрия Нехлюдова со своими крестьянами. Давно отмечена автобиографическая основа рассказа: известно, что Толстой в 1856 г. жил

в Ясной Поляне, вел хозяйство, пытался облегчить жизнь своих крестьян. Взаимопонимание с крестьянами оказалось труднореализуемым. В рассказе показано, как барин, движимый идеей справедливости, пытается сблизиться со своими мужиками. Современники Толстого обратили внимание на изображение крестьян и их взаимоотношений с помещиком. Основную идею рассказа И. С. Тургенев видел «в том, что, пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения»⁹. Н. Г. Чернышевский главное достоинство рассказа видел в том, что Толстой «с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи <...> его мужик чрезвычайно верен своей натуре»¹⁰.

На говорящего и слушающего влияют многие факторы, выделим наиболее важные: социальная роль, ситуация общения, цель разговора, апперцепция, ведение разговора как этикетного или личного, диалогическая/монологическая установка собеседников. Рассмотрим отдельно каждое условие и его влияние на общение персонажей.

Социальный статус персонажей, а также их **социальные роли** оказывают едва ли не основополагающее влияние на их общение. Писатель крупным планом показывает четыре разговора помещика с мужиками: трудолюбивым Иваном Чурисом, лентяем и щеголем Юхванкой Мудреным, болезненным Давыдкой Белым, богатым и хозяйственным стариком Дутловым.

Беседа ведется не на равных: у героев разное социальное положение, что подчеркнуто именами: князь Дмитрий Нехлюдов, Чурисенок, Юхванка Мудреный, Давыдка Белый. Юный Нехлюдов говорит с мужиками на *ты*, те же называют его *ваше сиятельство* и обращаются на *вы*. Мужик обязан слушать барина, что бы тот ему ни говорил. Показательна реакция Чуриса на слова Нехлюдова о том, что он готов все сделать для счастья своих мужиков: «Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся» (4, 133). Важна роль невербального компонента высказывания: мужик *отворачивается* от Нехлюдова, что подчеркивает его нежелание говорить на эту тему, скорее всего потому, что он не верит Нехлюдову. Контакт между персонажами отсутствует. Однако мужик обязан хотя бы выслушать барина, и повествователь отмечает *принужденное внимание*.

Слова повествователя указывают, что Чурис в этом эпизоде, видимо, подсознательно реагирует не столько на личность Нехлюдова,

сколько на его социальный статус, что подчеркнуто формой множественного числа (*до нас*), вводящей реакцию Чуриса в общий контекст разговоров барина и мужика. Разница в социальном положении очень часто мешает собеседникам прийти к пониманию. Многолетняя зависимость мужиков от помещиков выработала у них привычку не верить барину, видеть в нем своего заклятого врага, пытающегося всеми средствами обмануть и окончательно разорить их.

Общение с Дутловыми строится несколько иначе. Это богатая семья: мужики не чувствуют себя целиком и полностью зависимыми от барина, социальная разница немного приглушается. В поведении сыновей Дутлова заметна «самоуверенность и некоторая гордость». Карп, старший сын Дутлова, «слегка и неловко» кланяется Нехлюдову, развязно разговаривает с ним, «почесывая спину». Поклон *изображает*, а не *выражает* подчинение, а почесывание спины (не важно, наигранное или нет) демонстрирует неуважение. Сам Дутлов свободно разговаривает с барином, называет его *Митрий Николаич*, «выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству». На фоне официальных номинаций, используемых другими мужиками (*ваше сиятельство, кормилец наш*), обращение Дутлова кажется более личным.

Однако Нехлюдову очень непросто разговаривать с Дутловыми, их манера держаться рождает в нем неуверенность. Он уговаривает себя: «Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит» (4, 157). Первые слова юный помещик произносит «заминаясь»: ему нужно переломить, перебороть себя. Сглаживание разницы в социальном положении не всегда способствует открытости крестьян: старику Дутлову вовсе не по душе предложение стать компаньоном барина. Стоило Нехлюдову сказать: «...купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю...» (4, 163), как «кроткая улыбка» старика сменилась раздражением и страхом. Дутлов, как и все остальные мужики, видит перед собой не человека, который хочет ему помочь, а хитрого помещика, преследующего свои корыстные цели. Эту мысль выражает кормилица Нехлюдова: «Да как же можно... мужику господскому свои деньги объявить? Неравен случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет» (4, 156).

Но здесь есть свой оттенок: Нехлюдову всего девятнадцать лет, а разговаривает он с мужиками разного возраста, в том числе с теми, кто в отцы ему годится. В диалоге с Чурисом есть одна интересная деталь. Когда Нехлюдов недоумевает, почему Чурис просит сошки, а не лес, мужик понимает логику барина, но психологически понять

его не может и удивляется в свою очередь: «Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем?» (4, 128).

С точки зрения Чуриса барин говорит настоящую глупость. Поэтому мужик считает, что сейчас он имеет полное право взять на себя роль учителя, даже несмотря на запрет, налагаемый социальным положением. Это реакция на личность Нехлюдова, который, по мнению Чуриса, не понимает очевидных истин. Его нужно поправить, может быть, по-отечески укорить, но обязательно уберечь от ошибки. В монологическом высказывании есть элемент диалогизма: мужику не безразличны действия барина, он откликается на них.

Ситуация общения одна и та же: Нехлюдов приходит на крестьянский двор, получив записки с просьбами от крестьян (за исключением Дутлова). *Инициаторов разговора* два: формальный — Нехлюдов, фактический — мужик. С одной стороны, ситуация общения официальная: барин обсуждает с мужиком его хозяйство и пытается помочь ему. Но разговор происходит не на сходке, не в кабинете Нехлюдова, а в мужицкой избе. Поэтому мужик чувствует себя более уверенно, меньше робеет перед барином, а это способствует личному, неофициальному общению.

Пожалуй, разговор с Дутловым проходит в наиболее непринужденной обстановке. Он начинается на осике (пчельнике). Это, возможно, самое любимое место старика во всем дворе, поскольку Дутлов увлекается разведением пчел. Затем мужик ведет молодого помещика в избу, где Нехлюдов даже садится за стол, просит кусочек свежего горячего хлеба, т. е. окончательно приобретает статус гостя. Такая обстановка должна помочь персонажам достигнуть понимания.

Присутствие *третьего лица* иногда влияет на ход разговора. Споря с барином, вряд ли можно рассчитывать на его снисходительность. Арина в присутствии своего сына Давыдки ругает его за лень; оставшись наедине с Нехлюдовым, пытается объяснить нежелание сына работать тем, что, может быть, «испортили его злые люди», указывает на достоинства Давыдки: «Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит — грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и Бог знает, что такое с ним поприitchилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад» (4, 153).

Апперцепция (лексика, речевые шаблоны, ценностные ориентации). Персонажи принадлежат к разным слоям общества и говорят на разных социальных диалектах. Нехлюдов привык к литературному языку, крестьяне же нередко употребляют просторечия, что

иногда приводит к непониманию. Например, Чурис говорит о степени разрушения избы:

«Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

— Как убила?

— Да так, убила, ваше сиятельство: — по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала» (4, 129).

Здесь происходит непонимание на вербальном уровне: Нехлюдов воспринимает слово *убить* как литературное, имеющее значение *лишить жизни*. Чурисенок же употребляет это слово как просторечие, в значении *сильно ушибить, ударить*¹¹. Нехлюдов иногда пытается говорить на языке, понятном мужикам. В разговоре с женой Чуриса он употребляет просторечное слово *повешать*.

В некоторых случаях причина непонимания кроется в незнании психологии собеседника. Нехлюдов хочет, чтобы семья Чуриса переселилась на новый хутор в каменные избы: он рисует мужику картину счастливой жизни на новом месте, но внезапно замечает, что «Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю» (4, 131). Кинетические средства демонстрируют, что Чурису совсем не нравится эта перспектива. Понять мужика сложно: все логические доводы в пользу переселения. Но стоило Чурису сказать, что он привык к этому месту, сроднился с ним, т. е. привести психологические аргументы вместо логических, и Нехлюдов «понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем...» (4, 132).

Этикетное общение. Использование этикетных фраз и формулировок облегчает понимание. В то же время это нередко исключает внимание к личности собеседника и тем самым затрудняет понимание. Разговор с Давыдкой (если это вообще можно назвать разговором) представляет собой наиболее яркий пример этикетного, штампованного диалога.

Мужик не первый раз слышит подобные речи: с его точки зрения, слова барина — дань приличиям, которые Давыдка должен вытерпеть. Он молча слушает барина, «но выражение его лица... говорило: „Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать“. ...Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое» (курсив мой. — И. И.) (4, 148–149). Нехлюдов хочет, чтобы его слова оставили след в душе собеседника, заставили его проснуться, слезть с печи и заняться пришедшим в полный упадок хозяйством. Для этого Нехлюдову нужно вывести диалог за рамки шаблонных фраз. Но это нереально, поскольку цель помещика полностью входит в рамки этикета, про-

возглашенного еще в «Домострое»: господин несет ответственность за духовный облик своих слуг, он должен мягко наставлять их, направлять на путь истинный. Именно такую задачу ставит себе Нехлюдов, что вынуждает его брать на себя роль учителя (по Э. Берну), вследствие чего активизируется его родительское начало. Для выражения такой позиции на вербальном уровне проще всего прибегнуть к этикетным фразам, характерным для разговора родителя и ребенка. Таким образом, вместо того чтобы вывести разговор за рамки этикета, Нехлюдов формально, т. е. на вербальном уровне, как бы соглашается с Давыдкой в том, что их разговор носит чисто этикетный, обязательный характер. Он бранит Давыдку, заставляя его признать свою лень, используя форму риторического вопроса, столь часто встречающегося в речи родителей: «Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уже целый месяц лежит и самое свободное время так лежит — а?» (4, 149).

Заставляя Давыдку произнести хотя бы слово, Нехлюдов требует ответа, задает вопрос, заключающий в себе ответ: «А господский-то (хлеб) откуда? *Рассуди-ка сам*, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мужички? так?»

Это типичные слова родителя, когда он пытается что-то объяснить ребенку. Давыдка понимает, что обязан что-то ответить. В конце концов мужик произносит членораздельное слово: «Господский», робко и вопросительно поднимая глаза на барина. Это характерное поведение провинившегося ребенка.

Этикетные фразы могут выступать в функции «ширмы»¹². Например, Чурис таким образом уходит от ответа на вопрос, почему он раньше не сказал о своем тяжелом положении: «*Не посмел*, ваше сиятельство, — отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было поверить, чтоб он не посмел прийти к барину» (4, 130).

Однако этикет иногда помогает персонажу высказать свои истинные взгляды. Например, Чурис так просит барина не переселять его в новую избу: «*Заставь век Бога молить*, — продолжал он, низко кланяясь, — *не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!*» (4, 132). В данном случае этикетные фразы оказываются наиболее подходящими для искреннего выражения чувств. Слова и жесты теряют клишированность, наполняясь глубоким смыслом.

Цели разговоров — практические: мужикам нужны хлеб, сошки, колья, разрешение на продажу лошади. Но просьба оказывается поводом для беседы на совсем другую тему. В записке сказано: «Давыдка Белый просил хлеба и кольев». Однако Нехлюдов фактически общается не с Давыдкой, а с его матерью Ариной. Жалуясь барину

на нелегкую жизнь, ругая сына, в том числе и бранными словами, она не просит ни хлеба, ни денег. Все это лишь вступление к истинной цели разговора — найти невесту для сына, без приказа барина вряд ли кто-то согласится отдать за непутового Давыдку свою дочь. Поэтому ей необходимо как можно сильнее разжалобить барина, чтобы он не смог ей отказать. Учитывая несамостоятельность Давыдки, можно предположить, что инициатива послать записку исходила не от него, а от Арины.

На разговор персонажей влияет установка: монологичная или диалогичная. Повесть дает разные степени и варианты установок персонажей, которые в течение разговора могут изменяться.

Нехлюдов хочет стать благодетелем для мужиков, берет на себя роль учителя. Это монологическая установка, но с элементом диалогизма: он пытается учесть точку зрения крестьян, читая пятитомный трактат французского ученого Ж. А. Биксио «*Maison rustique du XIX siècle*» («Ферма XIX столетия»). Но вряд ли можно адекватно судить о нуждах мужиков по научной литературе, да еще французской. Нехлюдов объясняет Чурису преимущества каменных герардовских изб (наверняка, идея почерпнута из упомянутого исследования), ассоциирующихся у мужика с острогами. Мужики испокон веку жили в деревянных избах, никогда не видели каменных, да еще с какой-то странной кладкой. Это «мудреные» избы, жить в них крестьянам не хочется. У мужиков тоже нет особенного желания вступать с барином в откровенный разговор: общаясь с ним, они преследуют свои цели.

Наибольшая степень понимания была достигнута у Нехлюдова с Чурисом. Сначала у обоих собеседников видна монологическая установка. Мужик хочет только попросить сошек, чтобы подремонтировать разваливающуюся прямо на глазах избу, хотя любой ремонт уже бесполезен. Своего рода расчет не позволяет Чурису просить что-то более существенное.

Барин также мало способен к разговору, так как не уверен в себе (это первый разговор в это утро), сначала ему нужно самоутвердиться. Этим, возможно, объясняется активизация его *детского начала* (по Э. Берну): «Вот пришел твое хозяйство проведать, — с *детским дружелюбием и застенчивостью* сказал Нехлюдов». После того как состоялось начало разговора, Нехлюдов почувствовал себя увереннее, ему уже не нужен детский тон, он ведет разговор по принципу *взрослый/взрослый*: «Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке» (4, 128), — просит Нехлюдов Чуриса. Крестьянин объясняет, что хочет ими подпереть кривые и обрушенные сараи.

Услышав странную просьбу мужика, молодой помещик решил переубедить его: «Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже

завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а *стропила, переметы, столбы* — все новое нужно, — сказал барин, видимо, *щеголяя своим знанием дела*. — Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было» (курсив мой. — И. И.) (4, 128). Нехлюдов хочет доказать Чурису, что он не дилетант в этой области. Скорее всего, Нехлюдов произнес эти слова не столько для Чуриса, сколько для себя, пытаясь самоутвердиться, но это привело к усилению монологической установки.

Однако Нехлюдов искренне пытается понять мужиков, знать их желания, нужды. И подлинность его заботы, подтвержденная поступками (он дал Чурису денег на корову, а корм для нее приказал брать с господского гумна), порой способна творить чудеса. «Отчего вы так бедны?» — спрашивает Нехлюдов Чуриса, «невольнo высказывая свою мысль».

И слышит подробный рассказ Чуриса о том, как ему трудно справляться с хозяйством. Уходя, Нехлюдов говорит мужику: «Я рад тебе помогать... тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать; с Божиею помощью и поправишься» (4, 137). Мужик недоверчиво отнесся к предположению барина о том, что он может поправиться. Но Нехлюдов затронул самые потаенные струны души Чуриса, который начинает откровенно говорить, рассказывать о прежней жизни и причине разорения. Примечательно, что делает он это по собственному желанию. При этом Чурис не забывает похвалить молодого помещика: пусть у него не все получается, пусть его мужики живут очень бедно — какого-то результата он уже добился. «Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы *другие* стали, и приказчик-то *другой* человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны» (4, 138). Чурис хвалит Нехлюдова как бы от лица всех, это особенно ценно: можно предположить, что так думают и другие. Длинный монолог Чуриса имеет диалогическую установку, свидетельствует о том, что Нехлюдову уже удалось что-то изменить в жизни мужиков к лучшему, его добрые намерения не были напрасными. И самое главное: между ним и мужиками, кажется, может возникнуть понимание и подлинный диалог. Повесть названа «Утро помещика», что можно истолковать символично: это только начало на пути сближения автопсихологического героя и крестьян, начало диалога, который будет продолжен во многих произведениях Толстого.

¹ Гадамер Г. Г. Неспособность к разговору // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного / Пер. с нем. М., 1991. С. 87.

² Там же. С. 88.

³ Якубинский Л. П. О диалогической речи // Якубинский Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 46.

⁴ См., напр.: Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993.

⁵ Нестеров И. В. Диалог и монолог // Введение в литературоведение: литературное произведение: основные понятия и термины. М., 1999. С. 84.

⁶ Там же. С. 85.

⁷ Там же. С. 86.

⁸ Берн Э. Люди, которые играют в игры: Психология человеческих взаимоотношений. Игры, в которые играют люди: Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. СПб., 1996.

⁹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1987. Т. 3. С. 85.

¹⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 682.

¹¹ В словаре В. И. Даля приводится семь значений слова *убить*. Значение, в котором Чурис использует это слово: «у(за)шибить или ударить сильно; искалечить», стоит третьим, тогда как совпадающее с литературным только шестым.

¹² Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958. С. 178.

О. В. Сливичкая

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ РАКУРС
СОЗДАНИЯ «ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА»:
«АННА КАРЕНИНА»

«Анна Каренина» — роман, порождающий повышенный эффект жизнеподобия. По словам В. Набокова, при его чтении «у нас то и дело возникает ощущение, будто роман Толстого сам себя пишет и воспроизводит себя из себя же, из собственной плоти, а не рождается под пером живого человека»¹. Этим объясняется и многозначность восприятия романа, выходящая за пределы органического свойства самого феномена искусства. Об «Анне Карениной» можно сказать то же, что Андрей Белый говорил о «Войне и мире»: «Четыре раза с величайшей внимательностью вчитывался я в „Войну и мир“. Передо мной — четыре друг на друга не похожих романа „Война и мир“»². «Анну Каренину» называют загадочным романом: настолько по-разному читатели относятся ко всему рассказанному и так часто в течение жизни меняют свои оценки. Стало быть, происходит то же самое, что случается в реальной действительности³.

Одна из сложностей в восприятии «Анны Карениной» заключается в том, что в ней нет резко обозначенной авторской позиции. В «Войне и мире» уже композиция образной системы сигнализировала об авторском отношении к добру и злу: добро на магистральной линии повествования, зло отодвинуто на его периферию. Сама мера авторского внимания несла в себе оценочный момент. В «Анне Карениной» в гораздо большей степени «все смешалось». «Смешалось» и в человеке, «смешалось» и в образной системе: все эстетически равноправны и все сложны. В «Войне и мире» опорным образом было небо. Небо — это высшая точка зрения на все происходящее, это источник того сильного и ровного поэтического света, который заливал всю книгу. В «Анне Карениной» нет единого света, льющегося с неба. Точки зрения приближены к земному опыту людей и поэтому как бы рассеяны между разными правдами.

Это создает особое отношение с читателем. Роль читателя в эстетическом акте становится особенно активной. Читатель «Анны Карениной» настолько *вовлекается* в рассказанное, что не может не сопрягать эту историю с собой, со своим опытом, своей ситуацией и своей личностью. Возникает неразложимый сплав эстетической

реальности романа и эмпирической реальности каждого читателя в отдельности. Поскольку читателя как участника эстетического акта учесть невозможно, ограничимся исследованием того, как сам способ повествования создает эффект *вовлеченности*, как он воздействует на восприятие читателя, который должен не созерцать плоский мир, а включаться в объемный. Как Толстой в «Анне Карениной» использует нарративные возможности, чтобы не *сообщать*, а *приобщать*?

Из того обширного репертуара повествовательных приемов, описанных нарратологией и хорошо изученных в применении к Толстому, назовем основные⁴: *рассказ о событиях и показ того, что может видеть читатель* (поступки, слова, жесты, портреты, пейзажи, интерьеры и т. д.), и того, чего он видеть не может (*внутренняя жизнь героев, их мысли, мотивы их поступков и т. д.*). И рассказ, и показ существенно дополняются авторским комментарием, который и связывает воедино события, и проникает в глубины жизни. В пределах этого — рассказа, показа и комментария — находится множество градаций, к которым мы будем обращаться в ходе наших рассуждений. Сейчас важно заострить внимание на том, что одни повествовательные формы обращены к внешнему облику жизни, а другие — к ее внутреннему смыслу. Нас интересует их *суггестивная* функция, а именно то, как они — в многочисленных вариациях своих сочетаний — формируют и направляют читательское восприятие. Базовый принцип толстовского повествования таков: в пределах сцены идет непрерывный ряд событий, лиц, разговоров, пейзажей, то есть того, что извне сможет увидеть непосредственный наблюдатель. И этот ряд постоянно прерывается сообщениями о том, чего он не может видеть, знать, а иногда и понимать. Эти авторские вкрапления бывают разного характера: *внутренний монолог героя*; *несобственно-прямая речь, вкрапленная в речь автора*; слова типа «он подумал», «он почувствовал»⁵; *прямое изображение внутреннего состояния персонажа*; *непосредственный авторский комментарий* и, наконец, *элементы несловесного общения героев*, когда жесты, мимика и т. д. помогают другому персонажу и читателю угадать то, что не выражается словами, часто верно, но иногда и ошибочно. В этом Толстой подобен множеству других авторов.

Специфической же особенностью Толстого является, с одной стороны, подробно и любовно выписанный чувственный облик жизни, а с другой — *чрезвычайная насыщенность повествования внутренними вторжениями во внешнюю фактуру повествования*. Особенность Толстого также в том, что *внутреннее не имеет у него преимуществ перед внешним*. Внешний, чувственный облик жизни — сам по себе

величайшая ценность. Он манифестирует непосредственную истину о жизни. Внутреннее — это не приближение к истине на большей глубине, а путь к созданию множественности перспектив ее созерцания. Внутреннее и внешнее равноценно. Автор стремится к объемной истине. Хотя каждое вторжение внутреннего во внешнее и переход от внутреннего к внешнему обусловлены ситуативно, в целом возникает определенный ритм достаточно *дробного* чередования.

В качестве примера обратимся к одной из начальных сцен, важной в той мере, в какой важно все в толстовском мире, но не имеющей решающего сюжетного значения. Левин на катке (кн. 1, ч. 1, гл. IX). Хотя эта сцена находится на сюжетном отрезке Левина, она представлена с точки зрения всевидящего автора и «общим планом». Такой базовый принцип повествования можно представить в виде ровной основы картины, на которой будут в дальнейшем выписаны и возвышенности, и впадины, и пропасти. Сцена распадается на такие фрагменты: 1) Описание катка — *внешнее изображение*. 2) Прямая речь Левина, предваряемая авторским «он говорил себе», — *сообщение о внутреннем*. 3) Кити глазами Левина («Она была улыбка, озарявшая всё вокруг») (18, 31) — *внешнее изображение, говорящее о внутреннем состоянии*. 4) Разговор Левина с Кити. Толстовский антидраматургический⁶ диалог: слышимые реплики, пронизанные авторским комментарием о том, что стояло за словами и что они пытаются угадать. *Расслоение внешнего и внутреннего*. 5) Левин делает «новую штуку»: *внешнее изображение поступка, но говорящее — без авторских слов — о внутреннем состоянии*. 6) Разговор Левина с матерью Кити. Кити улавливает сухость тона матери и, желая его смягчить, прощается с улыбкой. *Внешнее изображение с минимальным авторским комментарием его внутренней сущности*. 7) Разговор Левина со Стивой по дороге в ресторан. Ситуативные реплики, постоянно перемежающиеся авторским комментарием: о том, что Левин слышит в это время голос Кити, и о том, почему Стива выбрал именно этот ресторан. *Внешнее — несущественно, важно лишь внутреннее*. 8) Рассказ о том, что чувствовал Левин, *внешнее о внутреннем*. 9) Заключительный обмен репликами: «„Ты ведь любишь тюрбо?“ — сказал он Левину, подъезжая. „Что, — переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо“» (18, 37). *Ужасно — подчеркнуто Толстым. Классический пример случайных слов, именно поэтому говорящих все о внутреннем состоянии (прием, идущий от «Мадагаскара» Наташи Ростовской до чеховских пьес). Внешнее, полностью заменившее собой внутреннее*. 10) Обрыв повествования, придающий особенную значительность смыслу предшествующего эпизода.

Это простое перечисление фрагментов в их последовательности позволяет видеть, что все время чередуется внутреннее и внешнее, причем в каждом фрагменте по-разному, поэтому нет никакой монотонности. К этому можно добавить, что в пределах некоторых фрагментов (разговоры Левина с Кити) это мерцание становится еще более дробным: настолько пророс авторским комментарием их диалог. Иногда они делаются почти неразличимыми. Например: читатель *видит* Кити, ее белокурую головку, свободно поставленную на статных плечах, упругую ножку, вынутые из муфты руки и т. д. Но вот вспухшую морщинку на гладком лбу читатель увидел, потому что ее заметил Левин, знавший, что это означает усилие мысли, и пытающийся эту мысль отгадать. Не было бы в тексте этой морщинки, если бы не было любовной внимательности Левина. Читатель видит ее глазами Левина, но ему кажется, что своими. Внутреннее вклинивается во внешнее, а элементы внешнего — во внутреннее, иногда полностью с ним сливаясь. В результате читатель видит и то, что он мог видеть извне, и *одновременно* видит все то, чего видеть не смог бы, и понимает то, чего без авторского разъяснения он не понимал бы. И этот второй, внутренний слой тоже движется, как лента. Хотя внешний и внутренний потоки постоянно пересекают друг друга, и поэтому оба они прерывисты, смена точек зрения происходит через такие небольшие интервалы, что виденное не успевает стереться в памяти, и происходит нечто подобное тому, что происходит в кино: читатель не видит членения на кадры, а воспринимает непрерывность движения. Перед читателем происходит двойное разворачивание реальности: он созерцает жизнь извне и постигает ее изнутри. Однако в каждый отдельный миг он не чувствует, что стоит на какой-либо одной точке зрения — внешней или внутренней. Два взгляда совмещаются, все сливается воедино, и реальность воспринимается как *объемная целостность*.

Наиболее близкая модель такой реальности — это известная физикам *лента Мёбиуса*⁷. Напоминаем, что это непрерывная выворачивающаяся лента, на которой, как оказывается, нет ни внутренней, ни внешней стороны, а есть одна, единая сторона, сторона «изнутри — со стороны». Такая лента опутывает весь мир Толстого. В результате читатель обретает *голографическую оптику*. Поскольку он, «как в жизни», видит все извне, но, кроме того, «видит» и то, чего он «в жизни» видеть не смог бы, то «жизнь», создаваемая искусством Толстого, означает одновременно и отлет от эмпирической «жизни», и такое к ней приближение, что она, активизируя все способности читателя — мыслительные, чувственные, инстинктивные, — ее безмерно обогащает. Этот базовый принцип повествования является

для Толстого не просто осознанным, но и носит характер творческого императива. Еще в 1856 г. внесено в Записную книжку: «Хорошо, когда автор только чуть-чуть стоит вне предмета, так что беспрестанно сомневаешься, субъективный или объективно» (47, 191).

Такое панорамное, объемлющее разные перспективы видение мира задает общий контекст. В его пределах бесчисленные варианты. Базовый принцип повествования, который мы уподобили ленте Мёбиуса, лежит в основе создания «образа человека» во всем романе. Важнейшее концептуальное значение имеют три характера первого плана повествования: Анна, Каренин и Левин. Необходима оговорка: почему не Вронский, играющий столь важную сюжетную роль? Очевидно, что по своему уровню он уступает высоким толстовским героям. Открыт, однако, вопрос: какова в этом «необходимость поэтическая»? Воплощением любовного начала жизни в романе выступает Анна. Не она избрала любовь как «способ жить», а любовь, как могучая сила жизни, избрала ее, чтобы воплотиться. По словам Доли, Бог вложил ей это в душу. Встреча с Вронским пробудила заложенную в ней потребность в любви, но не его личность вызвала такое чувство. Поэтому то, что происходит с Анной, — ее проблема, и выбор — это ее выбор. Если представить, что чувство Анны порождено не только тем, что исходит от нее, но и масштабом неотразимо влекущей личности ее возлюбленного, то любовное начало обрело бы столь могучую силу, что поблекла бы альтернатива. Была бы снята проблема выбора, значит, был бы совсем другой роман.

Каренин

Логично начать с Каренина, хотя по сравнению с двумя главными героями — Анной и Левиным — его роль не первостепенная. Сложность этого образа в том, что в нем есть две ипостаси и он выполняет две функции. С одной стороны, Каренин — чиновник не только по профессии, но и по своей внутренней сущности, он чужд и враждебен живой жизни, он препятствие на пути Анны к счастью. С другой стороны, он невинная жертва: на долю Анны и Вронского выпадают счастье и страдание, а на его — только страдание. Он жертва и в том смысле, что вынужден играть роль, навязанную ему безликой «грубой силой», и поступать вопреки законам своей натуры.

Поскольку основной принцип создания характера у Толстого *бедоминантный*⁸ (в отличие от Достоевского, например, свойства характера не группируются вокруг доминирующей особенности, а расположены свободно), ни один из этих аспектов не является определяющим. Поэтому отношение читателя к Каренину меняется в той

или иной ситуации. В отличие от «Войны и мира», авторская позиция в «Анне Карениной» является *проблемой*. Отношение к Каренину как к острию любовно-семейного треугольника может оказаться ключевым. Поэтому то, как Толстой воздействует на восприятие читателем этой фигуры, в том числе и способом ее изображения, ведет и к пониманию основного нравственного конфликта романа.

Впервые мы видим Каренина глазами Анны. Хрящи ушей, медлительный тонкий голос, искусственный тон «насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил» (18, 111), а затем замеченная Вронским походка человека, «ворочавшего всем тазом и тупыми ногами» (18, 112), — все это психологические детали, говорящие о чувствах Анны и Вронского. Но дело в том, что читатель их запоминает, и они врезаются в его сознание как физически отталкивающие приметы облика Каренина. Он противен — а в любовном романе это прочно предопределяет его роль.

Во внутренний мир Каренина Толстой впервые проникает в сцене смятения Каренина после вечера у Бетси Тверской (ч. 2, гл. VIII). Внутреннее, как известно, ведет к большему пониманию. Но так ли абсолютна та истина, что понять — значит простить?⁹ Если определить нарративную форму этой сцены, то она ближе всего к тому, что называется «драматическим модусом», при котором состояние души персонажа непосредственно «драматизируется», а его внутренние монологи и реплики изредка перебиваются авторскими замечаниями. Но это не совсем точно. «Драматический модус» у Толстого, как и внешние диалоги, тоже «антидраматургичен». Внутренние монологи перебиваются *равным* по объему авторским комментарием. Логизированные, то есть созданные по законам внешней, а не внутренней речи (с ее умалчиваниями, ассоциативностью, непоследовательностью), монологи Каренина составлены в стилистике бюрократического документа. Его содержание — смятение: на него обрушилась живая жизнь с ее алогизмом, и он не знает, что делать. Толстой прямо объясняет, что именно это, а не ревность — основа его страданий, что он всегда имел дело лишь с отражениями жизни, что для него разобран мост над пучиной жизни и т. д. Думал он только о себе: «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу» (18, 152). Произносит он свой монолог на ходу, всякий раз поворачивая в одном и том же месте, и трещит пальцами: жест, который его «приводил в аккуратность» (18, 153). Заканчивается сцена тем, что он «ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул» (18, 153). Следующая сцена мучительного объяснения с Анной завершается тем, что он заснул и во сне свистел: «В первую минуту Алексей Александрович как будто

испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью» (18, 156). Все это: и чиновничья стилистика внутренней речи, и ее несоответствующая случаю упорядоченность, и прямой авторский комментарий к внутреннему состоянию, и ироничное изображение внешних проявлений — все свидетельствует о том, что автор приближается не столько к Каренину — страдающему человеку, сколько к Каренину-чиновнику.

Однако и здесь Толстой верен своему эстетическому принципу: сквозь конкретные ситуации открывать «срезы общей жизни». Хотя ситуация не располагает к самому герою, Толстой показывает свойственную всем людям работу душевного механизма, которая позволяет одновременно знать тяжелую правду и не знать ее. В преддверии решающей сцены после скачек Толстой в небольшой главке (ч. 2, гл. XXVI) в сухой информативной манере сообщает о состоянии Каренина. Здесь четко говорится о том, что Каренин не позволял себе думать и не думал о том, что он обманутый муж, но знал это «несомненно» (18, 213). Здесь же указывается на такое свойство психики Каренина, как власть над своими мыслями. Это важно для понимания дальнейшего, в частности, сцены беглой встречи с Анной (гл. XXVII), когда он мог бы все понять по ее состоянию, но ничего не замечал, потому что не хотел замечать.

Второе глубокое погружение в душевное состояние Каренина происходит после признания Анны (ч. 3, гл. XIII). Каренин поставлен перед жесткой необходимостью принять решение, он теперь не может увильнуть от себя. Структурно сцена напоминает первое погружение, т. е. может быть квалифицирована как «драматический модус»: тот же диалог с самим собой, перебиваемый авторским комментарием, а точнее говоря, толстовский антидраматургичный внутренний диалог. Этот диалог логичен — такова природа Каренина. Отличие от первого погружения заключается в том, что авторский комментарий несколько отступает, автор чуть более устранился, уступая место прямому изображению внутренней речи. Тон этого комментария по-прежнему нельзя назвать сочувственным. Автор отмечает и те случаи, когда Каренин говорит себе неправду и когда лукавит с собой: «ласкал мыслью вопрос о дуэли» (18, 295), и опять настаивает на том, что главная цель героя — «определение положения с наименьшим расстройством» (18, 297), «наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом» (18, 294). Впечатление о Каренине как о чиновнике усиливается и тем, что непосредственно вслед за этим идет гл. XIV, где речь идет о его служебных заботах, и они излагаются точно в такой же тональности. Противоестественная упорядоченность его размышлений особенно

подчеркивается контрастом с той душевной бурей, которую переживает в этот момент Анна. Однако заметно, что по сравнению с первым погружением из авторского комментария ушла та *ирония*, которая не давала читателю забыть, что Каренин — чиновник. А ирония, как известно, наиболее действенно отстраняет читателя от рассказанного. Таким образом, душа Каренина приблизилась к читателю. Он по-прежнему видит перед собой чиновника, который страдает не живым, а, так сказать, бюрократическим страданием, но он *страдает*. Можно не вдумываться в те варианты, которые перебирает Каренин, можно не следить за его логикой: сквозь этот слой видно нечто наиболее существенное и несомненное — смятение и страдание. Чиновник не устранен, но так ли уж важно, что он чиновник, когда перед тобой муки ни в чем не повинного человека?

В последующих главах попутно сообщается о служебной деятельности Алексея Александровича, т. е. напоминает, что он — чиновник. И вновь возникает тема отвращения Анны к нему. «Пронзительный, детский и насмешливый голос» (18, 337) слышит она, «неподвижные, тусклые глаза» и манеру «пожевать ртом» (18, 375) видит Вронский. Но и в сознании читателя это оживляет малопривлекательный облик Каренина. Поскольку это происходит на фоне изображения мучительного положения Вронского и Анны в связи с ее беременностью, это, несомненно, сказывается и на читательском восприятии Каренина. Оно приближается к самому первому впечатлению от Каренина — на вокзале. Но чрезвычайно важно, что это впечатление уже *не первое*. Другие впечатления — о страдании невинного человека, «виновного» только в том, что он *иной*, — несколько отодвинулись, но не исчезли. Одно на другое наслаивается: актуальное в этой сцене временно заслоняет то, что сейчас неактуально, но не отменяет его. Уже создан объемный образ.

И вот именно на этом фоне прозвучало одно слово «пеле... пеле... пелестралал» (18, 384). Только одно это слово, произнесенное вслух и сопровождаемое скупым авторским комментарием о том, что Каренин никак не мог выговорить это слово, больше сказало о глубине его страданий, чем подробнейшее аналитическое погружение в его внутреннее состояние. Это прорыв в чистую стихию страдания, когда нет смысла в вопросах о том, кто страдает и по какой причине. То, что это достигается не толстовским аналитическим методом, а тем, что Тургенев называл «тайным психологизмом»¹⁰, свидетельствует о том, что нет строгой рецептуры в методах проникновения в суть переживания человека. Возможно, в данном случае любой анализ был бы излишен и только рассредоточил бы силу сострадания, потому что есть, по-видимому, «неразложимые» чувства и состояния и они нахо-

дятся на тех глубинах жизни, где различия между людьми уже несущественны.

Таким образом, Каренин ступенчато приблизился к читателю. Но вовсе не для того, чтобы на этой точке задержаться. Ни один аспект личности не является единственно истинным, и ни одно восприятие человека — окончательным.

Следующая за этим сцена у адвоката замечательна сама по себе — безотносительно к Каренину. Моль, которую все время ловит адвокат, и вид его неудержимой радости — это почти эмблема (как сцена суда в «Воскресении») того, что все заняты своей жизнью и каждый в горе остается наедине с собой. Это вносит дополнительный оттенок в страдания Каренина, но они уже вышли из фокуса повествования и непосредственного сострадания не вызывают.

В преддверии кульминационной сцены у постели умирающей Анны Толстой вновь сосредоточивает свое внимание на Каренине. Фокус на внутреннее состояние Каренина наводится постепенно. Вначале преобладает внешнее изображение того, что он делал, с постоянными вторжениями в то, что он думал и что он чувствовал. Акцент стоит именно на реальном содержании того, что он думал и что он чувствовал. Как всегда, интимные переживания Каренина пробируются постепенно — сквозь толщу привычных ему служебных забот. Сначала — мысль о неприятностях по службе, затем — смятение, вызванное телеграммой о смертельной болезни жены. Но смятение быстро затухает. Каренин все привычно упорядочивает, на первое место выступает его чиновничья сущность, и в стилистике авторского комментария звучит нескрываемый сарказм: «...как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось: „Если обман, то презрение спокойное, и уехать. Если правда, то соблюсти приличия“» (18, 431). А затем, путем только авторского сообщения, без малейшего вторжения, без звучания даже несобственно-прямой речи, говорится о том, что может показаться и самым существенным и даже зловещим: Каренин желает Анне смерти, испытывая облегчение от того, что есть все-таки надежда смерти. Но почему это все-таки не звучит зловеще? Вероятно, потому, что читателю уже хорошо известна вся личность Каренина, давно понято, что он не злодей, что для него смерть Анны — лишь возможность избавиться от невыносимой необходимости принимать решение. Читатель уже настолько погружен во внутреннюю ситуацию Каренина, что нет необходимости еще что-то объяснять. Все понятно настолько, что даже не вызывает стремления простить, ибо не вызывало желания осудить. Стало быть, самое простое информативное сообщение может достигать эффекта эмпатии.

Кульминация темы Каренина — сцена у постели умирающей Анны¹¹. Если обратиться к терминам современной нарратологии, то эта сцена — «панорамный обзор» с элементами «драматизированного сознания». Иными словами, эстетический фокус сцены — это то, что происходит сейчас в спальне Анны, тот прорыв «в высшее», который поразил всех. Что касается Каренина, то изображается, главным образом, его *поведение*: внезапное прощение им Анны, примирение с Вронским, забота о новорожденной девочке. О внутреннем состоянии Каренина только рассказывается, но прямо оно не изображается. Сам поступок такого масштаба, что он говорит сам за себя, и проникновение в глубины ничего к впечатлению от него не добавило бы. Этот метод изображения близок к тому, что Томас Элиот называл объективным коррелятом. В статье «Гамлет и его проблемы» Элиот рассуждает о тех чувствах, которые не поддаются определению. «В таком случае, — пишет Элиот, — единственный способ выражения эмоции в художественной форме состоит в том, чтобы найти для нее „объективный коррелят“, — другими словами, ряд предметов, ситуацию или цепь событий, которые станут формулой *данного* конкретного чувства, формулой настолько точной, что стоит лишь дать внешние факты, должны вызвать переживание, как оно моментально возникает»¹². Не случайно Элиот основывает свое утверждение на анализе «Гамлета» — произведения драматического искусства, где возможности авторского вторжения в подоплеку действия минимальны. Особенность же поведения Каренина в этой сцене в том, что, несмотря на исключительность ситуации, оно неожиданно, однако, если вдуматься во весь предыдущий опыт читателя, то и не неправдоподобно.

Впечатление от «нового» Каренина усиливается еще и тем, что Анна смотрит на него с «умиленной и восторженной нежностью» (18, 434). Разумеется, это факт внутреннего состояния Анны, но, как и в том случае, когда она смотрела на него с отвращением, это отношение усваивается и читателем.

В дальнейшем *рассказывается*, как Каренин принял в свое сердце новорожденную девочку, о его размягченном состоянии. Прямых внутренних вторжений почти нет, но сочувствие Каренину не ослабевает. Однако к концу первого тома, когда происходит внезапное обрушение с такими муками созданного мира, и этот резкий поворот Толстой почти не мотивирует, Каренин вновь предстает *драматически* — своими словами и поступками — такими естественными с его точки зрения и такими противоестественными с позиции живой жизни, которая названа здесь «могуществом грубой... таинственной силы» (18, 447). Такая формулировка близка к несобственно-прямой речи Каренина, но она и не чужда самому автору. В данной точке

позиции автора и героя почти неразличимы. Но уже в том же абзаце говорится, что Каренин «готов был даже вновь допустить эти сношения» (18, 447). Это несобственно-прямая речь звучит в атмосфере взывающей волны живой жизни, которую только что хотели придумать, почти саркастически и соответствует той его реплике, которая привела в негодование Анну: «нет никакой надобности» приезжать Вронскому к любимой женщине. Опять в фокусе внимания Анна, ее «мучительное чувство физического отвращения» к мужу, к его «постылому присутствию» (18, 446), ее импульсивный порыв не дотрагиваться до его «влажной, с большими надутыми жилами руки» (18, 445). Своими чувствами Анна, как всегда, «заражает» и читателя, и Каренин вновь выступает в своей роли человека, не только стоящего вне живой жизни, но и оскорбляющего ее своей невольной к ней причастностью.

У Каренина во втором томе по-прежнему две ипостаси: жертвы и препятствия к счастью. Толстой начинает с первой. О судьбе Каренина он *только рассказывает*. Сила прямого авторского слова столь велика, что нет необходимости во внутренних вторжениях. Суть его положения в том, что «как бы в награду» за все проявленные им лучшие чувства «он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый» (19, 75). То «презрение и ожесточение», которое он видел на всех лицах, безусловно, им преувеличивается, но оно и не является лишь плодом его больного воображения. Как страшная констатация жестокого закона жизни звучат слова, в которых автор и герой сливаются воедино: «Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку» (19, 76). Жесткая образность, до того нечастая в стиле Толстого, придает этим словам такую силу, что смысл ситуации раскрывается полностью. Все последующее носит лишь событийный характер: и крах служебной карьеры, и двусмысленность человеческих отношений. Он «весь вышел» — таков итог его драмы.

Однако изображение Каренина во второй книге раскрывает важную роль такого фактора, как *мера внимания* к персонажу. В черновых вариантах Каренину уделялось неизмеримо больше внимания. В действии даже принимал участие такой персонаж, как сестра Каренина, позже совсем удаленный со страниц романа. Принцип изображения был тем же — внешним, но, описывая ситуацию, автор сливался с ощущениями героя настолько, что эмоциональная сила сострадания достигала высочайшего накала. «Ему приходило, как Русскому человеку, два выхода, которые оба одинаково соблазняли его, — монашество и пьянство, но сын останавливал его, а он, боясь искушений, перестал читать духовные книги и не пил уже ни капли вина.

Он чувствовал, что было бы менее унижительно ему валяться в грязи улицы своей седой и лысой головой, чем развозить эту голову, наклоняя ее по дворцам, министерствам, гостиницам, и чувствовать, стараясь не замечать, то презрение, которое он возбуждал во всех» (20, 370).

Можно предположить, что роль Каренина сокращается, сводясь постепенно только к сюжетной, потому что переместился фокус конфликта. Главным становится то, что происходило между Анной и Вронским. Если в первой книге их любовь противостояла внешнему миру и Каренин представлял собой этот враждебный мир, то теперь «дух борьбы» проник и в их отношения, поэтому все внешнее несколько отодвигалось.

Итак, две ипостаси, в которых изначально выступал Каренин, — жертвы и препятствия — сохранились до конца повествования. На первый план выступает то одна, то другая, но ни одна не утверждается окончательно. Итога как победы той или иной нет. Обе они постепенно сходят на нет. В последних сценах с участием Каренина читатель может его жалеть, может им возмущаться, но все это без особого эмоционального накала. Каренин как личность с пониженной жизненностью «весь вышел» (19, 86). Внимание читателя теперь полностью сосредоточено на другом.

Какие же выводы можно сделать из анализа тех способов, которыми Толстой формирует отношение читателя к Каренину? Поскольку характер Каренина не особенно сложен, то нет необходимости в течение романного времени поворачивать его разными гранями. Меняется не герой, меняется отношение к нему. Это отношение меняется не в одном определенном направлении, а в зависимости от изменения ситуации. Характер Каренина *ограниченно-динамичен*, то есть он развивается, но не вследствие заложенных в нем ресурсов развития, а потому, что вся ситуация, в которую он попал не по своей воле, внезапно вызвала в нем скрытые ото всех и от него самого неведомые силы (конец 1-й книги), с тем чтобы затем он вернулся к себе, но уже не на свой прежний уровень. Поэтому и в способе изображения нет направленности. Каренин, «как в жизни», возникает перед читателем то так, то этак, то ближе, то дальше, то задержит на себе внимание, то мелькнет, то автор расскажет, что происходило в его душе, то прямо изобразит это. Автор не столько дает читателю новую информацию, сколько воздействует на те или иные струны его души. Ощущения, возникающие в разных ситуациях и с разных точек зрения, не отменяют друг друга, а накладываются, формируя многомерное восприятие.

Это восприятие в громадной степени зависит от контекста всего сюжета — в какой именно момент в судьбе Анны появляется Каре-

нин. Толстой формирует у читателя панорамное восприятие, и тот не может целиком погрузиться во внутреннее состояние ни одного из героев, упустив при этом всех других. Герои находятся не только в сети сложных сюжетных отношений, но и в поле действия разнонаправленных токов, идущих от самого читателя. Один герой «заражает» читателя, а это влияет на его восприятие другого. Когда Анна была «непростительно счастлива» в Италии, а Каренин был «больной собакой», то сочувствие, бесспорно, было на его стороне. Когда же Анна вынуждена покинуть Сережу, потому что в детскую должен был войти Каренин, то он стал для читателя виновником ее страданий. Часто читатель видит Каренина глазами Анны, а то, что является знаком ее душевного состояния, становится для читателя и атрибутом личности Каренина.

Существуют сцены, где Каренин представлен извне, и те, в которых он представлен изнутри. Но непосредственно с восприятием читателя это не коррелируется. Стало очевидно, что невозможно безоговорочно утверждать, что понять — значит простить. В первой сцене прямого изображения душевного смятения Каренин становится понятней, но понятней как чиновник, то есть как нечто враждебное живой жизни. Поскольку Толстой останавливает свой анализ на этом уровне душевной ситуации Каренина и не проходит глубже сквозь нее, то читатель не может проникнуться сочувствием к Каренину вполне. Во второй же сцене та душевная оболочка, в которой Каренин остается чиновником, становится проницаемой и автор прорывается на тот уровень, где страдает просто человек. Только тогда возникает полная эмпатия.

Однако такой же точно эффект может быть достигнут и тогда, когда герой изображается только внешне. Одно-единственное слово «пеле-страдал» — это мгновенное «точечное вторжение» в такие глубины, что «послойное» погружение, сопровождаемое аналитической работой, излишне. Так же и прямой рассказ, без всякого изображения, в котором Каренин сравнивается с больной собакой, несет в себе заряд сострадания.

Можно сделать такой предварительный вывод. Внутренний способ изображения, безусловно, способствует тому, чтобы лучше *понять*. Но для того чтобы *простить*, а лучше сказать, проникнуться сочувствием, внешний способ изображения может не уступать внутреннему. Решающей является максима Толстого: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» (66, 254). На тех глубинах, в которые вовлекается читатель, не только стираются индивидуальности, но теряет смысл многое: и личные обстоятельства, и причины возникшей ситуации, и даже мера вины в этом самого

человека. Обнаруживается относительность всех индивидуальных различий внутри всеобъемлющего единства. Не *чувство* вызывается, а достигается *состояние*, не разлагаемое в своей целостности и простоте. Чувства анализировать можно, а часто и должно, состояние же в этом не нуждается. Его нельзя объяснить, его можно только *вызвать* в читателе, если автору удастся погрузить его на «общую всем» глубину. Симптоматично, что еще в 1856 г., т. е. тогда, когда анализ состава чувств становился все более и более сложным и утонченным, Толстого озарила гениальная догадка о том, что существуют и пределы аналитической работы: «Есть чувства и мысли, которые никак не поддаются рефлексии, даже у человека, как я, изуродованного ею» (47, 188).

Таким образом, Толстой размывает резкую оппозицию «внешнее — внутреннее» и лишает смысла противопоставление «сообщать и приобщать». Его мир, как и реальная жизнь, лежит вне узких рамок противоположных понятий. Все они не что иное, как различные грани одной и той же действительности. Наделив читателя таким зрением, то есть способностью видеть так, как «в жизни» он видеть не смог бы, Толстой приближает его к самой сути жизни.

Анна

Один из опорных образов Толстого — «раздвижной механизм». Он отражает законы человеческой психики: иногда ее грани раздвигаются, а затем внезапно сдвигаются, таково одно из проявлений «дыхания бытия». Этот образ может иметь и более универсальный смысл. Внешнее и внутреннее в «образе человека» то сближаются до полной неразличимости, то разводятся. Когда сближаются, то читатель и видит героя, и отчасти им является. Когда разводятся, то его внимание сосредотачивается на чем-то одном. Внешнее — то есть то, что мог видеть сторонний наблюдатель: портрет, жесты, поступки, слова, — чередуется с внутренним, то есть с тем, что составляет невидимую сущность зримых проявлений. По-видимому, когда автор «глубоко зачерпывает» внутреннее, то, что «общее всем», он способствует тому, что читатель отождествляет себя с героем, а когда показывает внешнее, читатель начинает постигать тайну чужой индивидуальности. Поэтому можно сказать, что при соблюдении баланса внешнего и внутреннего читатель и видит героя, и является им. Происходит то, чего «в жизни» не бывает. Но — бывает в романе Толстого. Тот момент, когда Анна сама в темноте видела блеск своих глаз (18, 156), — это точка, в которой в свернутом виде заключен важнейший эстетический принцип романа. Является он базовым и при создании образа Анны.

Однако у Анны особая роль... Она — главная героиня, к ней больше всего привлечено авторское внимание. Она — проблемный фокус романа, об этом говорит и эпонимичное название книги. Поэтому, создавая ее характер, Толстой все доводит до эстетического максимума. Полюса внешнего и внутреннего он разводит очень далеко. Внешнее — ярче, внутреннее — значительно глубже.

Самое внешнее в героине — это его портрет. Из всех героинь романа портрет есть только у Анны. О Кити создается известное представление, не более того. Она мила, у нее правдивые глаза, однажды мелькнула белокурая головка — и все. Долли также мила, но сейчас это увядшая, изможденная женщина — и только. По-видимому, нет «необходимости поэтической», чтобы читатель их видел. Но такая настоятельная необходимость существует в восприятии Анны. Анна — красавица. Но не «идея красоты», как, к примеру, Настасья Филипповна. Ее портрет предельно индивидуализирован. Согласно изречению А. Франса, классическая красота — это доведенная до совершенства банальность. Анна — воплощение той красоты, которая безупречна, но бесконечно далека от банальности.

Известно, что существует два способа создания портрета: экспозиционный и лейтмотивный¹³. Преимущество экспозиционного — целостность. Он характерен для дотолстовской эстетики. Преимущество лейтмотивного — запоминаемость повторяющихся отдельных элементов. Он — одно из открытий Толстого. Известно также, что полный расцвет лейтмотивного портрета происходит в «Войне и мире», а в «Анне Карениной» он значительно сдержанней. Хотя плешивая голова Вронского, его сплошные зубы, хрустящие пальцы Каренина и т. д. запоминаются навсегда, таких деталей не так уж и много. Уникальность портрета Анны в том, что в нем совмещены оба эти способа: и целостность экспозиционного, и резкость, детализация лейтмотивного.

В черновых вариантах («Молодец-баба») при первом же появлении героини (сначала она — Нана, но в следующем же абзаце — Анна) возникает ее целостный портрет. Сначала — в соответствии с первоначальной установкой романа — она подчеркнуто некрасива: «некрасивая с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродлива» (20, 18). Еще раньше (затем зачеркнуто): «Низкий, очень низкий лоб, маленькие глаза, <толстые,> неправильные губы и нос <некрасивой формы>» (20, 19). Это облик неодолимое существа. И тут же к портрету добавляются другие черты: огромные ресницы, огромные волосы, красившие лоб, блестящие серые глаза, грациозность стана, маленькие ручки и ножки, легкие движения. За-

мысел сводился к созданию впечатления, смысл которого записан на полях: «Дамы пас. Мужчины все глядят на нее» (20, 19). Иными словами, она должна была производить впечатление откровенной, вульгарной, но непобедимой сексуальности. Однако нельзя не заметить, что целостного облика с присущей ему гармонией хотя и противоположных, но не распадающихся свойств не получилось.

В окончательном тексте, когда Толстой отошел от жесткой моральной установки и создал роман о жизни «с бесконечной сложностью всего живого», он тоже, вводя героиню, создает ее экспозиционный портрет. У Анны в каноническом варианте примерно те же физические черты, но снята всякая бестиальность, она прелестна. Доминанта ее облика — это сила жизни: «Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо...» (18, 66). Экспозиционный портрет героини появляется в романе дважды: не только в начале, что естественно, но и незадолго до развязки — перед началом любви, то есть жизни, и перед ее концом. Накануне этих «отверстий в высшее» все как будто концентрируется. Левин увидел сначала живописный портрет, а затем живую женщину. Толстой размыкает между ними грани: «Это была не картина, а живая прелестная женщина...» (19, 273). А живая женщина, как произведение искусства, часто выступает в рамке: черного бального платья, кружевной накидки или белого оренбургского платка. Все выдержано в одной, высокой тональности: совершенная, пленительная, одухотворенная красота.

Между двумя экспозиционными портретами протянуты нити лейтмотивного. Смысл тех немногих, но многократно повторяющихся деталей, создающих толстовский лейтмотивный портрет, созвучен тому, что исследователи называют повествовательными изотопами¹⁴. Их назначение — помочь читателю постепенно обжить мир, влекущий, но незнакомый. Вначале он привлекает своей новизной, а позже — своей привычностью. Вот Анна впервые в гостиной у Долли отцепляет запутавшиеся волосы, а потом этот жест проходит через весь роман. Вот впервые мелькнул красный мешочек, а потом он будет сопровождать Анну до последнего ее мига. И каждый раз читатель будет получать сигнал о том, что он в мире, уже хорошо известном, с человеком, с которым он уже сроднился. Каждая новая страница требует напряжения, чтобы узнать неизвестное, а каждая знакомая, даже чуть надоевшая деталь способствует расслаблению, необходимому, чтобы чувствовать этот мир своим, интимно освоенным, обжитым. Новое — знакомое. Напряжение — расслабление. Так идет естественная пульсация жизни. Так пульсирует и читательское внимание. Смысл этого в том, чтобы, расширив сознание читателя, постепенно вовлечь его в неведомый ему мир¹⁵. Читатель,

легко плывущий вслед за автором по видимой поверхности жизни, часто незаметно для себя проникает значительно глубже: в глубины души его героя. В толстовском мире у лейтмотивного портрета не менее важна и противоположная функция: на поверхность повествования периодически всплывают частицы внешнего облика жизни. Этот пунктир постоянно напоминает о внешнем, не давая читателю целиком погрузиться во внутреннее и поддерживая равновесие между ними.

Лейтмотивный портрет героев не первого плана, особенно в таких многолюдных романах, как у Толстого, — в каком-то смысле прием вынужденный: этого героя нужно выделить и сохранить узнаваемым в течение всего действия. Такова, думается, губка маленькой княгини или двойная улыбка Долохова. Что касается Анны, тут, разумеется, задача другая: автор заставляет не упустить из виду ни малейшей детали ее *индивидуальной* красоты. Действительно, Анна — воплощение красоты, той красоты, которая и есть истина жизни. В близости к страстной основе бытия — смысл судьбы героини, и в этом истоки ее трагедии. Таким образом, красота — это не внешний атрибут, отчасти мотивирующий события, она ведет в проблемные глубины романа. Однако Толстому необходимо, чтобы это была индивидуальная красота, ибо трагедия Анны обусловлена в равной степени и тем, что она следовала древнейшему архетипу страсти, и тем, что она такая. Это еще одно подтверждение того, что в мире Толстого единое единично, а в уникальном проявляет себя универсальное.

В отличие от лейтмотивных портретов других персонажей, когда у каждого из них были одна-две запоминающиеся лейтмотивные детали, в портрете Анны нет такой избирательности. *Все* детали, составляющие ее целостный облик, проходят через весь роман. И блестящие глаза, и вьющиеся волосы, и жест, отцепляющий кружево, и плечи, и маленькая кисть, и грациозная походка, и т. д. Кажется, автор ставит перед собой задачу: заставить читателя сначала увидеть ее всю целиком, а затем не забыть ничего из того, что составляет ее облик. Сохраняется, таким образом, целостность портрета, но не концентрированная, а рассредоточенная. Целостность же, с точки зрения Толстого, — одна из самых высоких и наиболее труднодостижимых целей искусства¹⁶. И в этом столь важном для себя отношении Толстой, создавая облик Анны, тоже достигает эстетического максимума. При этом использует *все* изобразительные средства современного ему словесного искусства, а отчасти и предвещая новые¹⁷.

Такой же эстетический максимум достигается в изображении внутреннего. На фоне того, что принято называть «диалектикой души», Толстой совершает два прорыва к более глубоким слоям

психики. Один — это полуявь-полусон по дороге из Москвы в Петербург, второй — поток сознания накануне самоубийства. Симптоматично, что, как и оба портрета, оба эти прорыва в глубины совершаются «накануне» — накануне страсти и накануне смерти. Нет нужды их подробно комментировать: об этом существует большая научная литература¹⁸. Важно отметить лишь то, что оба эти прорыва означали новое слово в художественном постижении глубин человеческой психики и оба они возникли в связи с Анной.

Исключительность в создании образа Анны состоит также в том, что она единственная дается в ракурсе множества точек зрения. Кроме того, что она изображена непосредственно сквозь авторскую призму, она воспринимается с позиций почти всех персонажей, так или иначе вовлеченных в ситуацию и потому небеспристрастных. При первом своем появлении Анна видна глазами Вронского. Он влюбляется в ее красоту, а возникшая влюбленность усиливает особый блеск этой красоты. Затем Анна видна глазами любящих Стивы, Долли и очарованной ею Кити. Для них она душевный, чуткий, пленительный человек. В сцене бала Анну видит Кити. Она восхищается и ревнует, для нее в прелести Анны есть что-то бесовское. Отныне слово «преlestь» звучит в романе в двойном значении: то как тонкое очарование, то как дьявольский соблазн. Что-то дьявольское в ней видит и Каренин, для него Анна воплощает «дух зла и обмана» (18, 157). А в сценах последних ссор Анна бывает неприятна, потому что она неприятна Вронскому (отставленный мизинец, психологически рифмующийся с торчащими ушами Каренина). Последний раз в романе тело погибшей Анны тоже видно глазами Вронского. Ее лицо по-прежнему «преlestно», есть что-то «жалкое в губках» (19, 362). Герои, не вовлеченные в эту трагедию непосредственно, тоже воспринимают Анну сложно. Ближе к развязке Толстой доверяет точку зрения Долли и Левину, потому что они более объективны и справедливы. Но и они оказались не вполне беспристрастными. Долли в Воздвиженском видит и расцветшую физическую красоту Анны, и блеск ее облика, «рифмующийся» с блеском сытых, ухоженных лошадей и всего богатого, но необжитого имения Вронского. Она же видит в Анне и новую привычку щуриться. Долли наделена проницательностью — дружбы и любви благородного человека. Но она также наделена проницательностью недоброго чувства, которое нельзя назвать завистью, но которое все же сродни ей. Только взгляд Левина оказался свободен от каких-либо личных чувств. И в силу масштаба своей личности он сумел оценить Анну вполне — ее несравненную одухотворенную красоту, ее ум, ее правдивость, простоту и задушевность. Хотя Левин совсем не знает Анну, он обладает наибольшей проницатель-

ностью — на потаенные движения ее души. Но и он не вполне беспристрастен: Анна хотела очаровать его — и очаровала.

То, что Анна вызывает у всех лично окрашенные чувства, обусловлено не только остротой сюжетной ситуации. Дело в самой природе ситуации: она порождена теми первичными, глубинными силами бытия, к которым так или иначе причастно все живое. Поэтому ситуация живо задевает болевые точки любого, скрываемые часто от самого себя. Поэтому не *судить* Анну, к чему призывает высшая авторская инстанция, невозможно, а суды у всех людей разные.

Восприятие Анны тем или иным персонажем — это знак его собственной внутренней ситуации. Если вспомнить мысль Спинозы о том, что «слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре»¹⁹, то суждения об Анне не столько лепят ее образ, сколько свидетельствуют о чувствах других. Но дело в том, что эти суждения, как бы субъективны они ни были, не искажают правду, а открывают ту ее грань, которая иначе не была бы замечена. Иными словами, не столь существенно для персонажа, почему это было увидено, а важно то, что это *было увидено*. Как уши Каренина, будучи знаком душевного состояния Анны, для читателя навсегда остаются физически отталкивающим атрибутом его внешности, так и все грани личности Анны, независимо от того, кем и почему они были обнаружены, в совокупности создают сферу, освещаемую с разных сторон.

Если повествование ведется с одной, зафиксированной авторской точки зрения, то рассказанное можно представить себе как поверхность, залитую одним ровным светом. Но если точка зрения часто передоверяется другим, совсем не беспристрастным персонажам, то эта поверхность становится ребристой, все дробится, лучи преломляются под разными углами и создается эффект таинственного мерцания. Большинство персонажей попадает под ровный авторский свет, но Анна находится в этой зоне таинственного мерцания.

Левин

Левин — герой с иной функцией и характер, созданный в иной эстетике. В той основной коллизии, которая составляет сюжетное ядро романа и которая настоятельно требует от читателя оценки и даже суда, Левин участия не принимает. Поэтому и читательское отношение к нему более спокойное. Хотя его жизненная позиция сопряжена с центральной проблематикой иными, внесюжетными связями, он относительно автономен. Он, как и вся его сюжетная линия, существует в романе скорее по принципу дополнительности.

Эстетически — это герой «Войны и мира». Все фундаментальные признаки центрального толстовского героя: напряженная духовная жизнь, нравственный максимализм, ступенчатый характер движения — через кризисы, потери и обретения, безусловный автопсихологизм, а в большой степени и автобиографизм, — все наличествует в этом характере. Если о главных героях «Войны и мира» говорилось, что эстетически они менее рельефны, чем герои второго плана, то к Левину это относится в еще большей степени. Границы его характера кажутся более размытыми, нет в нем того горельефа, когда герой «выступает над текстом» и виден во всех подробностях. В этом смысле он уступает Каренину и даже Вронскому.

Одна из причин этого заключается в ракурсе изображения. Поскольку Левин наиболее автобиографичный из всех героев Толстого и поскольку роман создавался в преддверии идейного кризиса и в самом процессе его созревания, то Левин виден с одной точки зрения, а именно авторской. Она не приподнята над героем, а часто находится в глубинах его смятенного сознания. Поэтому читатель видит все подробности его жизни, но затрудняется обозреть контуры его характера.

Принцип совмещения внешнего и внутреннего изображения соблюдается и здесь, но по-другому. Портрета у Левина нет — ни экспозиционного, ни лейтмотивного. Существует лишь некоторое впечатление от него: он сильный, мужественный, умный, застенчивый, некрасивый в собственных глазах и по-своему привлекательный — в глазах других.

Внутреннее у Левина — и это доминанта его личности — духовные поиски, носящие, как и у Толстого, самый общий и тем самым жгуче личный характер. Его внутренние монологи традиционно дискурсивны, они строятся скорее по закону не внутренней, а внешней речи. Л. Выготский называл такие монологи «речь минус звук». Внутренняя же речь смело нарушает логическую последовательность, фрагментарна, ассоциативна, в ней часто опускается подлежащее, потому что «мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней ситуации»²⁰. Если внутренние монологи Анны часто строились по закону внутренней речи, потому что их смысл в том, чтобы передать смятение чувств, то в монологах Левина первостепенный интерес представляет сама ищущая мысль.

Как Левин ни близок структурно героям «Войны и мира», существенное различие между ними в том, что его духовные поиски не находят выхода в поступках. У князя Андрея, к примеру, поступки были более целеустремленными, у Пьера — подчас импульсивными и хаотичными, но, пройдя через очередной кризис, оба они так или

иначе действовали. Левин же в самой главной для себя сфере жизни не действует, не потому, однако, что у него слабость воли, а потому, что он, как его автор-создатель, на вопрос «что делать?» не может найти ответа вплоть до последней главы. Поэтому на уровне поступков у Левина не происходит слияния внутреннего содержания и внешнего проявления.

Однако есть область, где это «сопряжение» осуществляется вполне. Это область «актуального я»²¹. «Актуальное я», или «мое» — это та сфера жизни, которая ощущается человеком как интимно близкая. О том, что в нее входит на самом деле, сигнализирует болевая реакция, когда эту сферу что-либо задевает. Она составляет органику человека. Широта и наполненность «актуального я» — важнейший критерий значительности личности.

Именно в том, что «актуальное я» Левина чрезвычайно широко, кроется вторая причина того, что границы его характера кажутся расплывчатыми. И в этом смысле Левин — один из самых «толстовских» среди толстовских героев. По точному определению Жоржа Нива, «опорный принцип толстовского искусства» — это «сущностная рассеянность». «Чем рассеяннее человек, тем доступнее ему смысл жизни. Зрение, наслаждение, чувство в мире Толстого производны от этой рассеянности»²². В этом определении схвачены не только широта, но и свобода, произвольность жизненных интересов и впечатлений, а стало быть, в конечном счете, их равноправие. Толстой любил цитировать Гёте: «Gdeif in die Mitte mit kecker Hand, wo du's auch packst, dort ist's interessant», то есть: «Загребайте же из гущи жизни, и, где ни схватите, везде будет интересно»²³.

Левин «загребает» очень широко. Его духовные поиски для него столь же интимно важны, как и отношения с братом Николаем, как любовные и семейные проблемы. Те фрагменты текста, которые выпадают за пределы сюжета, как, например, сцены с Сергеем Кознышевым и с Николаем Левиным, входят, тем не менее, в органику романа, потому что они сопряжены с личностью Левина. Те философские пассажи, которые в «Войне и мире» выступали как независимые публицистические отступления, во втором романе вовлечены в повествовательный поток, потому что составляют «актуальное я» Левина.

Совсем особое место и в романе в целом, и в структуре личности Левина занимает природа. Она меньше всего фон действия. Когда природа обращена к событиям человеческой жизни, формируя образы-символы, как, к примеру, перламутровая раковина Левина или вьюга в Бологом, обрамляющая встречу Анны и Вронского, то это лишь одна и не самая главная ее функция. Жизнь природы органи-

чески входит в жизнеощущение Левина. Сенокос, охота на вальдшнепов и охота на бекасов и уток, деревенская весна во всех своих подробностях, которыми автор без усталости любит, — все это так же неразрывно сопряжено с Левиным, как материнство — с Доли или любовная страсть — с Анной. Как нет и не может быть природы вокруг Каренина, так нет и не может быть Левина без природы.

Природа для Левина — это и составная часть души, и Божий мир. Обостряя все инстинкты, активизируя все витальные силы, природа расширяет и его сознание. «Да, жизнь есть расширение сознания» (55, 31) — это постоянное убеждение Толстого. «Нынче в лесу думал: всё, что вижу: цветы, деревья, небо, земля, всё это мои ощущения, всё это сознание пределов моего „я“. Когда я прикасаюсь с ними — хочу расшириться. <...> Почему же я знаю то, что я — я, а всё видимое и познаваемое есть только предел меня? Для чего мне это дано знать? И если я чувствую пределы и стремлюсь из них, то во мне есть беспредельное» (52, 260), — записал в Дневник Толстой. Так чувствует и Левин.

Три основные сцены, где природа выходит на первый план, включены в «сегмент»²⁴ Левина. Как они сопряжены с его личностью?

Левин вернулся в деревню, пережив любовную драму и сильный удар по самолюбию. Боль и стыд — чувства, которые не могут пройти сами по себе. Но приходит весна. Толстой последовательно перечисляет картины пробуждающейся жизни во всем богатстве ее подробностей. Его внимание захвачено именно этими подробностями, существующими независимо от того, что происходит с человеческой душой. Каждая фраза — это фрагмент не статичного, а движущегося пейзажа, акцент стоит на глагольной основе, вокруг которой сосредоточено описание. Три фразы подряд начинаются с глагола с префиксом «за», выражающего начало процесса: «Зазеленела...», «Залились...», «Заревела...» (18, 161). Монтаж этих фраз создает ощущение мощного потока жизни. О душевном состоянии Левина речь не идет, но Левин остро чувствует это вечное обновление жизни не как созерцатель, а как труженик, как участник этого процесса. Его вовлекает бурный поток пробудившейся жизни. Хотя он весь поглощен прозаическими хозяйственными заботами, незаметно для него происходит радикальное обновление его психологического состояния. «Всё было прекрасно, всё было весело» (18, 167). В душе Левина? Или в окружающем мире? И там, и там: грани стерты.

Тема продолжена в последующей сцене охоты. Очевидно, что ее сюжетная роль невелика: Левин узнает о болезни Кити, но для этого фон охоты был необязателен. Акцент стоит на вечной жизни, внеположной человеческим переживаниям. Это поистине *живущая* жизнь,

жизнь, протекающая во времени. Самое мелкое укрупняется настолько, что улавливается его движение: «„Слышно и видно, как трава растет!“ — сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы» (18, 172). И это движение, и звуки хорканья вальдшнепа, «похожие на равномерное наддирание тугой ткани» (18, 173), изображены автором, но их улавливает и Левин. Происходит полное слияние авторского голоса и внутреннего состояния героя, состояния острой наблюдательности. Масштаб мира природы в этот момент равен масштабу его души: мир составляет не часть души его, а заполняет ее всю целиком. Но уже через миг масштаб меняется, и сам Левин ощущает, что он лишь часть этого мира, миру несколько чужеродная. Он говорит, «с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом» (18, 172). А вот Ласка миру не чужеродна. Она оказывается в фокусе повествования. Можно было бы сказать, что Толстой ее очеловечивает, если бы не был он твердо убежден, что ее и незачем очеловечивать, ибо все живое — а собака тем более — равноправно человеку, способно и чувствовать, и думать. Ласка «как бы желает продлить удовольствие» и «как бы улыбается» (18, 173), укоризненно сморит на Левина и с досадой думает о нем. Толстой «не устаивает» Левина психологического анализа, лишь отмечает, что на какой-то миг он забывает обо всем, что связано с Кити.

То же происходит и на второй охоте, с той разницей, что она уже и вовсе не имела никакого сюжетного значения, но занимала значительно больший объем повествования. Душевное состояние Левина достаточно ровное, поэтому эта сцена не играет, подобно первой, роли в разрешении его кризиса. Иными словами, она в громадной степени автономна и замечательна сама по себе. Все рисуется с двух точек зрения: повествователя и Ласки. Ласка «не верила, что он убил» (19, 158), притворялась, что ищет, но не искала, смотрела на лошадей «насмешливо», а на Левина «вопросительно» (19, 167), бежала «весело и озабоченно», притворялась, «чтобы сделать ему удовольствие» (19, 167), и думала: «Ну, так если он хочет этого, я сделаю, но я за себя уже не отвечаю теперь» (19, 168). Не Левин видит ее, а она видит Левина «с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами» (19, 168).

Нет нужды говорить, что природа не подчиняется внутреннему миру Левина. Как заметил И. Анненский, «человек слишком чувствует величие природы, чтобы изображать ее то смеющейся, то плаксивой, смотря по тому, в каком расположении духа царь природы встал с постели»²⁵. Нет у нее и той психологической функции, когда в избранных картинах природы автор проясняет душевное состояние героя. Весна, деревенские работы, охота — все это входит в роман как

жизнь, идущая своим чередом, «равнодушная» к переживаниям человека, потому что их масштаб несоизмерим. Но Левин — это человек с душой, расположенной к тому, чтобы расширяться. Он наделен тем, что Гумбольдт назвал «чувством природы». А это означает, что присущее человеку ощущение себя как чего-то отделенного от мира сопрягается с чувством причастности к миру. Эти два ощущения себя не противоборствуют, а накладываются, и человек ощущает свое «я» стоящим на более широком основании. Но границы этого основания не очерчены жестко, они расплываются. Иногда они видны, а иногда размываются до полной неуловимости.

Левин совершенно естественно вбирает в себя то, чему он искони принадлежит. Вначале картины природы еще повернуты к нему, обостряя все силы его жизненности. Шевельнувшийся лист — это и признак обострившейся жизненности, но в равной степени и деталь жизни, которая «трепещет, дрожит в каждом существе» (56, 5). А затем фокус авторского внимания все дальше отплывает от Левина — в сторону этой не зависимой от человеческого существования жизни. И, наконец, Ласка становится важнее Левина. Вначале природа существует «внутри» Левина, составляя его «внутреннее мировое пространство»²⁶, а затем она вырывается на волю, и Левин становится одной из деталей пейзажа. Та граница, за которой автор оставляет Левина, переходя к внеположной ему жизни, неуловима. Невозможно сказать категорично: вот это еще в Левине, а это уже не имеет к нему отношения, потому что мощная, не зависящая от всех жизнь продолжает Левиным ощущаться, расширяя его душу. Поэтому даже те «кадры» сцен охоты, где Левин столь очевидно отсутствует, воспринимаются как принадлежащие ему, подобно тому как грандиозная сцена Бородинского сражения составляет содержание внутренней жизни Пьера независимо от того, был ли он свидетелем того или иного эпизода.

Когда Толстой погружается в тему «человек и природа», становится очевидным, что сопряжение внешнего и внутреннего ракурсов изображения — в разных вариантах, вплоть до полной неразличимости, — меньше всего «техника письма». Этот базовый принцип повествования обусловлен самым глубоким, самым первозданным ощущением себя в мире. «Есть два сознания: одно — отделенности от Всего, другое — единства со Всем» (55, 234). «Чувство природы» способно снять такой дуализм, преодолеть пределы, осуществить мучительно ощущаемую человеком беспредельность, то есть пробиться к своему подлинному, столь трудно реализуемому «я». Базовый принцип повествования Толстого — стремление снять этот дуализм силой искусства и дать ощущение жизни, адекватное ее подлинной сущности²⁷.



Роман производит впечатление непосредственно текущей жизни, и поэтому герои первого плана, когда они находятся в зоне авторского внимания, должны быть эстетически равноправны. Однако принципы создания характеров трех главных героев различаются своими акцентами.

В создании характера Каренина важную роль играет движение камеры «по вертикали»: от внешнего впечатления до проникновения в глубины сознания, а затем — в обратном направлении.

В создании характера Анны соблюдается тот же принцип, но размах вертикального движения значительно шире. Все доводится до своего максимума: изображение внешнего облика достигает наивысшей выразительности, а проникая в хаос подсознания, Толстой открывает для словесного искусства «поток сознания». Кроме того, Анна единственная изображается с разных точек зрения — всех персонажей, вовлеченных в неразрешимый конфликт и, стало быть, далеко не беспристрастных. Это затрудняет, если не исключает, возможность однозначного суждения о ней.

Левин представлен с одной, авторской точки зрения. В этом смысле его изображение более «плоскостно». Камера движется в основном «по горизонтали», в большом диапазоне, захватывая те сферы жизни, которые для него актуальны. Границы его характера широки, но они пульсируют и размываются.

Стало быть, впечатление непосредственно текущей жизни достаточно иллюзорно. Напоминаем мысль Толстого: «Произведение драматического искусства, очевиднее всего показывающее сущность всякого искусства, состоит в том, чтобы представить самых разнообразных по характерам и положениям людей и выдвинуть перед ними, поставить их всех в необходимость решения жизненного, не решенного еще людьми вопроса и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решится этот вопрос. Это опыт в лаборатории» (52, 78). «Анна Каренина» — глубоко проблемный роман. Это «опыт в лаборатории», решающий «не решенный людьми» вопрос. Поэтому каждый из героев выполняет в решении этой проблемы свою функцию. Существенное расхождение в эстетических принципах создания характеров свидетельствует именно об этом.

Анна — наиболее «живая». И поэтому, как жизнь, она наиболее «проблемна». Каренин с отвердевшими контурами его характера оттеняет важную грань той проблемы, которую поставила своей жизнью Анна, но сам, своей личностью проблемы не ставит. Жизненный путь Левина тоже отчасти оттеняет проблему Анны. Но важно и то, что он

воплощает идею широты. А поскольку трагедия страсти всегда предельно сосредоточена на себе и «свет клином сходится», то широта мироздания, не способствуя разрешению именно этой трагедии, способна на более высоком уровне преодолеть трагичность бытия. Левин как личность не представляет собой проблемы, но, будучи близок к авторскому сознанию, он постоянно размышляет над проблемами и пытается их решить.

И тем не менее все они существуют в одном мире, и читатель находится на ленте Мёбиуса, то есть он смотрит со стороны и ощущает изнутри, прозревает жизнь изнутри самой жизни и видит мир в противоположных ракурсах, созерцает и является. Так осуществляется известный парадокс Пикассо: «Искусство — это ложь, позволяющая узнать истину»²⁸.

¹ Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 226.

² Белый А. Лев Толстой и культура // О религии Льва Толстого. М., 1912. С. 145.

³ См.: Сливцкая О. В. О многозначности восприятия «Анны Карениной» // Русская литература. 1990. № 4.

⁴ См. подробнее: Современное зарубежное литературоведение. Страны Западной Европы и США. Концепции. Школы. Термины. М., 1996. С. 64–77.

⁵ Так называемые *verba sentiendi*, т. е. выражения, описывающие внутренние состояния: «он подумал», «он знал». Об этом подробнее: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. С. 114.

⁶ См.: «Для Толстого реплика — это еще сырой материал; только объясняющее авторское сопровождение оформляет ее смысл, переключая реплику в другой, скрытый контекст» / Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 374.

⁷ Обычно это демонстрируют простым опытом: берут длинную полоску бумаги; один из концов выворачивают наизнанку, а затем концы склеивают. В результате — невозможно различить внутреннюю и внешнюю стороны.

⁸ Об отсутствии в «человеке Толстого» доминанты см. интересные сообщения психолога: Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. С. 198–206.

⁹ Г. С. Морсон убедительно доказал, что в «Анне Карениной» нельзя безоговорочно принимать максимум «понять — значит простить», потому что сознание героев слишком сужено их личной ситуацией и не включает в себя всю панораму событий. См.: Morson, Garry Saul *Narrative and Freedom. The shadows of Time* Yale University, 1994. P. 80.

¹⁰ См: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1962. Письма. Т. 4. С. 135.

¹¹ Эта ситуация имеет столь важное значение, что ее анализ является предметом специальной работы. Суть дела, с нашей точки зрения, в том, что здесь впервые в эстетике романа проявляется себя такой парадокс: подробнейшим образом анализируется душевное состояние героя, стоящего перед необходимостью принять решение и бессильного его принять. И это состояние подробно мотивируется. А вслед за этим совершается спонтанный поступок, имеющий решающее значение, — и этот поступок почти не мотивируется. Христианский порыв дал Каренину возможность и пренебречь ревностью, и переступить через самолюбие, но обрести вожаденную упорядоченность. Так его душа нашла путь, наиболее ей свойственный, — через унижение достичь наиболее удобного положения. Вот это и просвечивает сквозь христианский порыв, но именно просвечивает, не более того: мешает одержать полную моральную победу, но не подвергает сомнению его искренность и подлинность. В человеке, показал Толстой, сосуществует несколько «плавающих» слоев личности. Иногда то, что находится в глубинах и неведомо никому, даже самому человеку, неожиданно всплывает наверх. Кажется, что человек либо лукавит, либо перерождается. На самом деле он и был, и остался внутренне подвижной структурой. «Необходимость поэтическая» того, что это раскрывается не аналитически, а через поступок, в том, что в роковые минуты жизни человеком управляет «вдруг» (ср. с миром Достоевского).

¹² Элиот Т. С. Назначение поэзии. Киев, М., 1997. С. 154—155.

¹³ См. подробно: Хализев В. Своеобразие художественной пластики в «Войне и мире» // В мире Толстого. М., 1978. С. 212—213.

¹⁴ Понятие, введенное Rimvydas Silbajoris. По его мнению, толстовский текст насыщен ситуациями, образами, деталями, которые, рифмуясь между собой, создают однородность повествовательной ткани. Эти элементы он называет «повествовательными изотопами». См.: Silbajoris, Rimvydas. War and Peace: Tolstoy's Mirror of the world NY: Twayne Publisher, 1995. P. 75. Подробнее о повествовательных рифмах см.: Ch. 7 «Reccurents and Linkages».

¹⁵ См. об этом суждения Поля Валери: «Все помыслы и стремления романиста направлены на придание роману видимости „жизненности“ и „правдивости“, что требует постоянного наблюдения, то есть поисков легкоузнаваемых элементов, которые автор вводит в повествование по своему усмотрению. Переплетение подлинных и придуманных подробностей сближает настоящую жизнь читателя с мнимой жизнью персонажей; отсюда проистекает способность этих иллюзорных призраков обретать порой необычную жизненную энергию, что позволяет мысленно ставить их в один ряд с реально существующими людьми. Мы, сами того не замечая, наделяем их всеми человеческими качествами, присущими нам, ибо наша способность жить предполагает способность давать жизнь другим. Чем больше мы вкладываем в персонажи, тем выше ценится произведение» (Валери П. Рождение Венеры. СПб., 2000. С. 310—311).

¹⁶ См.: «В том тяжелая задача художника искусства: изобразить в целостности» (ЯЗ. Кн. 2. С. 355).

¹⁷ О лейтмотивном портрете Толстого в связи с импрессионистской поэтикой см.: Белецкий А. И. В мастерской художника слова // Избранные труды по теории литературы. М., 1964. С. 165.

¹⁸ О первом из них см.: Эткин Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М., 1998. С. 27–317, о втором: Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 358–359.

¹⁹ Цит. по: Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989. С. 180.

²⁰ Виготский Л. С. Мысль и слово // Избр. психол. исслед. М., 1956. С. 356.

²¹ Как об этом говорил князь Андрей: «Сын, сестра, отец... Да это все тот же я, это не другие» (10, 111). См.: Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М., 1975. Вып. 5. С. 263. Подробнее об «актуальном я» у Толстого см.: Сливцкая О. В. «Война и мир» Л. Н. Толстого: проблемы человеческого общения. Л., 1988. С. 83–85.

²² Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. М., 1999. С. 41.

²³ ЯЗ. Кн. 1. С. 142 (неточная цитата из «Фауста», ч. 1, пролог в театре).

²⁴ Так называют фрагменты текста, примыкающие к главным героям. См.: Shultze, Sydney. The structure of Anna Karenina Ardis, 1982. P. 19.

²⁵ Анненский И. Об отношении Лермонтова к природе // Книги отражений. М., 1979. С. 248.

²⁶ Weltinnenraum. См., как раскрывает это понятие Рильке: «Единое пространство там, вовне, // И здесь, внутри...» См. подробнее: Сильман Т. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 121.

²⁷ Как указывают исследователи, «у Толстого природа в той же мере включена в человека, в какой человек включен в природу, как вечная частица вечного и бесконечного, неисчислимо многообразного и прекрасного целого». Купрянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. М.; Л., 1966. С. 140.

²⁸ Цит. по: Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. М., 1993. С. 36.

А. Ю. Большакова

РУССКИЙ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» У Л. ТОЛСТОГО

(к проблеме литературного архетипа)*

По направлению к «русскому раю»: время и история в толстовских исканиях

Особенности толстовских архетипических углублений практически еще не исследованы — архетипичность как одна из главных особенностей художественного мира писателя, обуславливающая бессознательные интенции героев и персонажей, вовсе не принимается во внимание. Между тем без ее понимания невозможно полноценное познание ни знаменитой толстовской «диалектики души», понятие которой было очерчено еще в XIX веке, ни специфики пространства и времени. А ведь особенности толстовской темпоральности непосредственно связаны с авторским проникновением в глубины национальной памяти: в те «забытые» пласты, где при внешнем обозначении временных исторических координат обнажаются мифопоэтические — и, по сути, вневременные — сферы народной ментальности, восходящие к внеисторической мифологеме «Золотого века» (как сфере идеальных представлений народа о собственной истории и области локализации общенациональных идеалов). Прием «исторической инверсии»¹ получает развернутое воплощение в толстовской эпопее «Война и мир», несущей в себе мотив утраченного и вновь обретенного (реконструированного и эстетизированного авторской памятью) «русского рая» — мотив, во многом локализованный в сценах и картинах патриархальной русской деревни на распутье войны и мира.

Образы поместно-дворянского Золотого века появляются еще в первой характеристике деревенской жизни начала XIX столетия — в речи старой графини Ростовых: «В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что» (9, 56). В сценах псовой охоты Ростовых, пляски и пения в усадьбе, любовных признаний и ожиданий, святочных гаданий и езды на тройке в Отрадном обозначаются такие черты мироощущения «утраченного», «золотого» времени расцвета дворянских усадеб и патриархального поместно-крестьянского мира, как особая темпоральная сгущенность, концентрированность чувств, онтологическое «стягивание» в единый миг высшего счастья,

* Настоящая статья представляет собой фрагмент из будущей книги автора «Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына».

обострение слуха, зрения, интуитивных ориентаций в мире бессознательного. Подобные состояния свойственны не только (как будет показано) Наташе Ростовой в романе-эпопее, но Николеньке Иртеньеву в «Детстве», Нехлюдову в «Утре помещика» и др. Одним из главных путей, открывающих возможность подобного погружения в стихию архетипического, становится мир музыкальных звуков, когда герой (к примеру, Нехлюдов в «Утре помещика», сидя в усадьбном доме в каком-то грустном настроении, после отнюдь не радующего хождения по нищим крестьянским избам) перебирает клавиши или струны музыкального инструмента, казалось бы, в бессмысленной задумчивости. Но все это на поверку имеет тайный смысл и целеполагание, доставляя герою «какое-то неопределенное, грустное наслаждение <...> Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего» (4, 169). Подобные психологические экскурсы в мир утраченной и обретенной темпоральности свойственны толстовским повествованиям и на собственно «авторском»² уровне.

Так, с глубинного временного расширения, сталкивающего «век нынешний» и «век минувший», начинаются «Два гусара», относя читателя к «наивным временам» 1800-х годов, русскому Золотому веку — мифовремени «золотой» пушкинской поры. Цитата, представляющая художественную «материализацию» исторической инверсии, настолько важна для понимания толстовских поисков утраченного времени (в особенности в «Войне и мире»), что заслуживает быть приведенной полностью.

«В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камельй, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла

комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камеи прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, маринистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, — в губернском городе К. был съезд помещиков и кончились дворянские выборы» (3, 145).

Характерно уподобление времени и образа дороги: темпоральный поиск «автора» воспринимается как путешествие по дорогам исторического времени, направленное на высветление «наивных времен» в патриархальной России. Ощущение темпоральной углубленности — погружение в мир исторической предметности, ментальных и поведенческих образцов, типичных для русской старины, — создается нагнетанием в «авторской» речи однородных синтаксических конструкций, оборотов с наречием времени «когда» — но главное, сугубо толстовским приемом совмещения массы историко-художественных деталей, черт, предметов, лиц и типов в одной массивной (занимающей половину страницы!) фразе, приуроченной к конкретному событию (губернскому съезду помещиков и окончанию дворянских выборов). Кажется, конкретная точка исторического времени пульсирует и расширяется, словно маленькая вселенная, до беспредельности. Конкретно-историческое время превращается в экспрессивно представленные «времена»; год и годы — в начало нового века, успевшего уже стать старым; короткое для героев, скажем, «Анны Карениной» путешествие по железной дороге из Москвы в Петербург обращается в огромное недельное событие, требующее усилий целой кухни для поддержания сил путешественника по допотопным дорогам русских деревень. А сфера природно-циклической темпоральности в ее извечной повторяемости переходит в область тягучего родового времени, семейных кружков и домашних посиделок «длинными осенними вечерами» при свечах. Отсчитывающийся нагорающими сальными, восковыми и спермацетовыми свечами недвижимый ход времени, повторяемая смена родовых звеньев и сезонных циклов получает как бы сверхплотную «материальность», дополнительно-предметное воплощение, переходя в область «истории длительных протяженностей», «неподвижной истории»³, «воплощенного» (embedded) времени (термин Т. Хачерстанда), т. е. «воплощенного в событиях, вещах, условиях», в отличие от «концептуализованного времени часов и календарей»⁴. Если принять во внимание сосуществование темпоральных образцов в субъектной сфере толстовского «автора» или героя, то можно представить само время (в его практически неограниченном спектре модификаций) как единый, поливариантный ментальный об-

раз: как считает, к примеру, Гуссерль, «разные типы времени есть не что иное, как разные его образы, сосуществующие в сознании»⁵. В этом плане толстовский усадебный хронотоп представляется как локус, *задерживающий время*: как место соединения прошлого, настоящего и будущего⁶. Компонентами такой модели, в своем пределе направленной на воссоздание статической концепции времени как вечности, становятся «память» (знания и представления о прошлом, включая и интуитивную сопряженность с коллективным бессознательным) и «ожидания» (прогнозы, представления о будущем, включая степень его сопряженности с желаемым, ожидаемым). Однако горизонт темпоральных ожиданий (в литературе — героев, «автора» и «читателя») нередко ориентирован и на ментальное возвращение «счастливого минувшего», мысленную реконструкцию мифопоэтического правремени, имеющего «абсолютное значение (счастливое, благодатное время)», когда «золотой век (понятие, центральное еще в древних темпоральных схемах. — А. Б.) рисуется как *утраченный мир прошлого*»⁷. По сути, именно этим горизонтом ожиданий определяются «авторские» установки в ностальгических повествованиях типа «Войны и мира», в основе которых (помимо сугубо исторических «авторских» ориентаций) лежит стремление к воскрешению утраченных темпоральных ощущений: через реконструкцию ментальных образов и образцов тех времен — в их неизбывной гармонии и наивном (для нового века) *чувстве полноты жизни, миротворческого торжества и жизнеутверждающей (даже как будто б ребяческой?) игры сил*. В таких повествованиях о былом — как некоем идеальном, гармоничном состоянии национального мира — создается и соответствующий образ человека: на правах его полноправного аналога и даже властелина, героя и покорителя историко-онтологических и личностных стихий. Таково, к примеру, гармоническое само- и мирозерцание Николая Ростова — доблестного гусара и усмирителя бунтующих мужиков, героя войны 1812 года и покорителя сердца одной из богатых и духовно прекрасных невест России, наконец, славного «народного помещика», любимого крестьянами. В подобных соответствиях мифомира и человека-героя сказывается вечная «ностальгия по Великому Времени, выраженная в периодическом *воскрешении мифического правремени*»⁸, ориентации на «архетипы и возврат к прошлому». Как показывает, к примеру, «Война и мир», следствием таких темпоральных ориентаций становится «повышение метафизической значимости человеческого бытия»⁹ — внимание к сфере личного и коллективного бессознательного как неисчерпаемого потенциала ментальной энергии, кладезя «утраченных» и вновь обретаемых чувств, прообразов, ментальных образцов, руководящих человеком в мире ис-

торического времени и дающих ему возможность регуляции жизненной материи. В патриархально-усадебных сценах у героев Л. Толстого возникает порой чувство полного хозяина подвластной ему сферы жизни — так, Наташа Ростова в святочном Отрадном чувствует себя центром и владычицей подвластного ей деревенского царства. По сути, мироощущение человека русского Золотого века, как показывают картины патриархальной усадьбы в «Войне и мире», отличалось сосредоточенностью на неповторимых онтологических мгновениях бытия как счастья, на свободном ощущении полной власти человека над бытием.

«Чистое дело марш...» (бессознательное как предмет изображения)

Одной из архетипических ниш, приоткрываемых «Войной и миром», становится изображение тайных страданий, любовной задумчивости и какой-то полной отрешенности от мира — при, одновременно, полном погружении в него и растворении в нем. Это Наташа Ростова в святочном Отрадном, еще до войны 1812 г. По сути, эти редкие по ностальгической силе картины русской усадебной жизни — с ее нехитрыми печалью и радостями, затеями и забавами, праздниками, встречами и расставаниями — устремлены к единой цели: запечатлеть последние мгновения патриархальной Руси-Деревни еще до исторических сдвигов 1812 года. Запечатлеть в ее непосредственно-наивной чистоте и *бессознательной силе*. Более того, именно в таких редких (по степени проникновения в архетипические пласты русской ментальности) картинах и сценах из патриархально-деревенского быта *бессознательное* само по себе предстает как *объект изображения*. Точно так же отдельными, но точными вкраплениями — как это типично для письма Л. Толстого, на звуковом уровне — эта тенденция проявляется в других сценах: в эпизоде псовой охоты в Отрадном, увенчивающейся как знаком охотничьей удачи и восторга странным в иных случаях, но вполне уместным здесь проявлением чувств молодой графинюшки («диким визгом» Наташи Ростовой в победном охотничьем финале, как бы развертывающемся затем в триумфальных аудиовизуальных рядах послеохотничьего пения и плясок); или в сценах, воспроизводящих как будто бы странные и внешне бессмысленные разговоры берейтора Кутузова со стариком-дворовым, которые, однако, несут архаические отголоски крестьянской ментальности и потому разряжают напряженную атмосферу военных будней (к примеру, бессмысленное солдатское присловье, веселящее окружающих и поддерживающее упавший было дух: «Тит, а Тит!.. Ступай молотить»). Выстраивание внешне иррационального

звукового ряда, кажущегося нередко непосвященному уху бессмысленным набором звуков или слов (как в приведенном случае с перебиранием аккордов на рояле Нехлюдовым в «Утре помещика», которое рождает в его душе сонмы неясных образов из прошлого и возможного будущего), у Толстого становится одним из постоянных приемов воплощения не только бессознательных движений души героя, но коллективного бессознательного как реально существующей ментальной субстанции. Показателем ее существования в толстовском мире становится нередко отделение смысла от звуков, словесных фонем и их произнесения, переход в сферу чистого звука, содержание которого намеренно *девербализовано при внешней вербализации* и лишь угадывается на интуитивно-эмоциональном уровне — на основании некоего априорного знания, раз и навсегда данного в наследуемых структурах психики, через мыслеобразы и ментальные формы. Как и в случае с внешне бессмысленной фразой в диалогах берейтора Кутузова («Тит, а Тит!.. Ступай молотить»), отголоски полузабытых архетипических моделей аграрного возрождения (связанных с земледельческими циклами, сбором и обработкой урожая как результатом извечного возрождения земли и хлебопашца) слышны в постоянной присказке дядюшки в сценах псовой охоты в Отрадном и после нее — *«Чистое дело марш!»*. В повторах внешне бессмысленных вербальных рядов отражаются некие бессознательные движения души, человеческие потребности и желания, первичные экспрессивно-оценочные и побудительные модели. «Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш!» — кричит дядюшка во время охоты гончей, побуждая ее «со странным самоотвержением» настичь зайца. Герой использует затем то же присловье для выражения охотничьего восторга, одобрения, награды («Заслужил, чистое дело марш!»).

«В то же время Наташа, не переводя духа, *радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время»* (10, 261–262).

Возникающее на этом звуковом фоне дальнейшее семантическое расслоение (дядюшкиной присказки) выражает и уверение в искренности его чувств наперекор здравому смыслу и рациональным доводам («Служил, да бросил. Не гожусь, *чистое дело марш*, — я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, — это *чистое дело марш!*» (10, 265)), и стремление убедить собеседника в должном действии («Вот в этом колене не то

делает <...> Тут рассыпать надо — *чистое дело марш* — рассыпать» (10, 266), и одобрение пляски племянницы Наташи, «которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. — Ну, графинечка, *чистое дело марш!*» (10, 268). Семантическое расслоение на фоне нарочитого вербального обеднения речи персонажа способствует проявлению скрытых смысловых оттенков — экспрессии бессознательного.

В ожидании странствующего жениха: остров Мадагаскар и опыты домашней магии

Следующая за сценами псовой охоты Ростовых и ритуального торжества в дядюшкиной деревне картина святочной жизни в Отрадном исполнена усадебной скуки и пустоты. Эта картина послеобеденного затишья нуждается в особо пристальном рассмотрении — с точки зрения бессознательных проявлений души. Почему же эти движения проявляются именно в усадебной тишине, где «не было ничего особенного, ознаменовывающего святки» и «чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени» (10, 273)? Очевидно, окутывающая ее атмосфера темпоральной пустоты в ожидании Андрея Болконского и как бы стертости «скучного времени», не проявленного в конкретном усадебном локусе (несмотря на календарное долженствование праздника), нуждается в компенсации. С другой стороны, этому общему ощущению вторит пустота в душе Наташи Ростовой — невесты, безуспешно борющейся с временем, которое отняло у нее жениха. Так возникает онтологическое сгущение в едином миге целополагания: «Его мне надо... сейчас, сию минуту мне его надо» (10, 273). На обычные картины усадебного быта накладываются элементы архетипического мотива о женихе-призраке и тоскующей невесте, основу которого составляет, с ментальной точки зрения, ожидание, исчезновение, жажда материализации и собственно материализация желаемого. Как и в пушкинской «Метели», действие которой также разворачивается до и после войны 1812 года, в «Войне и мире», в сюжетной линии Ростовых — Болконских, появляется «бродячий» мотив странствующего (исчезающего, как бы дематериализующегося в художественном и географическом пространстве) жениха — мотив, распространенный также в русской романтической поэзии и западной романтической литературе («Леноре» Бюргера, «Светлане» и «Людмиле» Жуковского, «Ламмермурской невесте» В. Скотта, «Женихе-призраке» В. Ирвинга и др.). О сюжетной близости толстовского повествования к этим литературным образцам свидетельствует и введенный в «Войну и мир» мотив похищения невесты мнимым женихом (Анатолем Кураги-

ным), тайного венчания и (как и в пушкинской «Метели») подмены женихов (впрочем, не состоявшейся в реалистическом сюжете Л. Толстого), а также очень сильный в святочных картинах в Отрадном мотив жажды «материализации» исчезнувшего жениха в художественной ткани произведения (как в «Женихе-призраке» В. Ирвинга или в «Метели» Пушкина). И, наконец, идентификационным звеном здесь становится соединение мотива ожидания, поиска и «материализации» жениха в сценах девичьих гаданий в поэмах Жуковского и в «Воине и мире» (главы XI–XII четвертой части второго тома). Архетипичность «бродячего» мотива в святочных картинах подчеркивается обобщающим определением «исчезнувшего жениха», введением в речь тоскующей невесты графически выделенного местоимения «его».

Так или иначе, в IX главе четвертой части второго тома (в святочных картинах в Отрадном) происходит заполнение локуса Наташи, душа которой исполнена томительного ожидания (пустота в душе героини сопрягается с темпоральной пустотой в родовой матрице усадебного дома). Прошлое (память о возлюбленном) и будущее (как сфера материализации желаний) соединяются в онтологическом миге целеполагания в настоящем («сейчас, сию минуту мне его надо»). Бессмысленные, казалось бы, действия маленькой хозяйки большого дома по утверждению своего господства в усадебном локусе (после объявления матери Наташиного волеизъявления в отношении к исчезнувшему, странствующему жениху) направлены на определение границ усадебного мира родовой деревни как собственного, личностного, подвластного воле пространства. Какие же странные, с точки зрения обыденного, «нормального» сознания, действия героини наполняют пустующий усадебный локус? Наташа посылает дворовых за ненужным ей петухом, за овсом, велит подать вовсе не ко времени самовар (как отмечает «автор», Наташа таким образом «любила пробовать свою власть» (10, 274). Она задает бессмысленный вопрос шуту Настасье Ивановне («Что от меня родится? — От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, — отвечал шут» (там же). Заполнение пустующей матрицы родового гнезда случайными — но подвластными воле маленькой хозяйки усадебного локуса — предметами, словами, занятиями как бы несет в себе компенсаторскую функцию по отношению к растревоженной памяти героини, ее ожиданию «материализации» странствующего жениха, который в период сватовства обозначал для нее «всё».

Современное сознание, крайне отделенное от архаичной мифологии Золотого века, с удивлением узнает себя в его ментальных образцах, но чаще не воспринимает старинных моделей мироощущения и миропорядка. Между тем в ностальгических реконструкциях «наив-

ных времен» начала XIX столетия проявляется мифопоэтическая природа патриархального поместно-дворянского сознания — в его наивной прелести ощущения своего господства, локализации макромира в подвластных ему моделях усадебных микромиров (ср.: «*Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что все-таки скучно, Наташа пошла в залу*» (10, 275); ср. также реконструкцию условной модели суверенного государства в лысогогорском имении старого князя Болконского, которого называют «прусским королем», — модель, сформированная в XVIII веке, в царствование Павла I). Впрочем, эта тенденция восходит еще к первичным опытам освоения мира в архаичных структурах древних ментальностей¹⁰.

Подобные же опыты, по сути, повторяет (на уровне бессознательных вербальных проекций) произнесение Наташей Ростовой и вариативный повтор, казалось бы, бессмысленного географического названия: «*Остров Мадагаскар*, — проговорила она, — *Ма-да-гас-кар*, — повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. — Петя! Петька! — закричала она ему. — Вези меня вниз. — Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, охватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. — Нет, не надо — *остров Мадагаскар*, — проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз. *Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны* <...> Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкафчик и стала в басу перебирать струны» (10, 275).

Повтор странных в русском усадебном локусе слов (географического названия), неся в себе проекцию на первичные опыты магии древних, бросает семантический отсвет на островную символику образа деревни (архетипического в русской литературе), берущую начало еще в мире земледельческих архетипических образцов Робинзона Крузо и сохраняющуюся вплоть до островных моделей в деревенских утопиях В. Распутина во второй половине XX века (Матёра). Островной повтор в Наташиной речи, возникающий на фоне ее пронзительного ожидания жениха и ощущения пустоты в лишившемся для нее жизни и смысла усадебном локусе («*Боже мой, Боже мой, все одно и то же! Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?*» (10, 274), создает ментальную модель отрешенности от сопротивляющегося ее идеальным интенциям (слишком материального, хотя и подвластного ей) мира реальной деревни — «с целью иметь возможность, оперируя с этой моделью, воздействовать на макро-

космические силы, управляющие... бытием». Недаром и повтор островной модели на уровне звуковой магии, и дальнейшее самоуглубление героини в бессознательное — через музыкальную импровизацию и погружение в сферы памяти («Для посторонних слушателей у неё на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний» (10, 275) — сосредоточивается в единой точке Наташиного целеполагания.

Станный для современного сознания феномен субъективного дворянского идеализма проявляется здесь в полной мере, восходя к архетипическим образцам взаимодействия идеи (человеческой ментальности в ее волевых формах) и материи. Наташино ожидание странствующего жениха проявляется не только в ментальных реконструкциях его образа в женских грезах и мечтах. Словно сама неподвижность и повторяемость русской усадебной жизни (старинной родовой модели дворянского универсума) создает условия для управления «замершей» онтологической материей — приведения ее в движение в соответствии со стремлениями ее хозяйки и повелительницы. Попытки домашней магии, оперирования с темпоральными пластами (вспомнить прошлое, чтоб сбылось будущее!) внутренне опираются в толстовских усадебных сценах на свойственную мифологеме Золотого века убежденность в крайней условности жизненных форм: их подвластности более сильной, духовной материи дворянского родового сознания и бессознательного. Именно эта убежденность (еще не поколебленная историческими распадами 1812 года с их массовым разорением родового русского гнезда) лежит в основе внезапной надежды героини на реальную материализацию ее мечтаний в подвластном ей усадебном локусе, словно замершем в ожидании перемен: «„А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть, приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла“. Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уже за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, — а князя Андрея не было, и была все прежняя жизнь» (10, 276).

**«Царство, в котором было все возможно...»:
смена святочных масок и распад мифологемы**

Победа архетипичности, повторяемости в родовом гнезде патриархальной деревни, намеченная в моменте ожидания жениха, разворачивается в дальнейших святочных сценах путем восстановления общеродовой памяти, углубления в *общее* для героев родовое бессознательное,

забытые пласты прошлого. Так, загадочный остров Мадагаскар словно ассоциативно отражается во внезапной материализации образа диковинного арапа из детских снов или грез наяву. Наташа говорит брату Николаю в одном из привычных душевных разговоров: «А помнишь ты, как *давно, давно*, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, *еще в старом доме*, и темно было — мы пришли, и вдруг там стоит... — Арап, — докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали» (10, 277). Диковинное, необычное переплетение (словно узор, который в святки рисует Соня) странных образов, внезапных материализаций бессознательного постепенно делает пласты родового менталитета превалирующими в повествовании: своей сверхплотной реальностью (поддерживаемой родовой ментальной общностью) они вытесняют зыбкие призраки несбывшихся надежд и ожиданий. Эта закономерность подтверждается в дальнейшем сюжетном развитии, как бы продолжающем мотив реального (хотя, как и у Наташи, мнимого) обретения жениха Соней в лице Николая Ростова. Позднее, после смены элементов родовых линий, архетипический мотив ожидания и «материализации» странствующего жениха сбывается в усадебном разломе 1812 года неожиданным появлением Николая Ростова в образе спасителя княжны Марьи. Однако счастливый поворот сюжета, как бы разрешающий томительное ожидание и в итоге соединяющий две родовые ветви (спасая семью Ростовых от унижительной бедности еще до брака Наташи и Пьера Безухова), предваряется сменой координат в художественном мире повествования, когда проявление родовой архетипичности в сценах «философствования» молодежи о воспоминаниях и сновидениях («помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете») перемежается мотивами примеривания святочных масок.

Атмосфера веселого литературного маскарада, в котором вместе с дворянами участвуют дворовые, наряженные страшными и смешными медведями, турками, трактирщиками, барынями, создает образ единого ментального целого, в котором условность жизненных форм подчеркивается сменой ролевых масок. Смешение и смещение ранее неподвижных усадебных форм в процессе создания литературного маскарада разрешается ожидаемым Наташей преобразованием обычного, обыденного в финальной (для маскарадных картин) сцене святочных гаданий. Переключаясь с фантазмагорическими образами диковинных существ в пушкинском сне Татьяны (в «Евгении Онегине»), святочные маски превращают толстовскую деревню в сферу реализации неясных девичьих мечтаний, невыраженных стремлений души, создавая проекцию на мифологему Золотого века — правремя преобразования жизни в празд-

ник и волшебнo-колдовское действо, высокий ритуал. Окутанная золотым флером народных фантазий и молодого воображения, русская деревня предстает здесь как сфера таинственных метаморфоз, направляя читателя на восприятие старого, обычного как нового, неожиданного. Так, в сцене стремительной святочной езды на тройках из Отрадного в соседскую деревню Николаю Ростову весь мир при сказочном свете месяца видится чем-то чудесным, преображенным веселой силой праздника: «„Где это мы едем? — подумал Николай. — По Косому лугу, должно быть. Но нет, это что-то новое, чего я никогда не видел. Это не Косой луг и не Дёмкина гора, а это Бог знает что такое! Это что-то новое и волшебное <...>“ Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами» (10, 283). Мотив волшебного преображения завершается святочным поиском влюбленными девушками жениха в мире ментальных призраков, сфере национального бессознательного. Прием семантического удвоения создает особую сферу мнимостей и заблуждений, завершая мотив жениха-призрака Сониной выдумкой о якобы увиденном ею Болконском и создавая, однако, проекцию на абстрактный образ Пьера Безухова.

Атмосфера примеривания и смены масок, «материализации» ментальных образов, своеобразной замены реальности ее «волшебным», мифологическим двойником, свойственная патриархальным формам усадебной ментальности, однако, не так нейтральна, как может показаться на первый взгляд. Восходя к праобразам первичной магии древних, она обладает самодостаточной силой и воздействием на судьбы людей в их онтологических, узловых моментах. Локализуясь (в своих крайних формах) в образе младшего из рода Ростовых, Наташиного брата Пети, это мифологическое мироощущение карнавального типа оборачивается опасной стороной — вплоть до полного отрыва от реальности и гибели его носителя. В «Войне и мире» точно обозначается хронологическая точка распада мифологически ориентированного сознания, не выдерживающего испытания реальностью на перекрестке войны и мира — в сценах боевого крещения и мгновенной гибели Пети Ростова в последний период кампании 1812 года. Его вовсе не военные впечатления и мироощущения напоминают восприятие его брата Николая Ростова в святочных сценах в Отрадном: в них доминирует определение «волшебное», обозначающее частичную в случае с Николаем и почти полную в случае с Петей Ростовым утрату чувства реальности — ср. в восприятии Николая: «Это что-то новое и волшебное», «волшебная равнина», «однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов

<...> и какие-то серебряные крыши волшебных зданий» (10, 284); и в мироощущении Пети Ростова, который «должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова <...> но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность <...> Что бы ни увидел теперь Петя, ничто бы не удивило его» (курсив мой. — А. Б.) (12, 146). На-ташино усадебное царство, где все и вся подвластно ее воле и где все исполнено ее ожидания «материализации» жениха, мнимо сбывающегося в призрачной сфере святочных гаданий, трансформируется в «волшебное царство» Петиного военного опьянения, «в котором все было возможно», в котором «и небо было такое же волшебное, как и земля» (12, 146). Мечтательное самоуглубление героя, его уход в волшебный мир звуков (аналог военной победы) создает мифологическое ощущение полной свободы и миротворческой власти над жизненной материей как ментальной: «Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издавека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. „Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу“, — сказал себе Петя» (курсив мой. — А. Б.) (12, 147). Слом и распад мифологемы обращает читателя в ностальгическое поле Золотого века с его культом мифологической власти человека над миром, культом неуязвимости героя наперекор обстоятельствам, неизбежной победы героя над материей и материализацией его мыслеобразов, желаний, тайных и явных интенций. Усадебная и крестьянская деревня предстает в романе как основная сфера реализации этой мифологемы: «русское гнездо», вместилище национальной энергии и духовного потенциала — на скрещении войны и мира.

Миф о рождении героя

Впрочем, дыхание русского Золотого века, в его победной уверенности в себе, чувствуется в усадебных сценах и картинах самого начала романа. Так, взгляд на войну из деревенского локуса — из суверенного царства Лысых Гор, которыми владеет русский «прусский король», — создает ощущение ирреальности, словно лишаящее ее разрушительной силы, делающее чем-то донельзя условным по сравнению с подлинными человеческими ценностями: с точки зрения старого князя Болконского в 1805 году, наполеоновские действия в Европе есть нечто ненастоящее — «не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело» (9, 125). В первых же сценах наполеоновских сражений на полях австрийских сел (таких, как Шенграбен, Аустерлиц,

Шлапаниц, Сокольников и др.) деревня предстает как театр военных действий, но и как сфера апробации самой идеи войны в свойственной ей форме развития. Главным здесь становится столкновение русского и французского менталитетов. Своеобразным семантическим ключом для читательского понимания сути происходящего, несмотря на внешние победы и поражения той или иной стороны, мало что решающие в общей военной картине (как это доказывает затем «проигранное» Бородинское сражение и сдача Москвы в преддверии отступления наполеоновских войск из России), служит столкновение рационального и «нутряного» (кутузовского) способов ведения войны. В этом плане немаловажным становится тот факт, что шуточно-бессмысленный диалог берейтора и дворового — «Тит, а Тит! — Чего? — Тит! Ступай молотить» — возникает и повторяется именно в обозе Кутузова, идущем в деревню, где расположился кутузовский штаб. Важно и то, что странный диалог возникает как некая психологическая компенсация, утешение после поражения в австрийской деревне, неся в себе старинную земледельческую идею обмолота, перемалывания обстоятельств терпением и трудом (ср. русскую пословицу «Перемелется, мука будет»). Эта мысль — онтологическая и межнациональная по своей природе — подкрепляется в контексте «авторских» воспоминаний о некой архетипической норме мирной жизни, которая воплощена в облике неведомого «старичка мельника», мирного деревенского жителя, который «столько лет мирно сиживал в колпаке... с удочками» на узкой плотине Аугеста. Скрытое семантическое столкновение разновекторных омонимов — муки (как результата обмолота) и мýки (как воплощения человеческих страданий — ср. изображение состояния Андрея Болконского после ранения: «...и начинались сомнения, мýки, и только небо обещало успокоение» — относит толстовского читателя к столкновению мирной сущности жизни в ее древних аграрных комплексах и ужасов войны. Кажущаяся вербальная бессмысленность в результате переносится на военные картины с «фигурой маленького, ничтожного Наполеона»: «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятно, но важнее!» (9, 356) — думает князь Андрей в сцене ранения на поле Аустерлица в минуты полной переоценки общепринятой системы ценностей. Одним из основных показателей разрушения мифологических пластов сознания здесь становится разочарование в былых кумирах (Наполеоне, царе, полководцах и великих исторических деятелях), развенчание тех «мифов о рождении героев», что на уровне «элементарных мыслей» (термин-понятие А. Бастиана¹¹) являлись обязательным компонентом национальных ментальностей в их мифологических представлениях о мире.

С хронологически-сюжетной точки зрения, этому начальному распаду мифологических пластов — с их типичной для мифологемы Золотого века ориентацией на архетипические праобразы «культурных героев» со свойственной им «сверхчеловечностью»¹² — предшествует онтологическое испытание героя деревенским локусом (родового гнезда). В первых сценах 1805 года в Лысых Горах, куда князь Андрей привозит свою жену рожать, «материализуется» и доводится до предельно конкретной фазы интерпретация образа деревни как родового гнезда, которая сразу задает альтернативный мифологическому мотив подлинного рождения героя (в будущем сын Болконского, очевидно, станет одним из участников декабристского движения, разделив подвиг и судьбу дворянских героев). Реализация метафорической поэтической формулы «родовое гнездо» в картинах родов (реального рождения героя) сразу показывает особенности толстовского деревенского (усадебного) локуса: предельное сгущение жизненных форм, сверхплотность художественной материи, создание максимального правдоподобия, ощущения живой жизни. Ситуация онтологического испытания («похорониться в лучшие годы жизни в деревне») помещает героев, «автора» и все повествование в сферы жизни и смерти, умирания и (воз)рождения новой жизни...

В перемежающих эту линию сценах, переносящих толстовского читателя на театр военных действий, деревенский локус предстает как ритуальное место вознесения и торжества Наполеона, знаменуя его (воз)рождение в годовщину коронавания — «при деревне Шлапанице, на высоте». Бросая ассоциативный отсвет на восприятие старого князя Болконского как «прусского короля» (неограниченного властителя своей родовой деревни), идея коронавания появляется в сцене торжества Наполеона в ореоле древних солярных мифов о рождении героя (связанных с культом всепобеждающего солнца) и представляет именно деревенский локус как некую высшую точку повествования. Мифологическая подоснова картины, как бы символизирующей коронацию культурного героя природными (солярными — ср. скрытое аллегорическое сравнение императорской короны с естественной солнечной!) силами «при деревне Шлапанице, на высоте», очевидна: она восходит к древним мифам о рождении героя, «замешанным» (как и в толстовской сцене) на противоборстве и финальной победе солнца над водяной стихией. В этих мифах «новорожденный герой предстает как солнце, поднимающееся из воды, в самом начале сталкивается с низко нависшими тучами, но в конечном итоге преодолевает все препятствия»¹³. Сходное осмысление коронации и грядущей военной победы в природных аллегориях рождения героя (царя или мифического правителя — ср. повест-

вовательное сравнение Наполеона со счастливым мальчиком) наблюдается в картинах торжества Наполеона перед победоносным Аустерлицким сражением — это своего рода высшая точка в изображении героя, затем представленного по большей части в снижающих его тонах, перевернутой системе координат. Это снижение начнется очень скоро в субъектной сфере раненого и страдающего Болконского, к которому подходит на Аустерлицком поле французский император.

«Туман сплошным морем расстился понизу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыбался на поверхности молочного моря тумана <...> Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика... Он смотрел то на Праценские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце. Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману (как будто он только ждал этого для начала дела), он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело» (9, 330—331). Уже в этой философско-аллегорической картине противоборства природных сил, развертывающейся на фоне подготовки к реальным военным действиям, перемещения войск и т. п., заложены зачатки грядущей смены координат. Развенчание мифического героя и перевод его в сферу человеческой бренности, уязвимой телесности (в восприятии раненого Болконского, видящего приближение своего бывшего кумира на Аустерлицком поле) происходит через его внутреннее поражение, проигрыш в сравнении с «вечными» природными силами, мифологемами «вечных» небесных тел, в общем контексте типичной для мифа спроецированности в небесные сферы. Небо, как высшее философско-онтологическое измерение, «неизмеримо высокое», бескрайне-огромное, бесконечное и вечное небо подавляет и стирает доминировавшую прежде идею военного величия. Взамен пирамидальной структуры мира, увенчанной солнцееобразным подобием мифического правителя, возникает обратная трапезиевидная проекция, разводящая по разные стороны «верха» и «низа» вертикальной оси образы «высокого, бесконечного неба с бегущими по нем облаками» и — «маленького, ничтожного» по сравнению с ним человека. Болконскому «жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но

в эту минуту Наполеон казался столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками» (9, 344). Миф о рождении героя трансформируется в сферу реального возрождения русского героя, числившегося пропавшим без вести и неожиданно возвратившегося в родовую деревню в момент рождения своего сына.

Лысые Горы — заколдованная деревня: миф о «русском гнезде»

Завершающая внутренний поиск героя самоизоляция Болконского в замкнутом мире родовой деревни (Богучарово) знаменует смену темпоральных ориентиров: бессознательный поиск праоснов исторического времени с его мифологической ориентацией на героев, царей, лидеров сменяется ощущением включенности человека в природно-родовое время как единственно подлинное, достоверное. Разрушительное воздействие исторического времени (в его военных проявлениях) сменяется в богучаровский период Болконского новой моделью жизнеустройства с опорой на «старые», веками выверенные национальные идеалы (заботы о семье и роде, крестьянах и земледельческом хозяйстве). Новые темпоральные основы (к примеру, природные символы типа векового дуба) несут в себе архетипический мотив (весеннего) возрождения.

Другое родовое имение Болконских, Лысые Горы, составляет особую сферу притяжения для героев: именно в нем в конце концов стягиваются в единый узел «русского гнезда» различные родовые нити повествования. Однако взгляд на него «автора» сквозь субъектные сферы героев далек от идеализации, выявляя проблемы оценки архетипичности в основном для романа в поиске «утраченного времени» — здесь как родового, во многом дополняющего (и в результате во многом вытесняющего) темпоральные мифологемы, переводящего их в более реалистичный план (ср. архетипический мотив рождения героя, к примеру). Вторя Наташиному томлению в усадьбном локусе, героиня испытывает порой отвращение к домашним «за то, что они были все те же», восприятие Болконским лысогогорской жизни в ее неизменной повторяемости и неизбывном постоянстве («все точно то же») исполнено глухого недоумения и раздражения — в преддверии исторических бурь 1812 года. Новый виток темпорального спора — исторического (разрушительного, но набирающегося судьбоносных, очищающих сил) и родового (словно застывшего в своей тягучей неизменности) времен — разворачивает-

ся на фоне архетипического мотива вечного возвращения человека на круги своя, скрещения мотивов военной бездомности и поиска дома как мирного убежища от исторических бурь и гроз. Возникающий в архетипической сфере родовой деревни образ *остановившегося времени* («точно то же течение времени», неизменное и неподвижное в своей архетипической повторяемости, в которое всегда есть возможность вернуться странствующему герою, выделяет *вневременность* как главный принцип, организующий темпоральную природу в патриархальном «родовом гнезде». Мотивы и мифологемы Золотого века словно утрачивают свою еще недавно животворную силу — ростовский святочный образ-модель усадьбы как «волшебного мира» претворяется в родовом сознании Болконского в лишенную жизни, «устаревшую» сказочную мифологему зачарованного замка, усадебного царства застывших снов о собственном прошлом (ср. усиление мифологических грез о Золотом веке русских героев, былинной богатырской силы в «Сне Обломова» у И. Гончарова). Болконского «странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, — точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие <...> Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке» (11, 34–35). Пребывание героя в этом замке завершается ощущением утраты внутренней взаимосвязи составляющих родовую константу элементов: архетипичность родовой жизни предстает как распад, мертвящее овнешствление формы («И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь *все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею*» (11, 38). Разряженность несвязанных элементов, влекущих за собой распад усадебного локуса (завершающийся смертью старого князя и отъездом из Лысых Гор остальных домочадцев из-за наполеоновского нашествия), обуславливает временное исчезновение онтологического узла повествования.

Кажется, именно здесь наблюдается прохождение повествования о русской старине через стадию самоотрицания — сказывается излишняя традиционность, «литературность» усадебного канона, обретающего самодовлеющие формы, застывшие в вечно повторяющемся ритуале онтологических циклов: рождение, созревание, брак, семейная жизнь, деторождение, старение, умирание. Проекция на овнешствление жизненных форм, выхолащивание из них стихийной жиз-

ненной энергии окончательно реализуется в последующих картинах лысогогорского запустения, когда князь Андрей посещает покинутое домочадцами родовое гнездо незадолго до своего смертельного ранения. Традиционное в русской литературе восприятие деревни как родового, обжитого локуса едва теплится уже в разломе оцепеневших форм, в военной ситуации жизни и смерти. Однако именно этот неискоренимый родовой инстинкт побуждает героя велеть «оседлать себе лошадь и с перехода поехать верхом в *отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство*» (11, 122). В этой архетипической ситуации возвращения многократно обыгрывается необычное название родовой деревни Болконских, к которому, впрочем, читатель успевает привыкнуть по мере развития повествования. В опустевшей матрице родового гнезда — образах разрушенной оранжереи, срубленных деревьев и дома с заколоченными ставнями — проявляется семантика названия Лысые Горы: «лысые», т. е. голые, пустые, без растительности (подобно символическому дубу, повстречавшемуся князю Андрею весной, до летнего расцвета и возрождения). Ассоциативная связь горы с вертикально стоящей фигурой человека (очевидно, с непокрытой или вовсе лишенной волос головой) несет в себе и проекцию на возможные родовые утраты (смерть при родах жены князя Андрея, его гибель и смерть старого князя-отца), шире — исторические утраты в «русском гнезде» 1812 года. Все вместе означает и огромную духовную высоту, стойкость и героическую негибимость духа. Одновременно необычное название способствует и размещению локуса «родового гнезда» в напряженном силовом поле — *между ее демонизацией и христианизацией*. С одной стороны, рассмотрение названия в свете одной из распространеннейших мифологем (см. мифологический образ Лысой Горы, на которой собираются ведьмы для исполнения традиционных демонических обрядов и ритуалов) способствует проявлению неких демонических черт в матрице условно-литературного пространства. Этому способствует и несколько демонизированный образ главы рода, старого князя, которого до смерти боятся домочадцы: узурпированная им роль деспота и домашнего тирана оказывает парализующее влияние на несколько сюжетных линий развития. Его подавляющее робкие надежды на счастье влияние сказывается на печальной судьбе маленькой княгини, жены князя Андрея, на несостоявшемся (из-за положенной стариком отцом отсрочки) браке князя с Наташей Ростовою, на долгом девичестве стареющей княжны Марьи (ср.: «Так это должно быть! — думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогогорского дома. — Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик

чувствует, что виноват, но не может изменить себя» (11, 38). Демонические мотивы усиливаются и в контексте крестьянского (но проявляющегося и в субъектной сфере героя-дворянина, Пьера Безухова), народного восприятия наполеоновского нашествия как пришествия антихриста, некоей демонической силы: к примеру, «неясных представлений об *антихристе, конце света* и чистой воле» у мужиков князя Болконского. С другой стороны, скрытая в названии родового гнезда христианская семантика соотносится в ассоциативном поле толстовского «читателя» со сценой молебна *на горе* перед Бородинским сражением, в которой вариативно повторяется и выделяется образ «обнаженных голов», «открытых голов» молящихся перед иконой офицеров, солдат и ополченцев — как символа человеческой открытости и незащищенности перед Богом, надежды и упования на его высокое покровительство, защиту и спасение.

Оправдание множественности в названии родового гнезда происходит после сцен военного распада и опустошения — путем воссоединения в нем нескольких сюжетных линий, нескольких родовых миров в эпилоге романа. Восстановление усадебно-родового локуса как онтологической матрицы жизни происходит через реализацию брачных ожиданий героев и героинь, введение мотивов приумножения рода (в семейной жизни, деторождении). Обретение новой гармонии в «старой» матрице родового гнезда происходит и посредством воссоединения различных ментальных миров, носителями которых становятся разные герои, участники общеродовой жизни. Единое пространство лысогорской усадьбы вмещает в себя неустанное душевное напряжение, свойственное княжне Марье, — этот «почти недоступный для Николая, возвышенный нравственный мир, в котором всегда жила его жена», — и особый мир деревенского хозяйства, культивирующийся Николаем Ростовым, и мир напряженной умственной деятельности Пьера Безухова, направленной на достижение общественного блага и социальной справедливости, и, наконец, Наташин мир полного самоотвержения, любви и преданности мужу и детям, возвышенных семейных забот. Происходящее вытеснение исторического времени родовым как архетипическим, восходящим к древним темпоральным праобразам Золотого века и пр., показывает его большую продуктивность и надежность, подлинность — с точки зрения сохранения общеродовой целостности и обеспечения счастья ее членов. В эпилоге происходит окончательная реабилитация и утверждение архетипичности как одного из высших свойств и законов толстовского мира. Вместе с тем зарождаются иные бессознательные движения души, тайные интенции и смутные предчувствия нового в локусе счастливого родового гнезда.

¹ Термин/понятие М. Бахтина, предполагающее локализацию художественным сознанием «в прошлом таких категорий, как цель, идеал, справедливость, совершенство, гармоническое состояние человека и общества и т. п. мифы о рае, о Золотом веке, о героическом веке, о древней правде... является выражениями этой исторической инверсии». См.: Бахтин М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 183.

² Имеется в виду образ автора как художественная структура, поэтому термин «автор», имеющий лишь опосредованное отношение к реально-биографической личности писателя, берется в кавычки.

³ Савельева И., Полетаев А. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. С. 636.

⁴ Там же. С. 86.

⁵ Там же. С. 78.

⁶ Ср. исходное, берущее начало в концепциях Платона дихотомическое понимание темпоральной природы мира как «эона» и «хроноса», «вечности» и собственно «времени» (там же. С. 73).

⁷ Там же. С. 231.

⁸ Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. — Спб., 1998. С. 71.

⁹ Там же. С. 8.

¹⁰ Как отмечает А. Подосинов в исследовании архаичных темпорально-пространственных ориентаций «*Ex oriente lux!*», «древний человек стремился в окружающем его микрокосме воссоздать пространственно-временные структуры, имитирующие макрокосмические отношения, в немалой степени с целью иметь возможность, оперируя с этой моделью, воздействовать на макрокосмические силы, управляющие его бытием». См.: Подосинов А. *Ex Oriente lux!* Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 20.

¹¹ См. Ранк О. Миф о рождении героя. М., 1997. С. 157.

¹² См. Мелетинский Е. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Бессознательное. Многообразие видения. Новочеркасск, 1994. С. 162.

¹³ Цит. по: Ранк О. Указ. соч. С. 161.

Н. В. Волохова

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО КАК ОСНОВА ИЕРАРХИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЕГО УЧЕНИИ

Жизнь человека осуществляется в потоке своего рода общественных излучений. Это: потребности определенной отрасли труда (или сферы жизнедеятельности общества), интересы классов и иных макро- и микросоциальных общностей, требования государственных и иных институтов общественного управления, влияния традиций и эмоционально-нравственных состояний общества. В XX веке, в эпоху коммуникативной революции, связавшей информационными нитями жизнь каждого буквально со всем мировым сообществом, со всеми регионами земли, богатство, разнообразие, интенсивность воздействия общества выросли на несколько порядков. Все это многообразие воздействий, зачастую неупорядоченных, хаотических, не согласующихся друг с другом, всевозрастающей лавиной обрушивается на человека, побуждая его как-то реагировать, видоизменяться, приспособляться к стремительному потоку общественной жизни.

В центре вопросов толстовского мировоззрения, а потому и в центре понятия его веры встало противоречие между конечным, преходящим, мимолетным существованием личности и бесконечным существованием мира. Писатель искал такого решения противоречия, при котором смысл конечного и преходящего существования личности не уничтожался бы, превращаясь в бессмыслицу неизбежно предстоящим уничтожением личности, ее погашением в бесконечности мирового целого. Именно в связи со страхом смерти он очень точно сформулировал в «Исповеди» основную цель своих религиозных исканий: «Нужно и дорого, — писал он, — разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь» (23, 37).

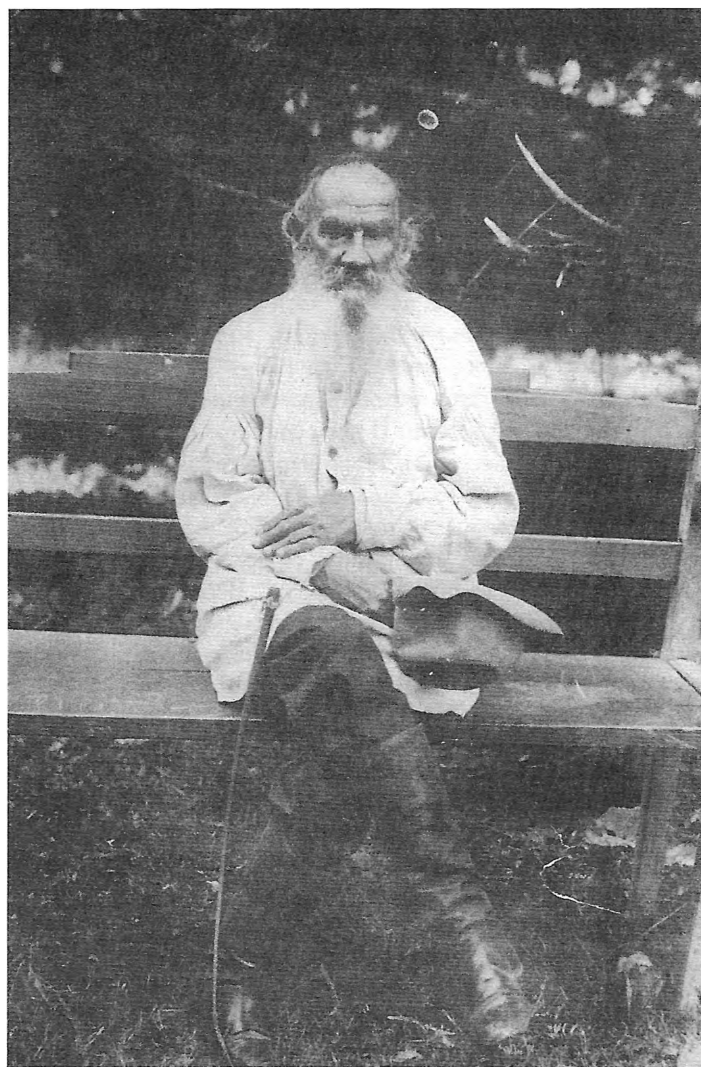
Главный вопрос человеческой жизни был связан для писателя с проблемой жизни и смерти. Он стремился отыскать позитивный ответ на этот важнейший для него вопрос, но не находил его в научном знании. Тогда он обратился к «здравому смыслу», попробовал рассуждать от противного. Вступая в жизнь, каждый человек руководствуется вначале теми правилами, которые свойственны близким, окружающим его людям. Он не может жить, не имея известного

представления о смысле жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соотносит свою деятельность с этим смыслом, придаваемым им своей жизни. Люди часто живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, то есть определяют для жизни внешнюю цель в том, что не должно умереть с личной жизнью. Тогда и смысл жизни понимается ими как нечто, располагающееся вовне.

Мыслитель выделяет четыре распространенных понимания смысла жизни, в которых люди ищут выход из жизненных ситуаций: неведение; эпикурейство; сила и энергия (это доступно только тем, кто способен встать на путь борьбы); слабость (ее избирают люди, помиравшиеся с обманом, в котором живут).

Все эти позиции он считает иллюзорными следствиями рассудочно-го вывода. Разум охватывает отношения между «я» и «не я». Но человек, помимо разума, обладает и неким внутренним «сознанием жизни». Ответ на вопрос о смысле жизни, как писал Л. Н. Толстой, «включает в себя требование объяснения конечного бесконечным», то есть претендует на то, чтобы смысловые искания человека обосновывались не суетно-проходящей необходимостью его общежитийских устремлений, но чем-то более значительным, высшим и в конечном счете оказывающимся над человеком как некое идеальное «измерение», будь то онтологическое измерение природы, благоденствие общечеловеческого целого или внутренняя, духовная гармония, обеспечивающая радостное, благодарное приятие мира.

Толстой был убежден, что человеку не следует думать о смерти как о чем-то далеком, уходящем в незримое будущее. Ему казалось, что осознание того, что жизнь может оборваться каждую минуту, способно изменить миропонимание человека, оказав воздействие на его поступки. Тогда восторгается естественность в общении между людьми, отомрет лицемерие, уменьшится зависимость личности от эгоистических желаний, тогда ее деятельность обретет нравственно-ценностное значение и будет направлена на совершение добра. Закон истинной жизни состоит в любви к другим и взаимном служении друг другу, истинная любовь возможна только при полном отречении «от блага животной личности» (26, 389). Главное заблуждение людей состоит в том, что они думают, будто смерть есть. Видимая для всех смерть есть одна из перемен в «плотском существовании» (26, 398), поэтому она не может не только прекратить, но и нарушить истинную жизнь. Поскольку жизнь есть определенное отношение к миру, то смерть есть не что иное, как перемена в этом отношении. Если человек поймет, что в увеличении любви состоит истинная жизнь, то для него смерть станет переходом к большему благу и высшему свету, станет чем-то радостным. Все существу-



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1903 г.
Фотография Ф. Т. Протасевича

ющее, по учению Толстого, представляется человеку отношением его разумного сознания, его животной личности, его тела к миру. Смерть — необходимый элемент жизни человека. Жизнь должна начаться, продолжаться и закончиться. И только в таком случае человек познает смысл жизни и всю ее значимость. Смерть распределяет наши поступки по степени значимости для нас. Именно сознание смертности человека раскрывает всю его сущность.

Наиболее полно этические искания Толстого изложены в трактате «О жизни». Основной мировоззренческий вопрос здесь, «вопрос жизни», не отделим от поисков смысла, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей смертью. У людей, по его мнению, существует два понятия жизни. Одно из них, «основное и бесспорное», в том, что «жизнь есть стремление к благу» (26, 363), его человек получает из собственного духовного опыта, а другое — ложное, оно у каждого свое. Мыслитель стремится открыть всеобщие закономерности, уяснить истину настоящей жизни. В философском осмыслении бытия он опирался на вечные категории, ставя перед собой вечные вопросы, в поисках ответов на которые мучилось человечество не одно столетие.

Своеобразный путь мысли писателя сосредоточен вокруг проблемы смерти: имеет ли она какой-либо смысл или нет? Ход его размышлений обобщил немецкий социолог М. Вебер: «Его (Л. Н. Толстого) ответ таков: для культурного человека — нет. И именно потому „нет“, что жизнь отдельного человека, жизнь цивилизованная, включенная в бесконечность. Авраам или какой-нибудь крестьянин в прежние эпохи умирал „стар и пресытившись жизнью“, потому что был включен в органический круговорот жизни, потому что жизнь его по самому ее смыслу и на закате его дней давала ему то, что могла дать; для него не оставалось загадок, которые ему хотелось бы разрешить, и ему было уже довольно.

Напротив, человек культуры, включенный в цивилизацию, постоянно обогащающуюся идеями, знанием, проблемами, может „устать от жизни“, но не может пресытиться ею. Ибо он улавливает лишь ничтожную часть того, что все вновь и вновь рождает духовная жизнь, притом всегда только что-то предварительное, неокончательное, а потому для него смерть — событие, лишенное смысла». Отсюда вытекал главный для Л. Толстого вывод: «...так как бессмысленна смерть, то бессмысленна и культурная жизнь как таковая — ведь именно она своим бессмысленным прогрессом обрекает на бессмысленность и самое смерть»¹. В поздних романах Толстого эта мысль составляет основное настроение его искусства.

Обобщая свои наблюдения отношений человека и мира, великий русский писатель пришел к следующему заключению: «Этот мир

не шутка, не юдоль испытания и перехода в мир лучший, вечный, а этот мир, тот, в котором мы сейчас живем, это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны нашими усилиями сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для всех, которые после нас будут жить в нем» (45, 481).

Для русского мыслителя существуют бок о бок как бы два мира: духовный (свободный) и материальный (зависимый), внутренняя жизнь и жизнь общественная. «Есть две стороны жизни в каждом человеке, — писал он в „Войне и мире“. — Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно выполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательно орудием для достижения исторических общечеловеческих целей» (11, 6). К внешней жизни автор относил все формы общественного бытия людей: государство, церковь, экономику, культуру. Здесь нет места свободе и нравственности, каждое событие предопределено предшествующими событиями, и каждый поступок есть лишь звено в цепочке безразличных к добру и злу причинно-следственных связей.

Исторически сложилось три типа отношения к культуре:

1) релятивистский — признание системы относительных ценностей;

2) аскетический — отказ от культурных ценностей и моральный утилитаризм;

3) символический, который, по выражению Вяч. Иванова, есть «путь освобождения мировой души». И если второй тип, выразителем которого стал Толстой, есть *memento mori* современной культуры, то третий, берущий свое начало от В. С. Соловьева, — *memento vivere*².

Значение Толстого-философа состоит прежде всего в том, что он в самой решительной и бескомпромиссной форме поставил важнейшую этическую проблему — нравственного оправдания человеческой истории и культуры. Имеет или не имеет исторический процесс нравственное содержание, применимы ли нравственные оценки к историческим событиям, способствует ли культура развитию морали, и, наконец, в какой мере человек ответствен за то, что происходит вокруг него, — в наши дни эти вопросы встают, возможно, еще более остро.

Позднейшие социально-философские исследования проблемы свободы как атрибута личности или проблемы свободы воли показали трудности ее решения в рамках дихотомии «свобода — детерминация». Сторонники экзистенциального подхода, к примеру, обращались к практически заданной еще И. Кантом позиции беспредпосылочного человеческого «я», отрицая так называемую бытийную

детерминацию и освобождая тем самым человека от ответственности. В связи с этим весьма интересно увидеть процесс решения проблемы глазами Л. Н. Толстого, который рассматривал ее как философскую, социальную, педагогическую, религиозную, этическую. Но во всех аспектах ему важно было подчеркнуть, что свобода — прежде всего условие творчества человека в реальной жизни. Внутренняя свобода может побеждать, преодолевать внешнюю несвободу, ибо она торжествует именно в процессах творчества человека, ценность которых в конечном итоге неизбежно открывается и перед обществом.

При этом в личности реализуется господство не абстрактной, анархической свободы, а естественно преодолевающей ограничения, реализующей призвание и божественное начало в личности. Человек в представлении Толстого — двойственное существо, располагающее «разумным сознанием», направленным внутрь, на духовное, и «разумом», постигающим закономерности внешнего мира — природного и социального. Единство духовного и плотского для него — единство противоположностей. Духовное начало в человеке — это сознание своей внутренней свободы, субстанция, объединяющая с другими людьми и тем самым преодолевающая временную и пространственную «ограниченность». Телесное же начало означает его зависимость от внешнего мира, предельно выражается в обособленности индивидуального существования.

В конце XX века достижения науки и техники обеспечили прогресс общества в материальной сфере, в то же время ушедший век оставил нам ряд серьезных нерешенных проблем. Среди важнейших причин этого можно назвать дефицит духовности, нравственности. Человеческая жизнь в настоящее время обрела такую сложность, что общество оказалось не подготовленным к осознанию своего изменившегося положения. Вследствие этого нынешние его затруднения не только все более и более углубляются, но и могут в не столь отдаленном будущем разрастись до катастрофических размеров. Нынешний глобальный кризис — прямое следствие неспособности человека подняться до уровня, соответствующего его новой, могущественной роли в мире, осознать свои новые обязанности и ответственность. Проблема эта лежит в самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное решение ее связано с ним. Поскольку свобода означает для Толстого «внутреннюю свободу», т. е. стремление к самоусовершенствованию, прогресс для него — это «внутренний прогресс». «Закон прогресса, или совершенствования, — говорит он в статье „Прогресс и определение образования“, — написан в душе каждого человека, и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в исто-

рию, он делается праздной, пустой болтовней, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма» (8, 333).

На наш взгляд, здесь следует сделать обязательную ремарку: лишь тогда закон совершенствования будет плодотворен, когда принципом действия выступают самопожертвование, самоотречение как моральная доктрина. Но как только человек решает действовать в соответствии с тем или иным убеждением, он вынужден соотносить свои поступки с общественными нормами. Понятие свободы становится категорией этики: человек осуществляет моральный выбор между добром и злом, между нравственным и безнравственным. Поскольку выбор зависит от самого человека, последний обладает моральной ответственностью. Отсюда интерес к еще одной категории этики — совести как способности к самооценке совершаемых поступков. Дialectика этого понятия в том, что оно индивидуально-личностно, но сформировано общественным сознанием: совесть — совместное знание, ведание. Таким образом, совесть — субъективное осознание своего морального долга и ответственности перед обществом.

Мы живем в обществе, где насилие осуждается и где оно одновременно пронизывает все его поры. Преступность, террор, этнические и социальные конфликты служат постоянными индикаторами насилия, которое усиливается слухами и средствами массовой информации, что не оставляет сомнения в долгосрочности этого феномена. Словом, насилие из исключения постепенно стало правилом нашей жизни, а институты общества не только не подавляют насилие, но, как это ни парадоксально, производят его.

Сама духовная жизнь писателя — философский процесс постижения мира. Он принял форму нравственно-религиозных исканий, главный смысл которых — найти не только цель жизни человека и человечества, но и средство ее достижения. Для Толстого они слились воедино в моральных ценностях — добре, любви, самоотвержении во имя ближнего.

Доминантой мирозерцания мыслителя является антропологическая установка, которая роднит его с философской и идеологической традицией западноевропейского сознания, — она выражается в преобладании субъективно-индивидуалистического начала над объективным, социально-субстанциальным. Теоретическими источниками толстовского учения о ненасилии можно назвать философские системы Руссо, Канта, Шопенгауэра, Конфуция, Мо Ди, учение Платона об идеях, представления о Едином у неоплатоников, пантеизм Спинозы и др. Идея целостности мира, прослеживаемая Платоном и через Платина, Августина, Спинозу, Гегеля, В. С. Соловьева и вплоть до современности, также лежит в русле учения о ненасилии. Заслуга пи-

сателя в том, что он внес в представления о ненасилии систематичность, онтологически обосновал их, придал нравственно-религиозное содержание и, самое главное, превратил в единый и, по его мнению, единственный принцип человеческого бытия, который только и позволяет человеку и человечеству выжить среди хаоса мироздания.

Смысл толстовского принципа в том, что он означает не просто изменение морали, но изменение самой структуры человеческих отношений иерархических структур в обществе — политических, церковных, идеологических, научных и т. д. Люди страдают от того, что «...все разделены на два враждебных, ненавидящих друг друга стана: страдают одни от зависти и ненависти к тем, кто над ними властвует, другие от страха и тоже презрительного недоброго чувства к тем, над кем они властвуют...»³

Мыслитель придавал ключевой смысл принципу ненасилия, считая его важнейшим законом межличностного общения. Его принцип к неучастию в насилиях государства имеет глубинные мотивы, которые должны выражаться в следующих действиях:

1) отрицание святости, оправданности и жизненности государственных учреждений, поскольку они мешают реализации закона любви;

2) непризнание вечности принципов насилия в общественной жизни, поскольку они отвечают только стадии развития человечества, на основе примитивной религиозности с пережитками язычества;

3) отказ от самой иерархической структуры общества, основанной на насилии и закрепляющей, что выражает лишь «механическую» суть человеческого единения;

4) признание свободы воли человека и свободы его религиозного духа как высшей ценности бытия, которая может изменить его;

5) убежденность в победе нового общественного устройства за счет обновления религиозного сознания людей, что произойдет постепенно, по мере признания его большинством.

В философско-антропологической концепции Л. Н. Толстого основное противоречие человеческой жизни — между оригинальным «я» человека, его духом, и нелюбимым им миром, то есть окружающей средой, — может быть разрешено только через компромисс между эгоизмом и альтруизмом, единственности сущности и множественности ее форм, между идеей и вещью. Этот компромисс и есть принцип ненасилия в его практическом действии. Ненасилие — это не мир с насилием, не равнодушное или пассивное принятие зла, не устранение, неделание, неучастие в борьбе с ним, а, напротив, плодотворное средство противоборства злу. Зло можно уничтожить только добром. Необходимо не столько непротивление

злу, сколько неповиновение ему. Учение о ненасилии должно стать необходимой составной частью любого гуманистически ориентированного общества.

Сама идея ненасилия родилась в древневосточных религиозных культах индуизма, буддизма, раннего христианства, конфуцианства. Толстой лишь синтезировал евангельские заповеди христиан с традиционным подходом восточных религий. Им предложены и пять своих правил поведения в обществе, которые, на его взгляд, помогут людям достичь гармоничного ненасильственного состояния.

Первое — разделение закона Бога и закона человека. Закон ветхозаветного Бога есть закон возмездия, укоренившийся в жизни людей и оправдывающий их эгоизм и их отступление от своей исконно человеческой духовности. Закон человека — это закон Христа, закон любви, ненасилия, разумного бытия людей.

Второе — освобождение людей от ложной веры. Эта вера состоит в оправдании зоологического эгоизма как личности, так и целых народов. Толстой говорит о переходе к новой вере, основанной на разумной любви, о практическом пользовании правилами христианской морали.

Третье — определение человеком своего местоположения в мире. Писатель рассматривает положение человека в мире не только как неустойчивое, возникшее от увлечения ложной верой, но и как трагичное. Единственный выход из него — отказ от старой системы морали и ценностей бытия и переход к жизни по закону любви, утверждающему благо для всех.

Четвертое — поглощение зла добром. Христианская любовь означает любовь ко всем без всякого исключения, и любовь навсегда. Эта любовь прощающая, терпеливая, жалеющая и понимающая. Победа добра над злом станет возможной при более или менее одновременном осознании большинством людей необходимости жить без насилия.

Пятое — осознание невозможности жизни в условиях насилия. Возвращение людей к братскому и божескому состоянию есть возвращение к истокам их сознания, не замутненного животным эгоизмом. Эти истоки были общими для всех народов земли, и потому они могут осознать их и усвоить как новую моральную религию.

Совершенствование, по Толстому, — это постоянный процесс развития личности, охватывающий всю жизнь и являющийся «делом жизни». Для него принцип нравственного самосовершенствования — найденный через религиозное откровение высший смысл жизни. Именно через индивидуальное самосовершенствование каждого человека в мире может уменьшиться доля насилия.

На наш взгляд, следует заметить, что он был не очень терпим к каким бы то ни было религиозным системам или традициям, обходящим стороной социальные проблемы. Может быть, эту часть мироощущения Толстого наиболее сжато выразил Мартин Лютер Кинг мл., когда говорил о том, что любая религия, провозглашающая, что ее касаются проблемы человеческой души, но не касаются трущобы, унижающие людей экономические условия, которые их душат, и калечащие их социальные условия, будет «сухой» религией. Толстовская концепция религии делает упор на уместных действиях по противостоянию несправедливости в мире. Его учение затрагивает широкий спектр жизненных проблем человека — от каждодневных поступков до решений, принимаемых в столь различных областях жизни, как образование, право, наука и искусство. Этим подтверждается действенный экзистенциальный характер этого учения.

Борьба писателя с государством и правителями была не столько борьбой, сколько защитой человека и его человеческого достоинства. Мыслитель призывал к разумно устроенной и ненасильственной жизни по законам любви и добра, считая их сугубо человеческими ценностями, которые он хотел превратить в мотивы деятельности человека. Но решение социальных проблем начиналось для него с отказа от всех форм насилия и фанатизма: классового, национального или религиозного. Он противопоставил им свободу, веротерпимость, взаимопочтение, нравственное развитие человека и общества. В коротком рассказе «Ассирийский царь Ассархадон» (1903) автор вскрывает истину о единстве жизни. Ассархадону снится, что он физически превратился в своего врага Лаилиэ, а затем в осленка, убитого на охоте. Старик объясняет Ассархадону: «Ты думал, что жизнь только в тебе... и ты увидел, что, делая зло другим, ты делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой одной своей жизни... Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — любить их»⁴.

Нередко говорят, что учение Христа относится к сфере личной нравственности и не касается вопроса о строе государственной жизни. Толстой держится иного мнения. Сущность христианства, говорит он, состоит в проповеди любви и выражается в пяти заповедях, имеющих целью устранить поводы раздора между людьми. Эти заповеди таковы: 1) не сердись, 2) не блуди (т. е., если ты вступил в плотский союз, не нарушай его для вступления в союз с другим лицом), 3) не кланись, 4) не противься злу злом (откуда в качестве следствия получается предписание: не судите, чтоб не судиться, и не присуживайте никого), 5) не воюй (23, 331). Из этих пяти заповедей три последние

прямо имеют в виду государственную жизнь, и исполнение их ведет к упразднению государства как строя жизни, основанного на насилии.

Осознание мыслителем общественных нужд и проблем привело его к тщательному изучению механизма насилия со стороны социальных институтов. Он выделил ряд видов деятельности, играющих особую роль в формировании общества, лишенного любви, или общества, где любви явно недостает. В его глазах особую вину в формировании «безлюбивых» ценностей и неаутентичного образа жизни несут те, кто занимается следующими формами социальной деятельности:

— государственные и политические деятели — в том объеме, в каком они участвуют в функционировании репрессивного государственного механизма;

— все, причастные к гибели людей в результате военных действий, кто развязывает войны, отнимающие у людей жизнь, и подстрекает к ним, — это солдаты, офицеры и прочий военный персонал, включая тех, кто обучает новобранцев, а также тех, кто занимается производством оружия и торговлей им;

— судьи, юристы и другие лица, участвующие в отправлении правосудия, такого, каким мы его знаем, и превращающие его действие в репрессивный механизм;

— все писатели и художники, которые не преследуют высоких целей в искусстве (эти цели он характеризует как передачу другим некоторого сердечного опыта или ощущения таким образом, чтобы произвести этим опытом впечатление на других и соединить людей в общности чувства);

— профессора и другие учителя — в той мере, в какой они не отдают себе отчета в обязанности учить высшим ценностям (таким, как самосовершенствование, внимательность и сочувствие ко всем другим, заинтересованность в благополучии других, альтруизм);

— ученые — в той мере, в какой они накапливают поверхностную, банальную или бесполезную информацию, лишь обслуживающую существующий порядок, но не полезную для человечества;

— священники, служители церкви, богословы — поскольку они видят в себе особых, привилегированных посредников между людьми и высшим духовным опытом;

— врачи и другие медицинские работники — если они не применяют в лечении целостного и профилактического подхода, а в ряде случаев заходят слишком далеко в применении экстраординарных средств искусственного продления жизни;

— те, кто участвует в угнетении бедных, занимаясь ростовщичеством и сбором налогов;

— все те из нас, кто практикует насилие, принуждение и подавление других.

Согласно взглядам Толстого, участвовать в перечисленных делах означает не задавать себе вопросов о том, что такое социальные обманы или обманы культуры. В результате возникают не отвечающие своему истинному назначению образование, искусство, государственное управление, право, наука и религия. В той мере, в какой мы не ставим под вопрос социальные обманы, мы сознательно или бессознательно укрепляем их и в результате оказываемся виновными в утверждении насилия и отказе от религии любви, играющей главную роль в развитии человеческих отношений. Нейтрализовать зло и успешно противоборствовать ему можно только противоположным началом: зло уничтожается добром, гнев — кротостью, ненависть — любовью. Зло нельзя исправлять злом, равно как огонь нельзя потушить огнем, а от наводнения спастись водой.

Нравственно-антропологическое учение Толстого можно назвать учением о бескорыстной любви как творческой разумной деятельности, дающей чувства удовлетворения, радости, счастья, просветления, благоволения, ощущения полноты бытия.

Писатель считал заслуживающими внимания только те проблемы, которые содержат общечеловеческий интерес и воспринимаются нами как сегодняшние. Вне этического плана, вне борьбы добра невозможно рассмотрение ни одного общественного явления. Общечеловеческий интерес представляет и проблема будущего общества, основанного на гармоничных человеческих отношениях. И это гармоничное общество должно быть построено на нравственных принципах добра и справедливости, на преодолении зла и насилия. Из всех нравственных принципов он выделял принцип ненасилия, полагая, что гармония человеческих отношений возможна только тогда, когда законом этих отношений станет принцип непротивления злу силою. Смысл жизни он видит в единении со всем окружающим, в нравственном самосовершенствовании человека. Самосовершенствование человека и совершенствование мира — это звенья одной цепи, соединяющей объект и субъект, вещи и идеи.

Современная общественная ситуация делает тему религиозных исканий Толстого актуальной для формирования, развития религиозного сознания и повышения мировоззренческой культуры людей, так как человек, по его словам, не может жить без религии, как он не может жить без сердца. При этом следует учитывать, что часть общества не принимает религию в ее ортодоксальной форме, но верит в Бога, а многие люди вообще отрицают религию, считая ее по-прежнему выражением ненаучной мысли. Религия есть отношение человека к бес-

конечному миру и решение задачи улучшения этого мира и самого человека через нравственное совершенствование. Религия включает в себя поиски единого духа, который объединяет человека во Вселенной и с другими людьми, то есть с обществом. Мыслитель возлагал надежды на то, что мир придет через самосовершенствование человека к нравственному прогрессу, а через него и к единению человечества на общей религиозной основе.

¹ Вебер М. Наука как призвание и профессия // Ежегодник философского общества СССР. 1987—1988. М., 1989. С. 303.

² См.: Бродский А. И. История и мораль (Отражение этического учения Л. Толстого в русской религиозной историософии начала XX века) // Логос. Санкт-Петербургские чтения по философии культуры. Российский духовный опыт. СПб., 1992. С. 22—23.

³ Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 63.

⁴ Ги де Маллак. Вечная мудрость Льва Толстого. Изложение жизненной философии и другие мысли. М., 1995. С. 116.

Г. В. Овчинникова

АСИММЕТРИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕАЛИЙ ИСХОДНОГО ТЕКСТА В ПЕРЕВОДНОМ

(на примере французского и немецкого
переводов повести «Хаджи-Мурат»)

Рассмотрение реалий в русском (исходном) и французском и немецком (переводных) текстах выявляет асимметрию языкового знака как в плане выражения, так и в плане содержания.

В семиотическом аспекте явление асимметрии проявляется в отсутствии одного из компонентов обозначаемого (*signifié*) или обозначающего (*signifiant*) в одной из культур. Значительное влияние на выбор способа передачи реалий оказывает личность переводчика. Именно ценностная ориентация переводчика и его коммуникативная установка во многом определяют выбор переводческой стратегии в отношении передачи реалий. Необходимо упомянуть о том, что принадлежность переводчика к языковой общности, говорящей на исходном или на переводном языке, может оказаться важным условием. Переводчик — носитель исходного языка способен точнее понимать сущность, свойства реалии, лучше ощущать связанные с ней коннотации, создавать более точные объяснения. В свою очередь, переводчику — носителю переводного языка обычно бывает легче находить в своей культуре наиболее подходящие эквиваленты. Он также способен адекватно оценивать внутреннюю форму слов и калек.

Авторам немецкого и французского переводов удалось ознакомить своих читателей не только с эпохой, в которой происходит действие повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат», но и передать сложные реалии чужой культуры, встречающиеся в исходном русском тексте. Для решения этой трудной задачи немецкий переводчик Жозеф Хан (Joseph Hahn)¹ часто прибегает к транслитерации, калькированию, реже — к описательному и приблизительному переводам, к родовидовой замене. Переводчики с русского на французский язык Александр Соловьев и Жорж Хальдас (Alexandre V. Soloviev et Georges Haldas)² используют те же способы перевода реалий. Однако следует заметить, что по сравнению с немецким языком способ калькирования не так распространен во французском переводном тексте.

Важнейшим фактором, обуславливающим способ перевода, является информационный запас читателя переводного текста, степень его

знакомства с реалиями культуры языка-оригинала. Необходимо учитывать и общий образовательный, культурный уровень реципиентов. Переводчики смогли сохранить и подчеркнуть национальную специфику произведения, но наряду с этим авторы переводов учитывали, что они должны довести до сознания иноязычного читателя идейную основу и фабулу произведения, вот почему нередко наблюдаются замены реалии со стилистической окраской нейтральным словом в языке перевода.

Определяющую роль при выборе способа передачи реалий играет также установка на сохранение национального колорита.

Анализируя процесс перевода реалий и факторы, оказывающие влияние на способ передачи реалий, нетрудно заметить, что существует набор требований, который предъявляется к переводу:

1. Точность перевода, подразумевающая передачу не только вещественной специфики референта, но и его функции в культуре, причем последняя обычно оказывается важнее первой. Точности перевода добиваются с помощью транскрипции и калькирования.

2. Доступность восприятия перевода реципиентом. Данное требование, тесно связанное с требованием точности, нередко игнорируется переводчиками, что ведет к перегрузке текста транслитерацией и кальками, затрудняющими его восприятие. Наиболее понятным для реципиента является приблизительный перевод с включением замены видового понятия родовым.

3. Краткость перевода. Данное требование может выступать на первый план при решении вопроса о допустимости описательного перевода.

4. Сохранение/стирание национального колорита часто является определяющим при выборе стратегии перевода единиц-реалий. Сохранение национального колорита является чрезвычайно важным, прежде всего при переводе произведений художественной литературы.

Акцентирование национального колорита иногда удаляет описываемую действительность от иноязычного читателя, подчеркивает ее «чужеродность». Однако разумное сохранение в тексте перевода колорита, присущего культуре носителей исходного языка, сопровождаемое правильными комментариями, способствует знакомству с реалиями чужой культуры.

Сравнивая способы перевода реалий, которые использовались в сопоставляемых исходных и переводных текстах «Хаджи-Мурата», можно обнаружить, что наблюдается асимметрия языкового знака при любом виде перекодировки, отмеченная знаком «—» (минус).

Способы передачи реалий	Требования к переводу			
	Точность	Доступность восприятия	Краткость	Сохранение национального колорита
Транслитерация	+	Отсутствуют в словаре — В словаре имеются +	+	+
Калькирование	+	Отсутствуют в словаре — В словаре имеются +	+	+
Приблизительный перевод	—	+	+	—
Описательный перевод	+	+	—	+
Замена видового понятия родовым	—	+	+	—

Выбор способа перевода реалий требует оптимального ответа на вопрос: использовать транслитерацию или переводить? Важно знать, какой из двух путей приведет к лучшему восприятию текста и его колорита, позволит наиболее полно раскрыть значение реалии, сведя до минимума потери и обеспечив максимальные возможности их компенсации.

В большинстве случаев транслитерация является предпочтительным способом перевода реалий. Это объясняется тем, что сохраняется национальный колорит в переводе.

Однако фонетические системы сопоставляемых языков подчиняются различным закономерностям, и одна и та же реалия по-разному выглядит во французском и русском языках. Исследование показывает, что частотность гласных и согласных звуков в исходном и переводном текстах близки. В русском тексте гласные звуки составляют 43 %, согласные — 57 %, во французском тексте гласные звуки составляют 45 %, согласные — 55 %, в немецком тексте гласные звуки составляют 42 %, а согласные — 54 %.

Таким образом, основной трудностью при буквальной передаче культурем во французском и немецком текстах является передача, в первую очередь, отсутствующих в системах французского язы-

ка/немецкого языка согласных. Это касается прежде всего аффрикат [ц] и [ч], а также шумных [х], [х'] и [ш'] во французском языке и аффрикаты [ч], а также шумных [х, [х'], [ш'] — в немецком.

Русский [ц] в настоящее время устойчиво передается на письме через «ts» (tsar) во французском языке, а в немецком языке — через «z» (Zar, Zeit), русский [х] — через kh (khan, m;/Khan, m), русский [ч] транскрибируется с помощью буквосочетания «tch» во французском языке (Tchetchène, m — чеченец; tcherkeska, f — черкеска).

В немецком языке русский [ч] передается с помощью буквосочетания «ch» (Baranchuk, m — баранчук (ребенок, тат.); или словосочетания «tsch» (Kutscher, m — кучер; Tscherkeska, f — черкеска; Tschetschenez, m — чеченец; Tschurek, m — чурек).

Менее устойчива традиция передачи русского шумного [ш']. Носители русского языка, говорящие по-французски или по-немецки, склонны в этом случае произносить, опираясь на графическую транскрипцию.

Le chariate — шарият;

«sch» — der Murschid — мюршид, der koumische Dialekt — кумыцкое наречие, der Schariat — шарият.

Проведенное сопоставление показало, что другие различия отдельных признаков русских и французских, русских и немецких фонем обычно не приводят к каким-либо затруднениям. Так, русский [р] без труда ассоциируется с французским увулярным звуком и с немецким [г], то же касается существенно различающихся русского твердого [л] и французского [l]; немецкое «l» представляет некоторые трудности ввиду того, что эту фонему произносят по аналогии либо с смягченным русским «л», либо с твердым «л», однако немецкое [l] не совпадает ни с той, ни с другой фонемой русского языка, но это не создает трудностей для транскрибирования и понимания.

Как известно, между системами русского и французского, русско-го и немецкого вокализма существуют значительные различия, но они практически не затрудняют передачу русских слов. Редукция безударных гласных в русском языке также не затрудняет транскрибирование: оно осуществляется с опорой на графическую форму слова (troïka, f; Troika, f — тройка/tcherkeska, f; Tscherkeska, f — черкеска). Определенную сложность составляет лишь передача русского [ы] — варианта фонемы [и]. Этот звук обычно передается через [i]: la langue koumike; der kumykische Dialekt — кумыцкое наречие; der Baschlyk — башлык.

Наблюдения за практикой употребления транскрибированных слов, используемых для передачи русских реалий, показывают, что переводчик должен различать: а) хорошо закрепившиеся заимствова-

ния, понятные широкому кругу носителей французского и немецкого языков (tsar, Zar); 6) заимствования, вошедшие во многие толковые словари, но остающиеся непонятными для носителей французского и немецкого языков: samovar (m), Samowar (m).

Самовар (ТС³. Т. 4. С. 30) — металлический прибор для кипячения воды с топкой внутри, наполняемой угольями.

Le samovar (PR⁴. P. 2030) — bouilloire russe, sorte de petite chaudière portative en cuivre, qui fournit de l'eau bouillante pour la confection du thé.

Der Samowar (WDW⁵. S. 3163) — russ. Teemaschine aus Kupfer od. Messing;

в) термины, понятные только лицам, достаточно хорошо знающим русскую историю и право (milicien (m), Milizionär (m)).

Следует отметить, что во французском и немецком переводах наблюдается тенденция сохранения рода существительного в переводном языке:

казак — kosaque (m), Kosak (m);

кучер — cocher (m), Kutscher (m);

тройка — troïka (f), Troika (f);

муэдзин — muezzin (m), Muezzin (m)

имам — imam (m), Imam (m);

рубль — rouble (m), Rubel (m);

джигит — djiguite (m), Dschigit (m);

милиционер — milicien (m), Milizionär (m);

сардар — sardar (m), Sardar (m);

хан — khan (m), Khan (m);

шейх — cheik (m), Scheich (m);

черкеска — tcherkeska (f), Tscherkeska (f);

аул — Aul (m);

башлык — Baschlyk (m);

пильгиш — pilgich (m);

чурек — Tschurek (m);

водка — vodka (f).

В качестве примера можно привести ряд словарных дефиниций из толковых словарей русского, французского и немецкого языков:

Хан (ТС. Т. 4. С. 1132) — 1) титул монарха, правителя, владетельного лица в некоторых восточных странах; 2) почетный дворянский титул, равный княжескому, в некоторых странах.

Le khan (PR. P. 1060) — titre que prenaient les souverains mongols, les chefs tartares et qui passa avec eux dans l'Inde et jusqu'au Moyen-Orient.

Der Khan (WDW. S. 2092) — dem Namen nachgestellter Mongol.-tatar.-türk. Titel für Mohammedan. Fürst u. hoherpers. Beamter.

Имам (ТС. Т. 1. С. 1191) — духовный глава всех магометан или какой-нибудь группы их.

L'imam (PR. P. 961) — titre donné au successeur de Mahomet et à ceux d'Ali.

Der Imam (WDW. S. 1922) — Mohammedan. Vobeter in der Mosche; deistl., auf Mohammed zurückgeführtes Oberhaupt der Schiten.

Оценивая транскрипцию как способ передачи реалий, нужно сказать, что она подчеркивает стилистическую активность единиц и тем самым сообщает тексту национальный и местный колорит. Транскрипция необходима именно тогда, когда важно соблюсти лексическую краткость обозначения, соответствующую его привычности в языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи или понятия, если нет точного соответствия в языке перевода. При удачной транслитерации можно добиться передачи и смыслового содержания, и колорита, но неудачно сделанный выбор между транскрипцией и переводом может серьезно затруднить правильность восприятия переводного текста.

Метод калькирования применяют в том случае, когда транскрипция по тем или иным причинам невозможна. Кальки позволяют перенести реалию в переводной язык при максимально полном сохранении семантики, но далеко не всегда без утраты колорита.

Кальки бывают словосочетаниями (чаще во французском языке) и словами (в немецком языке, что обусловлено почти неограниченными возможностями языка в отношении словосложения).

В немецком и русском языках можно обнаружить:

1) полную эквивалентность внутренней формы лексических единиц:
— словосложение:

тулуп — der Schafpelz

бурка — der Filzmantel

кунацкая — das Gastzimmer

папаха — die Lammfelmütze

кунак — der Gastfreund

лапти — die Bastschuhen.

Тулуп (ТС. Т. 4. С. 825), (тюрк. Tulur — шкура) — долгополая меховая шуба (преимущественно овчинная, заячья), обычно не крытая сукном.

Der Schafpelz (WDW. s. 3193) — Pelz aus Schaffel.

Бурка (ТС. Т. 1. С. 207) — род плаща или накидки из валяного войлока и козьей шерсти на Кавказе.

Der Filzmantel: der Mantel (WDW. S. 2460) — ärmellose Umhang; Übergewand zum Schutz gegen Regen, Kälte od. Schmutz.

Der Filz (WDW. S. 1298) — Stoff aus gepressten, verschlugenen, nicht gewebten, meist tierischen Fasern.

Кунацкая (ТС. Т. 1. С. 1548) — от кунак.

Кунак (ТС. Т. 1. С. 1548) — у кавказских горцев — лицо, связанное с кем-нибудь обязательством взаимного гостеприимства и дружбы; друг, приятель.

Das Zimmer (WDW. S. 4277) — Wohn, Arbeits od. Schlafraum.

Der Gast (WDW. S. 1375) — Besucher.

Лапти (ТС. Т. 2. С. 26) — плетеная обувь из лыка или веревок, охватывающая со всех сторон ноги.

Bast Schuhe (pl): Schuh, m (WDW. S. 3318) — Fussbekleidung des menschen; Hemmschuh, Bremsschuh.

Bast (WDW. S. 570) — unter der Reinde liegendes pflanzl. Faser-gewebe; äusere, gelbliche Schlicht der Naturseidee.

Папаха (ТС. Т. 3. С. 36) — высокая косматая шапка, обычно с суконным верхом.

Die Lammfelmmütze (WDW. S. 3791) — Stoffstreifen; um den Kopf geschlungener Schal als modische Kopfbedeckung für Frauen;

2) частичную эквивалентность внутренней формы лексических единиц:

горец — der Bergbewohner

куст репейника — der Diestelbusch.

Репей (ТС. Т. 3. С. 1341) — сорное растение с колючими головками, соцветиями, лопух-репейник.

Die Distel (WDW. S. 925) — verschiedene stachelige Kräuter.

Der Busch (WDW. S. 800) — Strauch; dichter trop. Wald, Büschel Bündel.

Горец (ТС. Т. 1. С. 600) — обитатель гор.

Der Bergbewohner (WDW. S. 631) — Bewohnereines Dorfes od. Gehöftes auf dem Berge od. Im Gebirge.

3) нулевую эквивалентность внутренней формы лексических единиц; особенно часты расхождения во внутренней форме среди названий цветов, трав, грибов:

одуванчик — Löwenzahn

васильки — Kornblumen

боровик — Steinpilz.

Одуванчик (ТС. Т. 2. С. 770) — растение из сложноцветных, с желтыми цветами, стеблями с млечным соком и пушистыми семенами, которые разносятся ветром.

Der Löwenzahn — (WDW. S. 2414) — Angehöriger einer Milscgaft enthaltenden Gattung der Kornblütler mit grob gezähnten Blättern u. goldgelbem Blütenkorb, dessen Früchte mit einem «Fallschirm» aus Haaren ausgestattet sind: Taraxacum.

Василек (ТС. Т. 1. С. 227) — светло-синий полевой цветок, сорняк, растущий во ржи и других злаках.

Die Kornblume (WDW. S. 2219) — Flockenblume mit azurblauen Blüten, häufig in Getreidefeldern.

Боровик (ТС. Т. 1. С. 175) — белый гриб.

Der Steinpilz (WDW. S. 3555) — sehr wohlschmeckender Röhrenpilz mit braunem Hut u. weissem, spatter gelblichem Fleisch.

В некоторых случаях слово представляется носителям языка лишённым внутренней формы, поскольку оно является заимствованным из другого языка и сохраняет морфологический состав слова языка-источника, который никак не связан с лексической системой принимающего языка, и поэтому данная внутренняя форма не может быть в нем воспринята адекватно:

флигель-адъютант — der Flügeladjutant

субалтерн-офицер — der Subalternoffizier

кучер — der Kutscher

; тройка — die Troika.

Флигель-адъютант (ТС. Т. 4. С. 1092) — (нем. Flügel-adjutant), (дореволюц.) — офицер, зачисленный в свиту царя.

Der Flügeladjutant (WDW. S. 1335) — Stabsoffizier als Adjutant eines Befehlshabers.

Кучер (ТС. Т. 4. С. 1560) — (нем. Kutscher) — возница, работник, который правит запряженными в экипаж лошадьми.

Le cocher (PR. P. 329) — celui qui conduit une voiture à cheval; conducteur, automédon.

Der Kutscher (WDW. S. 2294) — Lenker eines Pferdewagens.

Тройка (ТС. Т. 4. С. 805) — три лошади, запряженные рядом в один экипаж.

La Troïka (PR. P. 2026) — grand traîneau attelé à trois chevaux de front.

Die Troïka (WDW. S. 3774) — russ. Gespann aus drei Pferden; mit drei Pferden bespannter Wagen; Dreigespann.

Следует обратить внимание на то, что внутренняя форма всегда адекватно описывает содержание слова, в некоторых случаях она также выступает в роли «ложного друга переводчика», вызывая ошибочные ассоциации и предположения относительно возможного значения лексической единицы.

Во французском языке также имеются примеры калькирования:

«...когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей, того сорта, который у нас называется „татаринотом“» («Хаджи-Мурат». С. 545).

«...je remarquai dans un caniveau une bardane en pleine floraison d'une espèce que l'on appelle, chez nous „un tatare“».

Таким образом, калькирование при переводе реалий исходного текста и перевода на немецкий и французский языки выявляет асим-

метрию языкового знака, что красноречиво показало сопоставление словарных дефиниций разноструктурных языков. Как видно из целого ряда приведенных примеров, один и тот же предмет картины мира может вызывать различные ассоциации и образы у носителей разных культур. Совершенно очевидно, что ни француз, ни немец не выбрали бы метафорический образ татарина для названия растения «репей».

¹ Tolstoi, L. Die Kreuzersonate und andere spätere Erzählungen. München, 1986. S. 345–501.

² Tolstoi, L. Hadji Mourad. Genève, 1962. 160 p.

³ Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: В 4 т. М., 1996.

⁴ Le Petit, Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 1992.

⁵ Wahrig, Gerhard. Deutsches Wörterbuch mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre». München, 1986.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА СЦЕНЕ ТЕАТРОВ БАКУ

Вот уже более века имя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого с упоением произносится в разных концах света.

Л. Н. Толстой оставил огромное литературное наследство: три крупных романа, десятки повестей, сотни рассказов, несколько пьес, трактат об искусстве, множество публицистических и литературно-критических статей, тысячи писем, целые тома дневников.

Судьбы народные, отражение самых различных сторон социальной действительности, частной жизни людей, обрисовка общественных, государственных порядков, философских, нравственных исканий, быт, социальная психология, духовный мир представителей разнообразных слоев общества — все это вобрала в себя художественные произведения Толстого.

Прошло свыше 90 лет со дня смерти писателя, но его произведения остросовременны, потому что на их страницах встают те же нравственные проблемы, которые, как и сто лет назад, каждый человек непременно решает для себя сегодня.

«Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой» (30, 63), — сказано в трактате. Сливая в понятие «искусство» литературу, музыку, искусства изобразительные, Толстой неустанно повторяет, что они только тогда имеют право называться искусством, когда помогают проявить, высказать правду о душе человека, объединив этой правдой множество читателей, слушателей, зрителей.

В поисках активной возможности объединения людей Толстой обращается к театру. Он создает театр огромной нравственной и социальной значимости, необходимый не для определенных слоев общества, а для всего народа. Этот великий реалистический театр исполнен могучей правды, бесстрашия перед жизнью, истинного гуманизма, веры в нравственную созидательную силу людей.

Первые постановки пьес Л. Н. Толстого на азербайджанской сцене относятся к концу XIX века. Известный просветитель Султан Меджид Ганизаде — человек передовых взглядов, автор ряда пьес и повестей, созвучных своей идейной направленностью с гуманистическим содержанием творчества Толстого, еще в 1894 г. перевел комедию «Первый винокур». Пьеса была поставлена на любительской сцене в Баку и имела большой успех. Вызвав глубокий зрительский интерес, спектакль несколько лет не сходил со сцены. В нем участвовали такие видные азербайджанские актеры, как Мир Махмуд Кязимовский, Джахангир Зейналов, Алекпер Гусейнов.

В 1908 г. подготовленная в новой постановке пьеса «Первый винокур» из-за запрета цензуры показана не была и до 60-х гг. XX века являлась единственным драматургическим произведением Толстого, переведенным на азербайджанский язык.

Уже в начале века все классические пьесы писателя были представлены на бакинской сцене русскими труппами и явились большим событием в культурной жизни. Осенью 1900 г. труппа антрепренера Красова показала комедию «Плоды просвещения». В спектакле участвовали сам Н. Д. Красов, Н. И. Собольщикова-Самарин, Ю. И. Журавлева, О. В. Арди-Светлова и другие артисты. Материальное положение труппы было стесненным, и антрепренеру пришлось прибегнуть к «театральному маскараду». Зная, что имя Толстого всегда привлекает публику, Красов в одном из таких представлений показал отрывки из романа «Воскресение», хотя они ничего общего не имели с толстовским произведением: Катюша Маслова и Нехлюдов располагались на ковче-самолете, подвешенном на проволоках. Это вызвало иронические замечания местных рецензентов.

В ноябре 1904 г. уже другая труппа — А. Н. Кручинина с участием артистов Э. Г. Наумовского, А. К. Мартынова, Н. В. Пальчиковой, М. Я. Козловской, С. А. Соколова и других — дважды показала «Катюшу Маслову» (роман был инсценирован А. Ф. Арбениным) и драму Толстого «Власть тьмы».

В апреле 1908 г. приехавшая из Тифлиса труппа «Нового театра» показала бакинцам инсценировку «Анны Карениной». В пьесе участвовали Л. Б. Яворская, А. М. Горин-Горяинов и другие гости. Гораздо лучше «Анна Каренина» была поставлена в декабре 1914 г. (антреприза А. Е. Полонского), когда главную роль играла В. С. Кряжева.

После смерти Л. Н. Толстого была напечатана и стала широко распространяться драма «Живой труп». В Баку ее первая постановка состоялась в октябре 1911 г. в исполнении труппы А. В. Полонского. До декабря пьесу показали в театре братьев Маиловых десять раз.

Бакинские рецензенты писали, что за последнее десятилетие на их памяти не было пьесы, имевшей такой успех.

Пользуясь правом бенефицианта, артист Л. К. Людвигов поставил небольшую комедию Толстого «От ней все качества» и создал в ней яркую фигуру прохожего. Он же, Людвигов, играл Федю Протасова в «Живом труп».

5 декабря 1915 г. в театре Г. З. Тагиева в постановке А. А. Иванова драматический ансамбль показал еще одну пьесу Толстого «И свет во тьме светит». М. С. Нароков был загримирован под великого писателя. Рецензент «Каспия» писал, что «цензура обошлась с пьесой беспощадно»¹. Тем не менее имя Толстого вновь привлекло зрителей в театр и позволило дать один спектакль «в пользу недостаточных учениц» Бакинской женской гимназии.

В 1920-е годы в репертуаре русской драматической труппы Государственного театра имелись «Плоды просвещения». В 1928 г. режиссер В. К. Татищев поставил в Бакинском рабочем театре «Первого винокура».

Много раз обращался к наследию Толстого Русский драматический театр имени С. Вургуна. Здесь были поставлены «Анна Каренина» (1938) и «Живой труп» (1940) (режиссер А. Л. Гриппич, художник С. М. Ефименко).

Начало 50-х годов отмечено еще одним важным событием в театральной жизни. В августе 1950 г. в Баку был показан «Живой труп» в исполнении коллектива Московского театра имени Ленинского комсомола (режиссер С. Бирман). Глубоко проанализировав идейно-художественную проблематику пьесы, критик Дж. Джафаров высоко оценил оригинальную сценографию и большой заслугой счел трактовку образа Федя Протасова в исполнении народного артиста СССР И. Берсенева: «Театр показал в Протасове не проповедника идей непротивления злу, а человека умного, искреннего, способного на действительное добро, но загубленного обществом»².

Мнение Дж. Джафарова поддержал другой рецензент, Ю. Гранин: «Берсеневу удалось раскрыть не противоречие отдельной личности по отношению к другим отдельным личностям, а противоречие общественное, корнящееся в самом устройстве»³. Такой подход коллектива театра к раскрытию окружающего Протасова мира, толкавшего его на дно, на преступление, во многом способствовал успеху спектакля. Именно этого не хватало артистам Бакинского русского театра, который ставил ту же пьесу в 1940 г. Спектакль «Живой труп» в исполнении коллектива Московского театра имени Ленинского комсомола послужил прекрасным уроком театральным деятелям Азербайджана в дальнейшей работе над произведениями Толстого,

в частности, для создания спектаклей по той же пьесе как на русском, так и на азербайджанском языках.

Что касается «Первого винокура», до 1965 г. оставшегося единственной пьесой Толстого, переведенной на азербайджанский язык, она шла в 1894–1906 гг., но впоследствии не переиздавалась. Переводчик С. М. Ганизаде был репрессирован и лишь посмертно реабилитирован в 1959 г. Азербайджанский читатель, не знающий русского языка, практически не имел представления о драматургии Толстого. Поэтому важную роль сыграла статья Али Султанлы, появившаяся в журнале «Азербайджан» в 1953 г. Здесь впервые анализировались три основные пьесы Толстого: «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и «Живой труп». По мнению критика, Толстой в своих драматических произведениях, явившихся новым этапом в развитии русской драматургии, остался верным художественному принципу, свойственному всему его творчеству. Конечно, отдавая дань времени, автор рассматривал пьесы с точки зрения отражения в них сильных и слабых сторон мировоззрения писателя. По мнению позднейшего критика, «это обусловило и сильные стороны его идеологических оценок, и слабость его в анализе образной системы, художественных особенностей классических драм Толстого»⁴. Тем не менее нельзя забывать, что это была первая статья в Азербайджане, посвященная драматургии Толстого.

В 1960-е гг. драматургия Толстого становится объектом азербайджанской критики. Однако приходится признать, что нового слова в изучении этого вопроса не было сказано и дело ограничилось констатацией некоторых уже известных истин и положений.

В 1960 г. Азербайджанский русский драматический театр имени С. Вургунa отметил 50-летие со дня смерти Толстого постановкой пьесы «Живой труп» (режиссер И. Я. Хасин). Удалось избежать многих неудач, которые имели место при первой постановке пьесы и о чем в свое время писала азербайджанская критика. С глубоким пониманием вопроса были распределены роли: Федя Протасов — С. Якушев, Лиза — Г. Колтунова, Каренин — А. Степанов, князь Абрезков — П. Юдин, Маша — Е. Устинович. С. Якушев, исполнитель главной роли, дал собственное толкование героя, суть которого увидел не в падении, не в воскрешении, а в протесте против социальных порядков. И. Дубинский напечатал рецензию на спектакль «Живой труп» через двадцать дней после премьеры. За это время пьеса ставилась пять раз. По свидетельству Дубинского, «коллектив усердно трудился над ее правильным идейным осмыслением, что ощущалось от спектакля к спектаклю»⁵. И, как показывают поздние отзывы театроведов, постановка значительно совершенствовалась в дальнейшем.

Важным культурным событием в жизни Азербайджана стала постановка «Живого трупа» в переводе Э. Мамедханлы в Азербайджанском драматическом театре имени А. Азизбекова (премьера состоялась в 1968 г.). «Живой труп» в национальном театре имел бы успех даже при посредственном исполнении»⁶, — отмечает А. Багиров в монографии «Л. Н. Толстой в азербайджанской советской критике». Критика считала, что режиссер М. Мамедов создал совершенно оригинальный и удачный спектакль⁷.

Более 30 самобытных образов оживили на сцене актеры Али Зейналлы, Мехти Мамедов, Шафига Мамедова, Лейла Бадирбейли, Сафура Ибрагимова, Мелик Дадашов, Исмаил Османлы (художник Ю. Торопов, композитор Т. Кулиев). Спектакль был очень тепло встречен зрителями.

В статье «Л. Н. Толстой и театр» Мехти Мамедов, рассказывая о сценической жизни драматургии Толстого, пишет, что живыми и бессмертными качествами творчества Толстого являются глубина проникновения в действительность, высокая идейность и гуманизм⁸.

На разных этапах развития азербайджанского литературоведения и критики многие аспекты связей творчества Л. Н. Толстого с азербайджанской литературой освещались в журнальных и газетных статьях и публикациях. В 1970-е гг. были изданы монографические исследования А. А. Алмамедова «Л. Н. Толстой и азербайджанская литература» (1972), А. Багирова «Л. Н. Толстой и Азербайджан» (1974), С. Асдуллаева «Л. Н. Толстой и азербайджанская советская литература» (1978). В этих монографиях подробно освещаются такие вопросы, как азербайджанская периодика о Толстом, история переводов, влияния толстовских традиций на творчество азербайджанских писателей. В монографии Алмамедова наряду с другими вопросами изучается история постановок пьес Толстого на азербайджанской сцене.

В книге А. Багирова «Л. Н. Толстой в азербайджанской советской критике» (1990) автор дает историю восприятия и распространения творчества Л. Н. Толстого в Азербайджане, ставит проблему освоения драматургии писателя в республике.

Среди проведенных в дальнейшем исследований творчества Толстого следует выделить работу Г. Султановой «Проблемы перевода русской классической драматургии XIX века на азербайджанский язык», где автор обобщает историю азербайджанских переводов русской классической драматургии XIX века, значительно дополняет и корректирует фактологическую основу истории русской драматургии на азербайджанской сцене.

Понять соотношение драматургии Толстого с театром Азербайджана XIX века и с теми формами театра, которые создал следующий век, — задача, стоящая перед современным театроведением.

¹ Каспий. 1915. 8 дек.

² Бакинский рабочий. 1950. 25 авг. № 174.

³ Вышка. 1950. 23 авг. № 166.

⁴ Асадуллаев С. Г. Л. Н. Толстой и азербайджанская советская литература. Баку, 1978. С. 57–58.

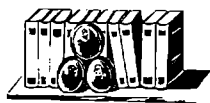
⁵ Бакинский рабочий. 1960. 14 дек. № 290.

⁶ Багиров А. Л. Н. Толстой в азербайджанской советской критике. Баку, 1990. С. 78.

⁷ Мамедов Мехти. Толстой и театр // Дар художнику. Баку, 1978. С. 144.

⁸ Бакинский рабочий. 1969. 18 янв. № 15.

КРУГ ЧТЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА



Л. А. Сапченко

**«СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ»
И «РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО
«УТРО ПОМЕЩИКА» И «ЛЮЦЕРН»**

(к проблеме «Толстой и Карамзин»)

Проблема «Толстой и Карамзин», поставленная Б. М. Эйхенбаумом, получила развитие в работах Ю. М. Лотмана, С. О. Шмидта, Т. С. Карловой, Н. Д. Блудилиной, И. А. Юртаевой и О. Б. Кафановой, Н. Б. Спектор и др.¹ В то же время очерченные грани проблемы оставляют возможность для дальнейших исследований.

Так, в «Утре помещика» (1856) Толстой ведет спор с карамзинским «Письмом сельского жителя» (1802), которое, безусловно, повлияло и на гоголевское письмо «Русский помещик» из «Выбранных мест...» (1847).

Проследим основные моменты сюжета, начиная с Карамзина. В форме письма к близкому другу изложены: приезд в родовую деревню героя, некогда плававшего «ревностью иметь обширный круг действия, в нескромной надежде на свою любовь к добру и человечеству», но после учения отклонившего «блестящую долю славных людей» и взявшегося «за плуг и соху!»². С этого времени, признается герой, «мне кажется, что добрый земледелец есть первый благодетель рода человеческого и полезнейший гражданин в обществе»³.

Напитавшись духом авторов, пишущих о злоупотреблениях власти, и желая быть заочно благодетелем своих поселян, карамзинский помещик отдал им всю землю, ограничившись легким оброком, не назначил над ними ни управителя, ни приказчика, «которые нередко бывают хуже самых худых господ», и написал крестьянам письмо, с тем чтобы они сами избрали себе начальника для порядка, жили мирно, были трудолюбивы и считали своего барина «верным заступником во всяком притеснении»⁴.

Возвращаясь к родным пенатам, воображал он, как поэт, свою деревню в цветущем состоянии и уже сочинял в уме письмо к какому-нибудь русскому журналисту о счастливых плодах дарованной крестьянам свободы...

Но по приезде нашел он «бедность, поля весьма худо обработанные, житницы пустые, хижины гниющие!»⁵ Данная им воля (покойный отец героя сам жил в деревне, смотрел за тем, чтобы и свои,

и крестьянские поля были хорошо обработаны, и потому и он богател, и земледельцы не беднели) обратилась для них в величайшее зло. Крестьяне предались лени и пьянству, землю отдавали внаймы — «им не хотелось и для своей выгоды работать»⁶.

Далее русский помещик повествует о своих действиях в имении. Угроза и 1000 рублей помогли ему изгнать из деревни торговцев вином, затем он «возобновил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную; вместе с ними, на полях, встречал и провожал солнце; хотел, чтобы они и для себя так же старательно трудились, вовремя пахали и сеяли; требовал от них строгого отчета и в нерабочих днях: перестроил всю деревню самым удобным образом; ввел по возможности опрятность, чистоту в их избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья»⁷.

Карамзинский герой заслужил благодарность своих крестьян, ставших трезвыми и трудолюбивыми; «из бедных они сделались зажиточными» и имеют «надежду быть со временем сельскими богачами»⁸.

Барин же, со своей стороны, завел школу для крестьянских детей «с намерением учить их не только грамоте, но и правилам сельской Морали, и на досуге сочинил катехизис, самый простой и незатейливый, в котором объясняются *должности поселянина, необходимые для его счастья*»⁹ (курсив Карамзина. — Л. С.).

Немалая роль отведена деревенскому священнику: он помогает помещику в составлении катехизиса, помещик же бывает его «критиком и советником, когда он пишет сельские проповеди». Врачуя душу, они также вместе лечат крестьян от телесных недугов, «благodeяния медика возвышают достоинства нравственного учителя»¹⁰.

Завершается письмо уверенностью героя в любви и благодарности крестьян к нему, его же обхождение с ними показывает, что он считает их «людьми и братьями по человечеству и христианству»¹¹. Высшим наслаждением для героя является осознание того, что живет он с истинною пользою для пятисот человек, вверенных ему судьбою. Всего несноснее для него жить в свете бесполезно. «Главное право русского дворянина — быть помещиком, главная должность его быть добрым помещиком»¹², и в этом заключается его верное служение отечеству и монарху.

В жанровом отношении «Письмо сельского жителя» обнаруживает некоторые признаки утопии. Перед нами не отображение реальных впечатлений, а скорее мысленный эксперимент, помещающий героя и читателя в пространство, поддающееся разумным преобразованиям.

Как и в других произведениях этого жанра, имеет место и полемика с идейным оппонентом¹³. В «Письме сельского жителя» это «филантропические Авторы», «иностранные путешественники» и «иностранные глубокомысленные политики», «иностранные Филантропы», «английские, французские и немецкие головы», чьи воззрения предстают как отвлеченные, умозрительные, некомпетентные в отношении России.

Затем можно отметить отсутствие героя-индивидуальности со своей судьбой, своим мировосприятием как объекта изображения. Здесь нет ни бедной Лизы, ни Фрола Силина, лишь обобщенные «крестьяне», чья точка зрения на все происходящее отнюдь не дифференцирована: в полном соответствии с планами помещика они постепенно и неуклонно исправляются, испытывая лишь любовь и благодарность к барину. Однообразен эмоциональный фон, все «счастливы».

Современный исследователь выделяет в истории утопической мысли два основных пути, два средства для достижения гармонии «совершенного общежития»: 1) рациональную регламентацию общественной жизни, ограничивающую своеволие личности; на этом основании, по сути дела, и строился жанр утопии в европейской культуре, и этот путь, как позднее выяснилось, ведет в тупик; 2) воспитание, преобразование самой личности, совершенствование ее. В классической утопии эта линия намечена слабо, но в культуре Европы такие поиски велись активно, и в русской культуре эта линия прочерчена определенно¹⁴.

Если говорить о творчестве Карамзина в целом, то следует признать, что он и верил в возможность совершенствования человека и не верил в это:

Ах, зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно¹⁵.

Хотя он придавал принципиальное значение культурному прогрессу, успехам науки и просвещения, все же идеальное общество редко представало у него как будущее человечества, чаще — как безвозвратно ушедшее прошлое.

«Утопия („Или Царство счастья сочинения Моруса“. — *примеч. Карамзина*) будет всегда мечтою (т. е. „заблуждением“ на языке Карамзина. — Л. С.) доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век златой...»¹⁶

Поразительные аналогии обнаруживаются между «Письмом сельского жителя» Карамзина и письмом «Русский помещик» из «Вы-

бранных мест...» Гоголя. Однако у Гоголя, напротив,— письмо к сельскому жителю. Из субъекта видения он становится объектом, в жанровом аспекте гоголевский текст скорее соотносится не с утопией, а проповедью, поучением, хотя исходная мысль Гоголя утопична: он убежден в быстрой («к концу года») достижимости полного взаимопонимания между помещиком и крестьянами, в умении русского человека (крестьянина) быть преданным и благодарным (именно этим заканчивается карамзинское «Письмо...»).

«Завязка» во всех случаях одна и та же.

«Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою»¹⁷,— пишет Гоголь, как бы прямо ориентируясь на Карамзина. Параллели появляются вновь и вновь, причем начало и конец «Русского помещика» соединены одной, опять же восходящей к «Письму сельского жителя» и предваряющей «Утро помещика», мыслью: быть помещиком над своими крестьянами повелел тебе Бог, и он взыщет с тебя, если б ты променял свое званье на другое. «...Не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужив такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью,— это дело не бездельное и служба истинно законная и великая» (VIII, 328). Однако в гоголевском тексте помещик более уподобляется проповеднику, который открывает пред паствою текст Святого Писания и объявляет им (мужикам) «всю правду», чтобы они, исправившись, могли, в свою очередь, «и других учить хорошему житию» (VIII, 323). Относительно «нововведений» Гоголь не дает советов, он убежден, что адресат и сам «смекнул», что «не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение» (VIII, 324).

Как бы взяв в образец обычаи, заведенные карамзинским «сельским жителем» (непосредственное участие помещика во всех хозяйственных работах, общие праздники трижды в год и т. д.), Гоголь ставляет своего адресата: «Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба — был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам месте с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца» (VIII, 324).

Заходит речь и о сельской школе. Подобно Карамзину, Гоголь отмечает «вздорные» представления «европейских человеколюбцев» (у Карамзина — «иностранных филантропов») и большие надежды

возлагает на правила морали. Аналогичным образом появляется фигура деревенского священника как ближайшего помощника. «Мы живем с ним дружно, часто обедаем вместе»¹⁸, — говорится в «Письме сельского жителя»; «Заведи, чтобы священник обедал с тобою каждый день» (VIII, 326), — читаем в письме к русскому помещику. Есть, правда, существенное различие между карамзинским и гоголевским священниками. Первый обладает всевозможными познаниями в теологии, морали, физике, ботанике и медицине, он равный собеседник помещику; второй должен быть образован и воспитан самим помещиком (этого не может ни одна семинария, по словам Гоголя), да и читают они лишь духовные книги. В отличие от карамзинского «Письма...», в письме гоголевском значительная часть текста отведена роли проповеди и подготовке к ней, которую нельзя просто так доверить священнику. Должно вместе с ним читать Златоуста и отмечать нужные места для произнесения их перед народом. Большое значение придается исповеди. У Карамзина об этом нет ни слова. Его священник сам пишет проповеди; он не исповедует, а лечит крестьян, «благодения медика возвышают достоинства нравственно-го учителя»¹⁹.

Гоголевский дискурс, как и карамзинский, завершается процветанием и помещика, и крестьян, духовным родством между ними, чувством честно исполняемого долга.

Письмо «Русский помещик» связано с толстовским замыслом «Романа русского помещика».

В дневниковой записи 3 августа 1852 года Толстой так определяет идею задуманного произведения: «В романе своем я изложу зло правления русского...» (46, 137).

Позднее главная идея видоизменяется. В «Предисловии не для читателя, а для автора» Толстой пишет: «...прелесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет, — посвятить жизнь свою *добру*, и в простоте, *ясности* ее. Главная мысль сочинения: счастье есть добродетель» (4, 363).

Б. М. Эйхенбаум пишет о том, что отношение к социальным вопросам, к владению крепостными формировалось у Толстого не без влияния брата Дмитрия²⁰. Толстой вспоминал: «Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кон-

чил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности» (34, 383).

В 1856 г. в записях Толстого появляется название «Утро помещика».

В начале «Утра помещика» тоже письмо «сельского жителя», вернее, того, кто принял твердое решение стать им. Толстовский герой как будто бы вторит Карамзину, когда пишет тетушке: «Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих, из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность?» (4, 123–124).

Но, в отличие от монологичного в данном случае Карамзина, Толстой сразу вводит оппонента — тетушку, имеющую иную точку зрения на этот счет и опирающуюся не на рассуждения и правила, а лишь на опыт: «Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне» (4, 124). Однако, оставаясь верным своему плану и следуя карамзинскому сюжету, молодой толстовский герой уезжает в деревню, где распределяет свою жизнь «по часам, дням и месяцам».

В поэтологическом отношении произведение Толстого можно назвать борьбой романа (глубоко индивидуализированные образы в конкретном времени и пространстве, сложность душевной жизни главного героя) с утопией и идиллией («экспериментальное пространство, остановившееся или цикличное время, конгломерация вместо неповторимых персонажей, однообразный эмоциональный фон, упрощенность взаимоотношений»).

В «Утре помещика» карамзинско-гоголевская традиция предстает как не имеющая ничего общего с действительностью.

Толстовский герой практически и теоретически изучает сельское хозяйство, открывает больницу и школу, пытается преподавать правила морали: «Не лги, не пьянствуй, уважай свою мать» (4, 144).

Поскольку в «Письме сельского жителя» и в письме «Русский помещик» нет отдельных персонажей, не обрисована ни одна конкретная ситуация, время и пространство даны обобщенно, постольку становится возможным движение сюжета к утопии. Толстой же выстраивает целую галерею живых крестьянских образов, не желающих

соответствовать ничьим умозрительным, хотя и человеколюбивым замыслам: Иван Чурисенок с красивыми и выразительными чертами и со спокойно-уверенным, несколько насмешливым равнодушием ко всему окружающему, Юхванка Мудреный с притворно-покорным выражением лица, Давыдка Белый со светло-голубыми спокойными глазами и широкой окладистой бородой, с отпечатком болезненности, не внемлющие никаким увещаниям, наставлениям, упрекам, выгодным предложениям; богатый мужик Дутлов, нипочем не желающий доверить барину свои сбережения, войти с ним в дело; их жены, матери, невестки, дети.

В то же время толстовский текст постоянно соотносится с карамзинским. У Карамзина говорится о том, что при покойном отце автора «Письма...» дела в деревне шли хорошо, что управители, приказчики вредят делу; то же у Толстого: при дедушке героя «настоящие порядки были», а при опекуне (которому перепоручил хозяйство отец героя) «много горя приняли мужички» (4, 138). Подобно Карамзину и Гоголю, упоминаются «иностранные головы» («Maison rustique» — «Maison rustique du XIX siècle» — «Ферма XIX столетия» — пяти-томный трактат по сельскому хозяйству французского ученого Ж. А. Биксио, 1808—1865), которые, как и прежде, оказываются неприложимы к жизни русской деревни. Но у Толстого столь же далеки от реальности оказываются и Карамзин и Гоголь²¹.

Уверения толстовского героя, что он решил посвятить жизнь крестьянам, что готов сам лишиться себя всего, лишь бы они были довольны и счастливы, вызывают недоверие и усмешку, в больницу обратиться им недосуг («и барщина, и дома, и ребятишки...» — 4, 129), от училища они просят «уволить» и т. п. Мираж идиллии порой появляется на мгновение, но тут же, на глазах исчезает, остаются только безрадостные, удручающие картины действительности. Сам выбор художником конкретного времени действия — утро летнего праздничного дня — как бы настраивает на идиллическую картину деревенской жизни, но реальное пространство деревни (первая же изба — полу-сгнившая, погнувшаяся набок, вросшая в землю, грязный порог, черная, гниющая солома и т. д.) разрушает создавшийся было настрой. Искреннее желание Нехлюдова помочь крестьянам наталкивается на отчужденность и насмешку.

Так, в пчельнике богатого старика Дутлова, где было «уютно, радостно, тихо, прозрачно», где фигура старичка «с лучеобразными частыми морщинками около глаз» была «так простодушно ласкова», Нехлюдов мгновенно забывает предшествующие этому тяжелые впечатления и живо представляет свою любимую мечту: «Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему од-

ному были обязаны своим богатством и счастьем» (4, 159). Кажется, что перед нами просто строки из «Письма сельского жителя». Но уходит Нехлюдов от Дутлова, так и не найдя понимания, с иными совсем чувствами и мыслями: «Боже мой! Боже мой! <...> Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» (4, 164).

Следующий за этим фрагмент текста наводит на предположение, что толстовский герой вполне мог читать Карамзина, написавшего «быть счастливым... то есть быть добрым»²². В поисках истины и счастья Нехлюдов вдруг ясно осознает, что «любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире» (4, 165).

У Карамзина (в его письме к А. И. Тургеневу) также читаем о жизни как делании добра: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии; а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов... Делайте что и как можете: только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести»²³. Толстой считал эти строки, пишет Н. Д. Блудилина, лучшими из всего написанного Карамзиным.

«Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», — думал князь Нехлюдов, «и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферу деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность — у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный труд представляется ему — „действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем, я дальше и дальше иду к предполагаемой цели“» (4, 165).

Но охватившие Нехлюдова воспоминания о прежних мечтаниях сменяются чувством «усталости, стыда, бессилия и раскаяния». В то же время впечатления прожитого дня неожиданно для него «складываются в единую гармоническую картину. Он начинает смотреть на мир глаза-

ми своих мужиков, и в этом открывшемся... неожиданном ракурсе... получают свое понимание и оправдание и покорность матери Юхванки, и нежная любовь Чурисенка к своему сынишке, и поэзия путешествий, которая так дорога юношескому сердцу Илюшки Дутлова. „Славно!“ — шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка? — тоже приходит ему. Постоянно мучившее совесть Нехлюдова расхождение между „добром для себя“ и „добром для других“ на мгновение исчезает. Душевным просветлением заканчивается повесть»²⁴.

Таким образом, если Карамзин не всегда следовал своим же собственным художественным открытиям (в «Письме сельского жителя» он отошел от свойственного ему в «Бедной Лизе» психологизма в изображении простого человека), Толстой во многом шел по пути, намеченному в русской литературе именно Карамзиным (в его повестях и в «Письмах русского путешественника»): главное внимание уделяется чувствам и мыслям автобиографического героя, их смена определяет во многом движение сюжета, а кроме того, крестьяне, хотя и лишённые идеализации, не только уравнены, но в чем-то и возвышены (традиция «Бедной Лизы») над героем-дворянином.

* * *

Если карамзинский герой приезжает в деревню после европейского путешествия и службы, то толстовский князь Нехлюдов оказывается в Европе, по всей видимости, после того, как оставил деревню («Люцерн»).

Произведение Л. Н. Толстого «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (1857) структурно (это видно уже из заглавия) ориентировано на «Письма русского путешественника» Карамзина. Первая толстовская фраза как будто бы взята прямо оттуда (повествование тоже идет от первого лица, молодого русского путешественника, совершающего вояж по Европе), если, правда, исключить поминутное обращение карамзинского героя к «любезнейшим друзьям»: «Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе» (5, 3). Ср. у Карамзина: «Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в Hôtel de Pétersbourg» (7). «Вчера, в семь часов утра, приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал, вместе с своим спутником, в трактире у Шенка» (19) — Кенигсберг. «В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю)» (79) — Эрфурт. «Я приехал сюда в одиннадцать часов утра, и остановился в трактире Колокольчика» (81) — Гота. Количество примеров можно значительно умножить.

Далее, опять же в духе Карамзина, Толстой помещает сведения о городе, взятые из путеводителя, а затем, как и автор «Писем русского

путешественника», переходит к своим собственным впечатлениям. Великолепные виды, всплески настроения, картинки гостиничного быта, уличные сценки сменяют друг друга, как и в карамзинской книге.

Но вполне вероятно, что Толстой зримо ориентируется на широко известный текст лишь затем, чтобы нейтрализовать, опрокинуть его в ключевой сцене.

Ю. М. Лотман пишет: «Весь замысел толстовского „Люцерна“, конечно, полемичен по отношению к эпизоду с бернским арфистом, которому у Карамзина был оказан столь радушный прием: „Сегодня за ужином бедный Италианской музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег“²⁵. Толстой рисует абсолютно противоположную картину:

„Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним“ (курсив Л. Н. Толстого) (5, 23).

Карамзин в своих „Письмах“ стремится воспеть все, что, по его мнению, сближает людей между собой — искусство, природу, торговлю, промышленность. В лондонских письмах путешественник сообщает о „богатых лавках и магазинах, наполненных всякого рода товарами, индейскими и американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы“.

Такая роскошь не возмущает, а радует сердце, представляя вам разительный образ человеческой смелости, нравственного сближения народов и общественно-просвещения! Пусть гордый богач, окруженный произведениями всех земель, думает, что услаждение его чувств есть главный предмет торговли. Она, питая бесчисленное множество людей, питает деятельность в мире, перенося из одной части его в другую полезные изобретения ума человеческого, новые идеи, новые средства утешаться жизни» (336).

В английских главах обобщенно-символическое значение приобретает образ денег. Если в немецких письмах деньги — это рубли, копейки, червонцы, фунты, гроши, талеры и т. д. (т. е. средство платежа — не более, пожалуй, еще предмет экономии), если во французских главах — это не просто су, экю и др., а средство «весело проводить время», то в лондонских письмах они воплощают исполнение всех желаний, дают ощущение всемогущества, служат взаимосвязи всех людей и стран, отдельного человека и всевозможных плодов общественной деятельности:

«Мы... хвалим прекрасную выдумку денег, которые столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота — нет, еще луч-

ше: клочок бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман (выделено мной. — Л. С.), дает мне власть над людьми и вещами: захо-чу — имею, скажу — сделано. Все, кажется, ожидает моих повелений. Вздума-л ехать в Гринвич — стукнул в руке беленькими кружочками, — и гордые англи-чане исполняют мою волю, пенят веслами Темзу и доставляют мне удовольствие видеть разнообразные картины человеческого трудолюбия и Природы» (335).

Многофункциональность денег, их всевластие не мешают выде-лать их главное, по мнению автора, достоинство: они дают возмож-ность путешествовать, видеть мир, познавать людей. Таким образом они открывают путь к цели прогресса — «нравственному сближению народов», главному смыслу цивилизации с точки зрения просвети-тельского оптимизма.

Об этом тоже ведет спор Л. Н. Толстой в «Люцерне»:

«Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцаргофа, что лучшее благо в мире? и все, или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выраже-ние, скажут вам, что лучшее благо мира — деньги. „Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, — скажет он, — но что ж делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составля-ют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, — прибавил он, — то есть видеть правду“. Жалкий твой ум, жалкое то сча-стье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего те-бе надобно... Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денеж-ные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Что, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, потребность поэзии, которую не сознае-те, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь че-ловеческое...» (5, 21–22).

В произведении Карамзина деньги еще не цель, они средство, но Толстой видит уже иное их восприятие — как самоцели, как лучшего блага в мире — и восстает против этого. Отходит на второй план тот факт, что без денег ни один турист, включая рассказчика, не смог бы приехать в Люцерн, поселиться в лучшем отеле, наконец — вознагра-дить певца за труды. И сам рассказчик потрясен, что слушавшие не дали музыканту именно денег, столь необходимых ему, голодному и бесприютному.

В 1853 г. Толстой сделал в своем дневнике такую запись: «Стран-но, что все мы таим, что одной из главных пружин нашей жизни деньги. Как будто это стыдно. — Возьмите романы, биографии, по-

вести: везде стараются обойти денежные вопросы, тогда как в них главный интерес (ежели не главный, то самый постоянный) жизни и лучше всего выражается характер человека» (46, 189).

Но апология денег, подобная той, что мы видим в «Письмах русского путешественника», где деньги добродетельны, была уже невозможна.

Как отмечает Л. А. Аннинский, в поздней повести «Фальшивый купон» Толстой пускает в обращение этот денежный эквивалент и показывает, в соответствии с законами своей поэтики, связанность, сцепленность всего: «...зло, заложенное в сюжет двумя мальчишками, в полной мере реализуется не в них самих, а в других людях, заражаемых по касательной»²⁶. Деньги, вернее, изначально сопряженный с ними обман, становятся символом предельного обобщающего значения.

Но опять же именно у Карамзина намечено перерождение этого «волшебного талисмана» в дьявольский заменитель едва ли не всех возможных добродетелей.

Английские главы открывают тему денег вначале со знакомой ее стороны:

«Когда я пришел в трактир, то в первой комнате окружили меня семь или восемь человек, весьма худо одетых, которые грубыми голосами требовали денег. Один говорил: „Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакетбота“, другой: „Дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю“, третий: „Дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой“. Четвертый, пятый, шестой — все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек; но я, бросив два шиллинга на землю, ушел от них. Судите, любят ли здесь деньги и дешево ли ценят англичане труд свой?» (328).

Карамзин отмечает в англичанах умение «строго исполнять свою должность и притом... наживаться!» (таможенники, невзирая на просьбы и обещание благодарности в виде нескольких шиллингов, выпотрошили чемодан путешественника и в довершение еще и потребовали уплаты денег, хотя не нашли ничего запрещенного) (328).

Для обоих писателей драгоценна была идея единения и «нравственного сближения» народов, однако карамзинское (докризисное) представление о безусловной достижимости и едва ли не свершенности этой цели было Толстому «тошней идиллии». Отсюда и отсутствие у него постоянных обращений к «любезнейшим друзьям» (их нет в мире толстовского произведения), и концентрация внимания на полной отчужденности человека человеку, преодолеть которую не в силах даже искусство.

В то же время заключительные размышления князя Нехлюдова возвращают нас к Карамзину. Идея «внутреннего счастья», которое

лежит в душе каждого, бедного музыканта и состоятельного лорда, может, по мнению толстовского героя, возвысить маленького человека, в сердце которого нет «ни упрека, ни злобы, ни раскаяния». Снова становится узнаваем карамзинский дискурс: «А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека?» (5, 26).

Завершающая мысль рассказа о бесконечной «благодати и премудрости того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям», о вселенской гармонии «вечного и бесконечного» была символом веры автора «Писем русского путешественника» и переписки Мелодора и Филалета: «Может быть, единственно от того мы и не постигаем нравственной гармонии, что она есть высочайшая, совершеннейшая. Может быть, то, что кажется смертному великим неустройством, есть чудесное согласие для ангелов: может быть, то, что кажется нам разрушением, есть для их небесных очей новое, совершеннейшее бытие»²⁷. Ср. у Толстого: «Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь...» (5, 26) и т. д.

Толстовское повествование описывает своего рода параболу: соотносясь в самом начале с карамзинским текстом и максимально удалившись от него в кульминации, оно вновь возвращается к нему в философском финале.

Карамзинское наследие становится для русских писателей последующих поколений определенной смыслопорождающей моделью: вера в просветительские идеалы и несбыточность мечты, трагизм жизни, величие души «маленького» человека, вечное примирение — эти идеи станут сущностными для нашей литературы. Созданные Карамзиным жанры, сюжеты, конфликты и характеры были своего рода «генетическим кодом», определившим развитие русской литературы на много десятилетий.

¹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974; Его же. Молодой Толстой // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 34–130; Карлова Т. С. Толстой и Карамзин // Л. Н. Толстой. Статьи и материалы. Ученые записки Горьковского ун-та. Горький, 1966. Вып. 77. С. 104–114.; Фридлендер Г. М. Пушкин и молодой Толстой // Пушкин:

Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 216–237; Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987; Шмидт С. О. «История государства Российского» в контексте истории мировой культуры // Всемирная история и Востоковедение. М., 1989. С. 187–202; Его же. «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // Карамзин Н. М. История государства Российского. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 гг. М., 1988. Кн. 4. С. 28–43 и др. работы; Блудилина Н. Д. Толстой и Карамзин // Н. М. Карамзин. Юбилей 1991 г. Сб. научных трудов. М., 1992. С. 127–135; Юртаева И. А., Кафанова О. Б. Переводы «Суратской кофейной» Бернарден де Сен-Пьера (к проблеме «Л. Н. Толстой и Карамзин») // Проблемы метода и жанра. Вып. 18. Томск, 1994. С. 193–207; Спектор Н. Б. О «стерновской» и «карамзинской» чувствительности в интерпретации молодого Л. Н. Толстого // Карамзинский сборник. Биография. Творчество. Традиции. XVIII век. Ульяновск, 1997. С. 57–67; Ее же. Н. М. Карамзин в художественном сознании Л. Н. Толстого (годы создания «Войны и мира») и др. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Иваново, 1998.

² Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2-х т. Т. 2. Л., 1964. С. 289.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 290.

⁶ Там же. С. 291.

⁷ Там же. С. 291–292.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 293.

¹⁰ Там же. С. 294.

¹¹ Там же. С. 296.

¹² Там же.

¹³ См.: Гальцева Р., Роднянская И. Помеха — человек // Новый мир. 1988. № 12. С. 219.

¹⁴ Чернышева Т. А. Что такое утопия? // Жанры русской литературы. Сборник научных трудов. Иркутск, 1991. С. 94.

¹⁵ Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. Л., 1966. С. 137.

¹⁶ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 227. Все дальнейшие ссылки на текст «Писем русского путешественника» даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.

¹⁷ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 321. Все дальнейшие ссылки на гоголевский текст даются по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.

¹⁸ Карамзин Н. М. Избр. соч. Т. 2. С. 294.

¹⁹ Там же.

²⁰ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 223.

²¹ Известно толстовское высказывание, что единственным героем его произведений является правда. В то же время многообразие реальности позволяет говорить не о правде как таковой, а о специфическом толстовском видении той или иной проблемы. С этой точки зрения представляют интерес мемуары родной сестры Н. В. Оболенской (в изложении Б. А. Ребиндера), жены А. Н. Карамзина, сына Николая Михайловича. В ее воспоминаниях обрисована судьба молодого дворянина, Александра Николаевича Карамзина, который после нескольких лет светской жизни в Москве и Петербурге принимает характерное решение: «Как ни весело... проводил он время, но понемногу настоящая духовная жизнь в нем пробудилась. Истинный сын своего отца, столь высокого патриота, проникнутого такой живой любовью к России и народу русскому, Александр Николаевич через несколько лет, когда ему минуло 24 года, стал все менее удовлетворяться и службой и окружением и сказал родителям, что вести долгие свой образ жизни положительно не может. Желанье его было бы получить от них одно из их имений и ехать управлять им и жить в деревне, где, казалось ему, присутствие помещика должно быть особенно полезно. Через несколько времени, удивившись в серьезности его намерений и вообще взглядов на жизнь, родители решили отделить ему большое имение Макаелем Ардатовского и Арзамасского уездов Нижегородской губернии». Таким образом, перед нами начало еще одного «романа русского помещика», с совершенно другим, однако, сюжетом. «Поселился молодой помещик в двух беленых избах, соединенных сенями. Там он и принялся за самую кипучую деятельность. Однако не управление имением легло в основу ее да так и осталось на всю жизнь» (принципиальное отличие и от «Письма сельского жителя»). А. Н. Карамзин построил больницу (в каждом из трех сел) и школу. Отношение крестьян к больнице и школе сильно отличалось от того, что описано Толстым. «В каждом селе на задворках было устроено по большой избе вдоль стен ее и с печью со вделанным в нее большим котлом для горячей воды. По выбору доктора несколько подходящих женщин были посланы в Нижний, для обучения там в несколько месяцев основным знаниям повивального искусства. Вскоре крестьянки сами стали приходить в эти избы...» и т. д. Вскоре в Макаелеме появляется молодая хозяйка. «Увлеченная деятельностью мужа, она всецело вошла в нее». «Большинство соседей не любили Карамзина, считая его опасным либералом». Во время Севастопольской кампании были сделаны необходимые пожертвования, вызвавшие кризис в Макаелеме, т. к. не доходы были целью хозяев имения. А. Н. Карамзин сам вступил в ополчение, не соглашаясь отстать от него в патриотическом порыве, поступила в сестры милосердия его жена. Мемуаристка вспоминала, что с середины шестидесятых годов она стала часто бывать в Макаелеме, который она считала образцом истинно христианской жизни. «Опрощения, которое появилось тогда в известных кругах русской интеллигенции, не было никакого, хотя дядя стал носить везде русское платье, т. е. синюю шелковую, а летом белую вышитую красным рубашку-косоворотку, подпоясанную шелковым шнурком, черные суконные шаровары, мягкие сапоги и тонкого сукна, недлинный, русского покроя кафтан, а летом — такой же, но белый. ...Мужская и женская прислуга в Макаелеме также носила русское платье, но отношение всех к хозяевам было самое почтительное, даже любовное. ...Каждый был при своем деле, охотно исполняя его, причем все реша-

лось сообща между хозяевами и служащими. Хозяева распоряжались, объясняя, как поступить, но без мысли о том, чтобы именно их воля была исполнена. Всякий мог возразить и высказать свой взгляд, если ему казалось возможным лучше устроить дело, и очень легко они приходили к общему согласию, так как самолюбие ни в ком не было затронуто. Опекаемые же — как больные, дети в приютах, так и старики в богадельнях, столько видели сердечной заботы о них, что примирились со своими испытаниями.

Это казалось идиллией, но вместе с тем при таких простых, естественных между всеми отношениях чувствовалось — нет, это не идиллия, — это истинная христианская жизнь, такая, какой она должна быть среди всех христиан.

Бросая общий взгляд на жизнь Карамзиных в Макателеме, нельзя не обратить внимания на то, что у них не было детей. Будь они многодетными, возможно, они бы не решились поступиться всеми доходами, а в конце концов и почти всем своим состоянием на пользу окружающего их народа. Но Александр Николаевич, можно сказать, не походил на обыденных людей. В таких еще молодых годах, окруженный тем, что особенно ценится большинством людей, т. е. пользуясь большим успехом в свете, особенно положением из-за дружбы с наследником, цесаревичем, имея впереди, без сомненья, блестящую служебную карьеру, пользуясь хорошими средствами и окруженный даже сравнительной роскошью, — все это он, не задумавшись, бросил, когда совесть подсказала ему о другой, более отрадной душе его деятельности.

В самой простой обстановке повел он новую, избранную им жизнь, но это была жизнь среди народа, столь нуждающегося в просвещении и в попечении о больных и во всякой заботе о нем...» (См.: Ребиндер Б. А. Про Макателем — имение Карамзиных. Записки эмигранта // Памятники отечества. — 1989. № 2. С. 94—99).

²² Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 203.

²³ Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 260.

²⁴ Энциклопедия литературных героев. Русская литература второй половины XIX века. М., 1997. С. 539—540.

²⁵ Лотман Ю. М. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. С. 532.

²⁶ Аннинский Л. А. Купоны и купюры // Яснополянский сборник 2000. Тула, 2000. С. 103.

²⁷ Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 185.

Чарльз Эпштейн

ТОЛСТОЙ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ЧТЕНИИ ДИККЕНСА

Перевод с английского
С. А. Макуренковой

Всю жизнь Толстой высоко ценил Чарльза Диккенса, отдавая должное его исключительной способности вдохнуть жизнь в самое незначительное описание. Диккенс занимал особое место в литературном пантеоне Толстого: большой портрет писателя висел на стене в яснополянском кабинете, Толстой так отзывался в одном из писем: «Я думаю, что Чарльз Диккенс крупнейший писатель-романист XIX столетия и что его книги, проникнутые истинно христианским духом, принесли и будут продолжать приносить очень много добра человечеству» (75, 24). Известно, что Толстой видел Диккенса, когда, находясь в Лондоне во время второго заграничного путешествия, посетил его «лекцию о воспитании». Познакомиться не решился — из скромности и оттого, что не был уверен в своем разговорном английском.

Прежде чем обратиться к впечатлению Толстого, необходимо установить, что служит предметом спора: что это была за «лекция». Э. Н. Уилсон полагает, что 12 марта 1861 г. Толстой отправился в Сент-Дихеймс Холл на Пиккадили, чтобы услышать, как Диккенс читает одну из «Рождественских повестей». Первый биограф Толстого Бирюков, отмечает Уилсон, утверждал, будто писатель вспоминал, как однажды слышал «в большой зале» «лекцию о воспитании», прочитанную самим Диккенсом. Уилсон делает два предположения: слабое знание английского языка привело к тому, что за лекцию по воспитанию Толстой принял отрывок из «Рождественских повестей» (широко рекламируемое чтение которого по времени совпадало с его пребыванием в Англии); или же сам биограф, зная про обоюдный интерес Толстого и Диккенса к педагогике, нашел этому свое объяснение (первому умозаключению, однако, Уилсон отказывает в достаточной серьезности, полагая, что это маловероятно)¹.

В свою очередь Виктор Лукач выдвигает более обоснованное суждение. Он утверждает, что в документах Диккенсовского общества нет сведений о том, что писатель когда-нибудь читал лекции на темы образования. Однако весной 1861 г. он шесть раз выступал с публичными чтениями отрывков из собственных произведений. 12 марта,

во вторник, в газете «Таймс» было единственный раз напечатано уведомление о том, что чтение состоится в следующий четверг. Лукач не допускает, чтобы Диккенс мог выступать в какой-нибудь «большой зале» с неофициальной лекцией по образованию и это осталось бы не зарегистрировано². Известно, что яснополянский летописец Д. П. Маковицкий и П. А. Сергеенко зафиксировали 8 и 9 февраля 1905 г. воспоминание Толстого об «одном литературном чтении»³ и чтение «о воспитании»⁴.

Из шести публичных выступлений, которые по времени совпадают с пребыванием Толстого, наиболее вероятным представляется, что он слышал «Историю малыша Поля» из романа «Домби и сын». Диккенс несколько глав посвящает пребыванию юного Поля Домби в пансионе. Обучение в этом заведении, подробно описанное Диккенсом, во многом напоминает то, против чего позже живо возражал Толстой в своих статьях на педагогические темы. Это подтверждает предположение Лукача о том, что, возможно, «лекция», о которой позже вспоминал Толстой, была публичным чтением этих глав. Учитывая его знакомство с романом (увлечение этим произведением буквально захватило Россию незадолго до того, в 1847 г.), а также интерес к проблемам образования, пребывание Толстого в Лондоне входило в его поездку по Европе с целью изучения европейской системы образования. Он знакомился с опытом Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии, подробно записывая свои наблюдения. Во время пребывания в Лондоне он посетил несколько публичных школ.

Можно допустить, что Толстой слушал отрывок романа с неподдельным интересом, обращая особое внимание на те места, где в художественно-обобщенной форме подробно представлен опыт Диккенса.

Сравнительный анализ отрывков из романа «Домби и сын» с педагогическими статьями Толстого убеждает, что услышанное было серьезно пережито и осмыслено.

По словам миссис Пипчин, пансион для «юных джентльменов» доктора Блимбера был тем заведением, где «с утра до ночи занимаются только учением» (Диккенс, 176)⁵. Автор сравнивает его с умственной «теплицей, где постоянно работал форсирующий аппарат. Все мальчики расцветали преждевременно» (Диккенс, 178). Усилия Блимбера сравниваются с искусственно осуществляемой вегетацией: «Природа не имела ровно никакого значения» (Диккенс, 178). Школа — вечная усыпальница, где хранятся «мертвые языки» (Диккенс, 180). Глава изобилует образами смерти и неестественного форсируемого роста.

Гнетущая убогая обстановка, описание которой звучит у Диккенса как скрытое обвинение, весьма близка тому, о чем говорит Толстой в статье «Воспитание и образование», где он развивает две глубокие

и диаметрально противоположные друг другу идеи: «Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными» (8, 215). Согласно Толстому, «предметом педагогики должно и может быть только образование... [которое] составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения» (8, 214–215). В свою очередь, воспитание представляет собой противоестественный процесс, когда воспитываемого отрывают от веры и привычек родителей с тем, чтобы воссоздать по образу воспитателя. В качестве примера подобного рода заведений Толстой ссылается на пансионы и университеты, описывая разрушительные последствия такого рода воздействия. Только семья, религия и государственная служба являются, по мнению Толстого, «законным и разумным основанием» (8, 220) для воспитания, ибо играют необходимую роль в сохранении традиции и поддержке специальных ремесел, нужных для обеспечения социального порядка.

Описание достойной атмосферы, с которой у Толстого ассоциируется «воспитание», легко подошло бы к «умственной теплице» доктора Блимбера: «Ребенок, неподвижно обязанный сидеть шесть часов за книгой, выучивая в целый день то, что он может выучить в полчаса, искусственно приучается к самой полной и зловредной праздности» (8, 224). Художественной иллюстрацией того, что получается при таком воспитании, вполне мог бы послужить диккенсовский мистер Тутс. Годы бессмысленной зубрежки и муштры сделали старшего из воспитанников доктора Блимбера похожим на слабоумного. Он удивляется, когда Поль говорит ему, что «думает об очень многом» (Диккенс, 210), ибо сам Тутс уже не способен мыслить независимо и проводит время в бесплодных мечтаниях.

Когда доктору Блимберу представляют юного Поля, тот риторически вопрошает мистера Домби: «Сделаем из него мужчину?» (Диккенс, 183). В представлении Блимбера обучение и наставление* неразрывно связано с нравственным воспитанием (*inculcation*), против чего Толстой возражает больше, чем против обязательного образования. Он считает, что школа имеет одну цель — «передачу сведений, знания, <...> не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований и характера; цель ее должна быть одна — наука,

* Толстой определяет обучение как передачу физических навыков (например, пение, плотничество, чтение и т. д.), тогда как наставление связано с передачей знаний.

а не результаты ее влияния на человеческую личность» (8, 243). Толстой проповедует невмешательство в формирование верований и убеждений образующегося. Он полагает, что человеку должно быть доступно получение того знания, которое ему нужно. Что касается нравственной стороны, то независимо, интуитивно и неизбежно человек всегда придет к истине.

Ответ Поля на риторический вопрос доктора Блимбера кратко передает суть педагогических воззрений и Толстого: «Я больше хотел бы остаться ребенком», — ответил Поль (Диккенс, 183). Как замечает Э. Н. Уилсон, «Диккенс наследовал у Руссо идею врожденной невинности. Жестокость взрослых развращает»⁶. Педагогические статьи Толстого несут печать этой теории, особенно в том, что касается неприятия любого вмешательства в душевную жизнь ребенка при передаче образования. Отзвук идей Руссо явно слышится у Толстого в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»: «Человек рождается совершенным... Большой частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии» (8, 322). Для того чтобы сохранить эту гармонию и усилить способность к восприятию красоты, правды и добра, развитие ребенка нельзя ни умерять, ни подталкивать. «И потому, по моему убеждению, нам нельзя учить писать и сочинять, в особенности поэтически сочинять, вообще детей и в особенности крестьянских. Все, что мы можем сделать, это научить их, как братья за сочинительство» (8, 323).

И Диккенс и Толстой глубоко едины в своих воззрениях на вопросы подавления и морального принуждения. Позиция Толстого опирается на ряд ключевых положений, которые могут быть сформированы в контексте широко понимаемой проблемы «воспитания» и «образования», оставшихся, с его точки зрения, недостаточно освещенными или художественно разработанными у Диккенса.

Хотя Диккенс подробно и тщательно живописует гнетущую атмосферу системы принудительного образования, он уделяет недостаточно, по крайней мере с точки зрения Толстого, внимания описанию программы нравственного принуждения. Построенная на подавлении система опирается на дисциплину морального долженствования, в то время как ни доктор Блимбер, ни миссис Блимбер, ни Корнелия не отличаются тем, что Толстой насмешливо называет «развитием характера». В романе есть сцены наказаний, которыми караются отдельные поступки (именно из этих опасений в сцене за обедом ученик несколько секунд корчится в судорогах, только бы не прервать болтовню доктора Блимбера), весьма серьезно и многозначительно говорится о «манерах» джентльменов, их «наклонностях», «характере» и «поведении» (как

в сцене, где Корнелия «аттестует» Домби), но школа не располагает реальной системой морального воспитания. Возможно, Толстой легко примирился бы с такой «ценностно-нейтральной» программой, ибо твердо верил, что характер развивается естественно и не требует вмешательства. Диккенс, как явствует из его уже упоминавшегося увлечения Руссо и часто повторяемых сентенций о разлагающем влиянии взрослых, также весьма возражал против нравственного подавления. Замечание Толстого, скорее всего, носило эстетический характер, ибо Диккенсу не удалось достаточно полно и художественно убедительно выразить драматизм подобного рода ситуаций.

Возможно, Толстого не удовлетворяло то, как представлено развитие (если таковое вообще имелось) характера Домби под влиянием «образования». В начале пребывания в пансионе он представлен странным, старческим, сосредоточенным, «и в условиях, столь благоприятствующих развитию этих наклонностей, стал еще более странным, старообразным и сосредоточенным» (Диккенс, 209). Несмотря на замкнутое существование, «одиноким ребенком жил» (Диккенс, 209). В этом же духе «аттестует» его Корнелия, сожалевшая об «исключительности» и консервативности его характера, невосприимчивости к изменениям (т. е. к ее влиянию). Мысль Диккенса отчетливо проступает в словах Корнелии, что известие об «исключительности» принесет человеку такого положения и темперамента, как мистер Домби, одно огорчение. Однако Диккенс рассматривает соответствие как цель образования. Толстой разделял этот взгляд, считая, что образование служит установлению соответствия, но не с обществом в целом или средой, из которой вышел образовывающийся. Он, без сомнения, поддержал бы характеристику, данную Диккенсом доктору Блимберу, который смотрел на своих воспитанников, «как будто они были маленькими докторами» по его образу и подобию (Диккенс, 208). Толстой утверждает, что ученик волен воспринимать влияние учителя, только исходя из личных заслуг последнего. Он считает, что образование отделяет человека от верований и привычек его среды. Поскольку Диккенс непосредственно не затрагивает этой проблемы, Толстой, наверное, оценил иронию, с которой изображено привилегированное положение Поля, столь не соответствующее замкнутой, одинокой натуре.

Статья «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» посвящена основному принципу «органичности». Достижение «безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра» (8, 322) представлялось Толстому наиглавнейшим, особенно в процессе образования. В статье утверждается, что каждый свободен получить образование без всякого принуждения. Ученику на-

до дать средства и сведения, с тем чтобы в ситуации, далекой от подавления, способствовать его развитию, исходя исключительно из его возможностей и потребностей. В свою очередь, предоставленную ему, единственному из учеников, свободу мистер Тутс использует на то, что занимается смешным и бессмысленным делом — пишет сам себе письма. Свобода Тутса наталкивается на удушливую атмосферу умственного рабства. Несмотря на возможности, воля Тутса подавлена годами интеллектуальной муштры и принуждения, а потому никакая свобода не может раскрепостить его. С точки зрения Толстого, этот образ давал возможность изобразить преимущества образования без принуждения, которая, к сожалению, не была использована Диккенсом.

Взгляды Диккенса и Толстого совпадали по основным вопросам современных им систем образования. При близости позиции и том высоком положении, какое отводил Толстой Диккенсу, чувство, которое он, скорее всего, испытал, можно назвать разочарованием или огорчением, но не принципиальным несогласием или неприятием. Сложилась парадоксальная ситуация: сходство взглядов усилило восприятие отдельных упущений Диккенса, придав им оттенок безнадежно неиспользованных возможностей.

¹ Wilson, A. N. Tolstoy, New York: W. W. Norton and C°, 1988.

² Lucas, Victor. Tolstoy in London. London: Evans, 1979.

³ ЛН. Т. 37–38. С. 557.

⁴ ЯЗ. Кн. 1. С. 168.

⁵ Здесь и далее цитаты приводятся по изд.: Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 8.

⁶ Указ. соч. С. 87.

Н. Г. Михновец

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОВЕСТЬ ДИККЕНСА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЦЕПЦИИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

«Рожественская песнь в прозе» Ч. Диккенса привлекла особое внимание Л. Толстого. В английском варианте его книги «Что такое искусство?»¹ (1897—1898) она указана в перечне «образцов высшего искусства». Толстой без колебаний разрешил включить ее в ответ на просьбу переводчика. Он написал в ноябре 1897 года из Ясной Поляны Э. Мооду: «Разумеется: Christmas Carol и Scrooge» (70, 197). В краткой фразе Толстого объединены название произведения Диккенса («A Christmas Carol in prose») и фамилия главного героя (Scrooge). В русском тексте трактата Толстого это произведение не упоминалось. Однако это не дает нам основания предположить, что рождественское произведение Диккенса иначе оценивалось Толстым в случае русского читателя. Напротив, повесть Диккенса была напечатана в «Посреднике» уже в первое время его работы. Напомним: книгоиздательство «Посредник» создано В. Г. Чертковым при активном содействии Л. Толстого в конце 1884 года².

Первое переложение повести Диккенса для «Посредника» под названием «Рождественская сказка» было сделано А. А. Рутцен, о чем она известила Черткова в письме от 23 марта 1886 года (85, 341). Ее рукопись Л. Толстой получил в апреле того же года (85, 336), вскоре положительно о ней отозвался (85, 343). Переложение было издано в 1887 году. Для «Посредника» был сделан и перевод рождественской повести М. А. Стаховичем, однако его рукопись, как отмечено в комментариях Полного собрания сочинений Л. Толстого, не была переслана Черткову, так как уже издавалась «Рождественская сказка» в переложении А. А. Рутцен (85, 378). В «Посреднике» же в 1896 году появилось еще одно — теперь уже полное, близкое к оригиналу — изложение повести Диккенса под названием «Страшные видения, или Воскресшая душа» (85, 288), предпринятое графиней В. С. Толстой³. Переложение графини В. С. Толстой под названием «Тень Марлея» годом раньше было опубликовано в Москве в сборнике рассказов и сказаний «Рождественская звезда», составленном И. Горбуновым-Посадовым. Повесть Диккенса под разными названиями неоднократно переводилась и издавалась в России с 1843 по 1917 год, при этом

в истории изданий и переизданий именно «Посредником» был установлен своего рода рекорд: «Рождественская сказка» в переложении А. А. Рутцен выдержала девять переизданий (с 1887 по 1911 год).

К сожалению, сведениями о времени знакомства Л. Толстого с рождественской повестью Диккенса мы не располагаем. Вместе с тем отдельные наблюдения (они будут приведены ниже) свидетельствуют о прочтении Толстым «Рождественской песни в прозе» еще в ранний период его творчества.

Дадим вкратце историю бытования повести Диккенса в России. «„Рождественская песнь в прозе“ Святочный рассказ с привидениями» (1843) — первое произведение из цикла рождественских повестей (1843—1848). Два первых перевода этой повести были напечатаны в России в 1844 году под названиями: «Святочные видения», «Светлое Христово Воскресенье». Эти переводы предопределили судьбу диккенсовской повести на русской почве: она существовала в двух вариантах — рождественском (святочном, новогоднем) и пасхальном. Две темы стали наиболее устойчивыми в литературных откликах на повесть — это, во-первых, тема душевного преображения героя и, во-вторых, тема детских страданий (социальная обездоленность, смертельная болезнь маленького ребенка).

Сначала обратимся к первой «составляющей» в освоении английского произведения на почве русской словесности — к развитию темы нравственных изменений человека. Среди произведений, литературный контекст которых включает в себя «Рождественскую песнь в прозе», особым решением этой проблемы, с нашей точки зрения, выделяются «Двойник», «Господин Прохарчин», «Кроткая» Ф. Достоевского, «Смерть Ивана Ильича», «Крейцеров соната» Л. Толстого, «Рождественская ночь» Д. Григоровича, «Дама с собачкой» А. Чехова⁴. Свое внимание сосредоточим на «Смерти Ивана Ильича», определим специфику рецепции Толстого.

* * *

Сюжет повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в прозе», как уже отмечено Т. А. Боборыкиной, имеет два плана: *реальный* — раскрывающий постепенную, свершавшуюся на протяжении всей жизни деградацию героя, завершающуюся безотрадными картинами его последних дней жизни, и *сказочный* — дающий картины его чудесного душевного преображения⁵. Два этих плана сюжета — реальный и сказочный — *противоречат* друг другу (прозрение невозможно — прозрение происходит). Это противоречие углубляется отсутствием в повести развернутой мотивировки нравственного преображения ге-

роя. Однако в повести есть особая авторская позиция, она — без элемента морализаторства, — не отменяя, уравнивает два эти полюса. Г. К. Честертон справедливо полагал: «Не так уж важно, правдоподобно ли его (Скруджа. — Н. М.) раскаяние, — прелесть и благодать повести не в сюжете. Очаг истинной радости освещает и согревает всех героев, и очаг этот — сердце Диккенса»⁶.

Такая подвижная смысловая структура произведения Диккенса в аспекте проблемы нравственной метаморфозы героя породила на русской почве несколько вариантов освоения.

Тема нравственного прозрения стала предметом осмысления критиков. Показательно, что одна из первых критических рецензий на повесть Ч. Диккенса, написанная в 1845 году, отрицательная. Рецензент объявляет произведение «безнравственным», поскольку из него следует, что «человек изменяется к лучшему не вследствие каких-либо важных начал, определивших его жизнь, а случайным образом, по поводу явления духов или устрешенный ночными грезами»⁷. Так же скептически осмысляется нравственное преображение героя Диккенса в многочисленных художественных откликах на «Рождественскую песнь в прозе»⁸. Эта тенденция сохраняется вплоть до начала XX века («Учитель» Бунина)⁹.

Однако сложилась и другая тенденция: в ряде художественных рецепций диккенсовской повести тема нравственного преображения человека обрела проблемное заострение. Особое место здесь занимает Ф. М. Достоевский. В художественной системе его «Господина Прохарчина» (1846), например, на равных сосуществовали два смысловых потенциала: мгновенное пробуждение совести состоялось — коренных душевных изменений в герое не произошло. В повести «Кроткая» (1876) закладчик, с одной стороны, приходит к истине, ему приоткрывается мир ценностей Кроткой, в процессе познания этого мира рождается его «оживотворенное» слово, с другой стороны, ожидаемое читателем чудо воскресения героя так и не свершилось.

Вместе с тем с самого начала появились отклики, где отсутствовал скепсис в связи с нравственным выздоровлением героя. Первый из них — рассказ Д. Григоровича «Рождественская ночь» (1855). Эту тенденцию поддерживает и повесть «Смерть Ивана Ильича» (1886). Л. Толстой близок Диккенсу в разработке магистральной в его повести темы нравственного прозрения. Однако есть и существенные отличия: в «Смерти Ивана Ильича» (как, впрочем, и в «Рождественской ночи») отсутствует сама возможность вариативности на тему изменения главного героя: нравственное преображение Ивана Ильича происходит. В массовой литературе 1890–1900-х годов появился ряд переработок, где авторы стремились к определенности, однозначности:

Скрудж обязательно нравственно изменялся. Маленький Тим чаще всего оставался жить, так сказывалась тенденция упрощения поднятых Диккенсом проблем.

В контексте всех перечисленных произведений «Смерть Ивана Ильича» занимает особое место. Толстовская повесть только на первый взгляд следовала истории английского писателя о погибшей и воскресшей душе, по существу же в ней коренным образом пересматривались представления о положении человека в современном мире.

В исследовательской литературе не случайно не указана связь повестей Диккенса и Толстого: рождественская тематика в «Смерти Ивана Ильича» отсутствует вовсе. К соотносению рождественского произведения Ч. Диккенса и поздней повести Л. Толстого автора этих строк подтолкнула статья американской исследовательницы К. Партэ «Метаморфоза смерти у Л. Н. Толстого»¹⁰. В этой статье к несомненной удаче Толстого отнесена специфика включения в реалистическую повесть сверхъестественного (появление таинственного безымянного призрака «она» — «боли» и «смерти» по контексту).

Напомним еще раз, что Толстой читал русское переложение Диккенса как раз в то время, когда заканчивал свою повесть. Появились поразительно близкие описания. У Диккенса Скруджу почудилось, что «Невидимый Взор» Призрака будущих святок «*пронизывает его насквозь*. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь *леденеет* у него в жилах»¹¹. У Толстого: «...и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел» (26, 94), она приходила, «чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился» (там же), «она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее» (там же), «и она явственно смотрит на него из-за цветов» (26, 95); «с глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть» (там же).

Сцена разговора Скруджа и призрака Марли в рождественской повести Диккенса важнейшая. Именно эта сцена привлекла внимание Ф. М. Достоевского (она нашла отражение в сценах трех встреч Раскольникова со Свидригайловым в «Преступлении и наказании», в сцене беседы Ивана Карамазова с чертом в «Братьях Карамазовых»), в повести Д. В. Григоровича «Рождественская ночь». Картина мира нарисована английским писателем в рамках теодицеи: за пределами земной жизни грешную душу ожидают муки. Художественные рецепции Достоевского, Григоровича так или иначе опираются на эту картину мира. Так, Свидригайлов делает выпад по отношению к подобной логике, представляя Раскольникову вечность вроде деревенской бани с пауками. Мысль Свидригайлова рождается в пространстве вне Образа.

Толстой по отношению к рождественскому произведению Диккенса дает совершенно иную картину мира, она располагается в других координатах: «„Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. <...> Да. Зачем обманывать себя? <...> То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?“ Его обдало холодом, дыхание остановилось» (26, 91). Обратим внимание на ряд смыслообразующих оппозиций: «жизнь» — «смерть», «свет» — «мрак», дважды повторенное «то» — «теперь», «здесь» — «туда». Неопределенное «туда», где более нет отдельного, индивидуального «я», страшит героя: «...туда! Куда?» Перед героем неотступно стоит вопрос: «Так где же я буду, когда меня не будет?» (там же). У Диккенса страх героя перед загробными муками — первотолчок в истории его душевного преобразования. Раздумья толстовского героя вне мыслей о загробной жизни, о мытарствах грешной души. К. Партэ точно отметила: «У Ивана Ильича нет четкого представления, „куда“ он уходит, и, думая об этом, он не оперирует понятиями ада и рая. Он, скорее, боится „пустоты“ впереди, его *страшит конец существования*»¹². В рамках индивидуалистического сознания толстовского героя возникает неразрешимое противоречие: Я — Смерть.

Коренное отличие картин мира у Диккенса и Толстого объясняет разность предметов переоценки со стороны героев, несходство векторов дальнейшего пути. Эта разность, впрочем, не отменила значимость опыта Диккенса для Толстого в раскрытии истории душевных изменений. Начнем с последнего.

У Диккенса бытие героя разделено на значимые в его жизни периоды. Жизнь героя Толстого столь же отчетливо поделена (начиная с черновых вариантов) на ряд этапов: «Женитьба Ивана Ильича была *первый акт жизни*, суживающий первый размах» (26, 511, курсив мой. — Н. М.), «Это была *первая тяжелая пора жизни* Ивана Ильича, но он сумел найти» (26, 511, курсив мой. — Н. М.). В «Смерти Ивана Ильича» от одного жизненного этапа к другому, как и у Диккенса, прослеживается история падения души.

У Диккенса деление жизни героя на периоды сопровождается введением темы двойника. Скрудж — ребенок, а затем — юноша, молодой человек, существующий в другом пространственно-временном измерении по отношению к старику Скруджу, назван двойником: «Дух толкнул его за плечо и указал на его двойника — погруженного в чтение ребенка»; «И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату...» (Д. 12, 35, 39). Между двойниками, при их нераздельности, существует значительная разница. У Толстого срабатывает та же логика. Вот Иван Ильич в поисках ответа на вопрос, что вкладывается голосом души в понятие

«жизнь», обращается к воспоминаниям. Действительно приятное он находит только в детстве. «Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом» (26, 106, курсив мой. — Н. М.). Эта традиция найдет свое выражение и в романе «Воскресение»: «Все время этот я спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28-го апреля, в суде, где я был присяжным» (32, 129).

Диккенс выделяет разность душевных состояний в то или иное время жизни героя, и это позволяет художнику выявить, обнаружить характер и динамику происходящих в герое перемен в сам момент «схождения» в его душе прошлого и настоящего, настоящего и будущего. Скрудж, перемещенный чудесным образом в прошлое, мгновенно включается в прежнее свое состояние, в мир своих чувств, он испытывает «умиление», увидев своих детских друзей, и стыд перед своим настоящим. И он же пытается увернуться от просыпающегося в нем нравственного чувства. От одной картины детства и юности к другой свет в глазах Скруджа все больше разгорается, одновременно с этим разгорается и «сноп света у Духа над головой». Однако Скрудж пытается защититься от этого огня: он «схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову. <...> Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю» (Д. 12, 47). Автор последовательно — от одного впечатления героя к другому — проводит тему душевного изменения. Толстой внимает подобному опыту. От главы к главе читатель Толстого прослеживает расширение и обновление нравственного опыта своего героя. В повести «Смерть Ивана Ильича» прошлое и настоящее сходятся в сознании героя, и происходит коренная переоценка всего прожитого. Иван Ильич «теперешний» — есть «результат» прожитой после детства жизни, и потому лучшие минуты этой (вне детства) жизни на глазах умирающего человека превращаются «во что-то ничтожное и часто гадкое» (там же). Любые случайные впечатления подводят умирающего к мысли, что он «жил не так, как надо». Однако на этом близость двух произведений заканчивается.

Существенная разница между ними, как мы уже заметили, определена предметом переоценки. Скрудж критически пересматривает весь свой пройденный в жизни путь. Его отказ в юности от любимой девушки предстает в повести как основная причина последующих перемен. По мере накопления капитала Скрудж отчуждался от людей, однако его прозрение обусловило *возвращение* к миру людей, к общим ценностям. Эти ценности для всех героев повести неоспоримы, ибо определены событием Рождества Христова. Рождество в Англии, как и вообще

на Западе, — это особенно радостный праздник. Английское Рождество — веселый семейный праздник. «Это время восстановления дружественных и семейных связей, прервавшихся в течение года»¹³.

У Толстого совершенно иное видение проблемы любви и семьи. Он выдвигает контртезис: в «Смерти Ивана Ильича» от черновых вариантов до окончательного текста женитьба героя предстает как одна из вех в истории падения («...а вместо поэзии очага иметь ворчливость, привередливость, укоризны» (26, 511, курсив мой. — Н. М.). В «Рождественской песне в прозе» смерть Маленького Тима скрепляет семью Крэтчитов, упрочивает душевное единство этой семьи. В «Смерти Ивана Ильича» имеет место своего рода «перевертыш» по отношению к сцене у Крэтчитов. В черновиках толстовской повести читаем: «Умер сын. Жена говорила, что от климата, что он виноват во всем» (26, 512); в окончательном тексте — «Кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича» (26, 75, курсив мой. — Н. М.). В финальной сцене Иван Ильич не передает обретенного знания своему сыну. Но добро пробуждается. В последней сцене Ивану Ильичу стало «жалко» сына, жену. Он обращает к жене свою просьбу о прощении: Иван Ильич «хотел сказать еще „прости“, но сказал „пропусти“» (26, 113). Он не возвращается, а уходит из мира семьи и окружающих его людей в жизнь вневременную и внепространственную.

Путь толстовского героя — не исключение из правила, а, напротив, — подтверждение. Герой Толстого уверен в своей уникальности, неповторимости, «особенности» (вспомним монолог о Кае), вместе с тем у взрослого Ивана Ильича очень мало индивидуального, его жизненный путь такой же «законный и правильный», как у всех остальных чиновников. Иван Ильич не совершил индивидуальной ошибки, не выбрал, в отличие от Скруджа, в одиночку ложный путь жизни. В этой ситуации переоценке подвергается личный и одновременно общий жизненный опыт, общая система ценностей¹⁴. «И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было. <...> Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть» (курсив мой. — Н. М.) (26, 110). Жизнь всех, а не его одного оказывается обманом! Но в этом случае Ивану Ильичу действительно не ясно, в чем же его собственная вина, почему ему одному испытывать такие предсмертные муки. Скрудж Диккенса несет ответственность за свой индивидуальный ложный путь, Иван Ильич — за ложность общих ценностей.

В литературном контексте «Смерти Ивана Ильича» важное место занимает «Бригадир» (1833) В. Ф. Одоевского¹⁵. Тема ложности общих ценностей, тема мертвой жизни людей, картина отчаяния в одиночку прозревшего перед смертью человека разрабатываются Толстым с учетом опыта Одоевского. Диккенсовская картина мира не принята Толстым. Отсылка же к рассказу «Бригадир», опора на него свидетельствует об убедительности для Толстого такого именно видения жизни людей господского круга.

Однако, в отличие от В. Ф. Одоевского, у Толстого иной масштаб обобщения. В «Смерти Ивана Ильича» предстает особый момент в исторической картине человеческого бытия: на смену временам Кая — «вообще человека» — пришел «не Кай и не вообще человек», а «совсем, совсем особенное от всех других существо» (26, 93). Иван Ильич размышляет о смерти так, словно до него (кроме Кая из учебника логики) никто не умирал: «Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем» (там же). И дело только в том, что Ивану Ильичу среди всех его сослуживцев — не Каев — выпало умереть первому случайно. В одном из писем Толстого Л. Е. Оболенскому читаем: «Мой брат смеясь говорит мне, прочтя одну критику на Ивана Ильича. „Тебя хвалят за то, что ты открыл то, что люди умирают. Точно никто не знал этого без тебя“» (63, 357). Критика была права. Толстой именно «открыл», открыл первую страницу в истории «не Каев» и указал на трагическое для них противоречие («Я — Смерть»). «Не Кай» («существо») так же смертен, как Кай — человек, однако при этом «особенное существо», живущее по общему закону, еще в земной жизни не имеет никакой опоры перед неизбежно встающими перед ним вопросами Бытия. Отвечать же ему выпадает одному и за всех. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича, — читаем в начале повести, — была самая простая и обыкновенная и самая ужасная» (26, 68, курсив мой — Н. М.). Действительность, в которую погружены все «не Каи» (Иваны и Ивановичи толстовской повести), — не есть жизнь, это смерть.

Вместе с тем собственно жизнь у Толстого, как и у его литературных предшественников, не отрицается. Перед юношей-рассказчиком «Бригадира» открывается перспектива живой жизни. Жизнь героев Диккенса опирается на непререкаемые нравственные основания, герой Толстого находится в поиске таких оснований. Умиравшему Ивану Ильичу открывается ценность другого существования — жизни простого мужика Герасима («Один только Герасим понимал это положение и жалел его» — 26, 98). Утверждение особой ценности детства

в жизни человека вновь сближает «Рождественскую песнь в прозе» и «Смерть Ивана Ильича». Единственная неоспоримая в жизни самого Ивана Ильича ценность — его детство: «Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее» (26, 109). В представлении Ивана Ильича связь с детством им безвозвратно утрачена. Однако это не так: последние дни жизни он «жил только воображением в прошедшем. <...> Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось» (26, 108). Герой хотел бы уйти от воспоминаний детства: это «слишком больно». И не может сделать этого. На чем бы ни остановился взгляд, все напоминает о детстве: пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна — о ссоре в детстве, о наказании и пирожках, которые «принесла мама», во всем, что окружает героя, неожиданно обнаруживается его связь с детством. С момента освобождения Ивана Ильича от ложного — по отношению к жизни простого мужика Герасима и к детству — пути начинается Жизнь. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше» (26, 113).

Мощь толстовской художественной мысли рождалась в динамичном процессе осмысления и переосмысления других художественных опытов. В орбиту этого процесса в «Смерти Ивана Ильича» входили тексты, разные по своей роли, значимости для художественного целого: локальные, замкнутые в пределах одной сцены («Адриенна Лекуврер» Э. Скриба, мотивы поздней лирики А. Фета), сквозные («Бригадир» В. Одоевского, «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса). Перечень текстов может быть пополнен пытливыми читателями, однако процесс этот будет отчасти затруднен. Этому есть объяснение: Толстому, по всей вероятности, не было свойственно пристальное — сродни изучению — чтение «чужого» текста, что у некоторых писателей (например, у Достоевского) предопределяло долговременную память на чужой сюжет, мотивы и др., а в тексте — разного рода цитации. Не случайно поэтому литературные связи в произведениях Толстого, не менее остро откликавшегося на «голоса эпохи», на реминисцентном уровне не всегда улавливаются читателями, не всегда фиксируются исследователями его творчества.

* * *

Теперь обратимся ко второй «составляющей» в освоении английского произведения на почве русской словесности — к развитию темы детских страданий. В «Рождественской песне в прозе» Ч. Диккенса сцена в семье Крэтчитов, переживающих смерть Тима, важнейшая. Все организующей смысловой доминантой в этой сцене является евангель-

ская цитата. Старший сын Крэтчита читает младшим сестрам, брату и матери Евангелие: «И взяв дитя, поставил его посреди них» (Д. 12, 86). В Евангелии от Матфея сказано: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; <...> И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 1–5). Образ Тима (у ребенка болит нога, он не ходит сам) изначально связан с темой памяти о Спасителе. Мальчик за год до смерти рассуждает, возвращаясь с отцом из храма: «Хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромы ходить и слепых сделал зрячими» (Д. 12, 58). С Бобом Крэтчитом, отцом семейства, связана тема живой длящейся памяти. Он, словно учитывая опыт жизненного пути Скруджа, призывает своих детей по смерти Тима и накануне первой разлуки помнить о нем, на всю дальнейшую жизнь «посреди них» ставит «дитя». Приведем полностью сцену речи Боба: «... когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.

— Никогда, отец! — воскликнули все в один голос.

— И я знаю, — продолжал Боб, — я знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не будем ссориться — ведь это значило бы действительно забыть его!

— Никогда, никогда, отец! — снова последовал дружный ответ» (Д. 12, 89). Надо сказать, что именно эта сцена в семействе Крэтчитов была очень важна для Ф. М. Достоевского, она нашла свое отражение в финале «Белых ночей», «Кроткой», «Братьев Карамазовых», в сцене сна Дмитрия Карамазова¹⁶.

Эта сцена из Диккенса вошла в контекст одной из важнейших сцен толстовского романа «Воскресение» и в его финал. Нехлюдов приезжает в деревню, узнает о смерти своего ребенка — еще младенца — в прошлом, затем идет к крестьянам: «Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребеночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребенок этот не переставая странно улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина. <...> Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки» (курсив мой. — Н. М.) (32, 215–216). Исследовательница творчества

Ф. М. Достоевского В. С. Пушкирева, кажется, первая указала на переключку между сном Дмитрия Карамазова и деревенской сценой в «Воскресении»¹⁷. Мы же уточним: в этом фрагменте толстовского романа вступают во взаимодействие три текста. В первую очередь, это евангельский текст. В «Соединении, переводе и исследовании четырех Евангелий» Толстой следующим образом переводит евангельскую сцену: «И подозвал Иисус *мальчишку* и поставил его промеж учеников. <...> И если кто понимает такого *одного ребенка* так же, как меня, тот понимает мое учение» (24, 574, курсив мой. — Н. М.). Евангельское «дитя» у Толстого поименовано как «мальчишка», «ребенок». В этом лексическом варианте слово войдет в евангельскую по своим основаниям сцену в «Воскресении». Правда, ребенок здесь окажется «старческим». Евангельское «будьте, как дети» соединилось у Толстого со строгим судом: в современном взрослом мире, забывшем о Хозяине, уродливые дети похожи на стариков, они старятся до времени. Память же о диккенсовском прочтении Евангелия сказалась в указании автора на особую немощь ребенка (в том и другом случае у ребенка немощные ноги). Тема нравственного преображения Нехлюдова, опираясь на предшествующий литературный опыт не только Диккенса, но и Достоевского, обретает в романе силу неоспоримости.

Финальная сцена «Братьев Карамазовых» написана, как мы уже сказали, по мотивам сцены из Диккенса. Сцена речи Боба Крэтчита лаконична, проста и выразительна. Достоевский пишет сцену у камня словно поверх столь дорогой и так когда-то запомнившейся ему сцены из «Рождественской песни в прозе». Он уже не столько изображает происходящее, сколько, используя риторические приемы, опыт сентиментальной прозы, эмоционально *заражает* читателя определенными чувствами. Автор обретает искомую почву для соединения всех чувством, делающим всех — героев и читателей — «лучшими, чем мы есть в самом деле»¹⁸.

В финале романа Толстого «Воскресение» текст Диккенса вряд ли присутствует, зато уже без каких-либо изменений предстает важнейший для «Рождественской песни в прозе» евангельский текст (Мф. 18): «1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? — читал он.

2. Иисус, призвав *дитя*, поставил его посреди них.

3. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и *не будете как дети*, не войдете в Царство Небесное» (курсив мой. — Н. М.) (32, 440).

И у Достоевского, и у Толстого нравственное преображение героя более отчетливо, чем у Диккенса, сопровождается темой евангельского «дитя». Есть и отличие: Евангелие в финальной сцене «Братьев Кара-

мазовых» уходит в глубину текста, и потому, кстати, не всегда в сложности своих «составляющих» улавливается исследователями¹⁹, а в финале «Воскресения» он дан прямо, цитируется. Толстой, таким именно образом завершая свое произведение, предельно — в сравнении с Достоевским — заострил проблему соотношения «должного» и общей жизни людей.

* * *

Толстовское прочтение рождественской повести Диккенса выходило за рамки двух отмеченных нами тенденций в ее освоении на российской почве. Отметим другие случаи присутствия «Рождественской песни в прозе» в творчестве Толстого.

Смерть Маленького Тима и сцена речи Боба Крэтчита, возможно, звучат в «Детстве»: «Так ты меня очень любишь? Она молчит с минуту, потом говорит: — смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамы, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» (1, 44). Восходящий к повести Диккенса архетип «смерть» — «связующая близких людей память об умершем» найдет свое выражение в романе «Воскресение» с небольшой трансформацией: будет введен мотив смерти друга (вспомним: у Диккенса из колеи жизни Скрудж выбит явлением друга Марли). Нехлюдов, пытаясь ответить на важнейшие для себя вопросы, обращается к своим воспоминаниям: «Дело, которое делается нашей жизнью, все дело, весь смысл этого дела непонятен и не может быть понятен мне: зачем были тетушки, зачем *Николенька Иртеньев умер, а я живу?* Зачем была Катюша?» (32, 226). Позже в контексте романа вновь становится важной сцена из Диккенса: она присутствует в повествовании о сестре Нехлюдова. «Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртеньева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в них хорошего и единящего всех людей» (32, 314).

В сценах общения сестры и брата (коренным образом меняющего свою жизнь Нехлюдова) «срабатывает» тот же сюжетный архетип: «„Бедная, милая! Как она могла так измениться?“ — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такую, какая она была не замужем, и испытывая к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство» (32, 318). Однако связующая сестру и брата память о детстве и юности не выдерживает испытания временем: «Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа» (32, 349). В момент прощания на вокзале «тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил устано-

жившиеся было между ними нежно-братские отношения; они чувствовали себя теперь отчужденными друг от друга» (32, 348).

Сложившаяся в «Воскресении» мотивная цепочка «смерть» — «связующая близких людей память об умершем» — «разрушение „нежно-братских“ отношений вопросами денег и наследства земельной собственности» вновь будет востребована в одном из последних произведений Л. Н. Толстого — рассказе «Сон».

Уже в первой редакции «Сна» введены мотив памяти об умершем друге (38, 370) и мотив земельного наследования. Учитель, верный памяти друга, отстаивает в споре свой взгляд на земельную собственность, что вызывает несогласие хозяйки — сестры умершего (землю унаследовали ее дети). Во второй редакции «Сна» вместо учителя появляется «незаметный, без определенных занятий старичок, кажется, из духовного звания, некто Орлов, бывший большим другом старшего, покойного сына княгини, которого я не знал, но про которого много слышал, как о необыкновенно даровитом, передовом человеке» (38, 374—375). С четвертой редакции «Сна» становится постоянным мотив отзывчивости человека, увидевшего необыкновенный сон, в котором разворачивался горячий спор. Проснувшийся человек записывает услышанное им во сне (38, 455). Этот мотив в первую очередь обусловлен ситуацией из жизни самого Л. Толстого: он увидел подобный сон, что и послужило толчком для написания рассказа (38, 443). Немаловажен тот факт, что первоначально автор собирался ограничиться непосредственной сценой спора нескольких людей, однако на последнем этапе работы над рассказом он решил ввести сюжет сна и душевного потрясения проснувшегося человека. Такое решение предопределила не только автобиографическая, но и литературная память Толстого: заострена тема потрясения проснувшегося от услышанного им во сне. В окончательном тексте «Сна» Толстым было усилено публицистическое звучание, снят мотив сна и ослаблен мотив потрясения. Однако подчеркнем: это было сделано под воздействием В. Г. Черткова (38, 458—460).

Приведенные факты свидетельствуют о многократном присутствии повести «Рождественская песнь в прозе» Диккенса в контексте творчества Толстого.

Представляется, что в своих раздумьях над категориями времени и пространства Толстой учитывал опыт Диккенса.

К особенностям хронотопа в «Рождественской песне в прозе» относится последовательное перемещение героя (после посещения Скруджа призраком Марли) с каждым новым призраком в прошлое, в различные пространственные локусы текущего настоящего и будущего. Совмещение прошлого и настоящего, настоящего и будущего продуктивно для психологического пространства хронотопа повести: старик Скрудж

вновь погружается в светлый мир своих, казалось бы, утраченных чувств, критически оценивает свои прежние решения и нынешние поступки, испытывает нравственные муки и пытается увернуться от душевной боли и, наконец, увидев безотрадную картину собственной смерти в ближайшем будущем, душевно преображается, творит деятельное добро. Таким образом, Диккенс, с одной стороны, разрабатывает тему устойчивости чувств человека, одновременного соприсутствия в нем разных времен, с другой стороны, обращает внимание на разность чувств, испытанных человеком в те или иные времена, рассматривает соотношение этих разных времен в человеке как особую проблему.

Возможно, этот художественный опыт Диккенса заинтересовал Толстого еще в начальный период его творчества. Внутренний «состав» временных отрезков в человеке, характер их «сцепления» становились вопросом еще во время работы над трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность». На это обратил внимание Я. С. Билинkis: «У Толстого в трилогии „Детство“, „Отрочество“, „Юность“ разные времена живут сразу, в сопряженности»²⁰. «Вглядываясь в путь своего героя, — в другой своей работе пишет исследователь, — Толстой открывал, что прошлое его живет в нем как некий неразменный пласт и фонд его нравственного сознания, постоянно взаимодействующий со всем последующим его опытом, дающий знать о себе при каждом новом акте наполнения этого опыта»²¹. Мысль о сопряженности разных времен в человеке была устойчивой для творчества Толстого на протяжении всей его жизни. Еще молодой Толстой по-своему воспринял высказывание одного из пушкинских героев. В «Цыганах» на вопрос Алеко, почему старый цыган не убил за измену свою жену Мариулу, тот отвечает: «К чему? вольнее птицы младость; / Кто в силах удержать любовь? / Чредою всем дается радость; / Что было, то не будет вновь»²². В письме В. Арсеньевой (1856) Толстой заметил: «„Что было, того уже не будет вновь“, сказал Пушкин. Поверьте, ничто не забывается, и не проходит, и не возвращается» (60, 102). Полвека спустя та же мысль Пушкина, в толстовском ее понимании («ничто не забывается, и не проходит»), станет отправной при определении драматической ситуации в «Живом трупe». У героев «Живого трупа» одно чувство не сменяет «чредою» другое. Психологическое зерно, из которого разрастается драматическое действие, — это «одновременная» любовь героини к мужу и его другу, это далеко не простое чувство Протасова к оставленной жене. И в душе Федора Протасова, и в душе его жены Лизы «ничто не забывается, и не проходит», возвращение же невозможно.

В повести Диккенса разрабатывается проблема времени и пространства: снимаются временные разграничения, и в человеческом

бытии открывается сопричастие разных времен, исчезают пространственные границы и человек, оставаясь в одном пространстве, путешествует в других пространствах. Подобного рода художественные находки (и не только Диккенса), вероятно, привлекали в разное время внимание Толстого. В дневнике конца 1890-х годов Толстой вновь и вновь возвращается к проблеме пространства и времени, ставит проблему памяти. В дневниковой записи от 28 сентября 1899 года находим: «Что такое память, которая делает из меня одно существо от детства и до смерти? Что такое это свойство, связывающее отдельные по времени существа в одно? Надо бы спросить: не что связывает, а что *разделяет эти существа*? Разделяет то свойство времени, вне которого я не могу видеть себя. Я один нераздельный от рождения и до смерти, но проявить и сознать себя я должен во времени. Я сейчас такой, какой я был и буду, но я должен был и должен буду проявлять и сознавать себя во времени. Должен же я проявлять и сознавать себя во времени для общения с другими существами и воздействия на них» (53, 224). «Человек есть вневременное и внепространственное существо, которое сознает себя в условиях пространства и времени» (53, 226).

Раздумья Толстого над категориями пространства, времени, памяти вырастали, конечно, прежде всего с опорой на его собственный художественный опыт, но также с учетом многих других источников, их приятием и отталкиванием от них.

¹ «What is art? By Leo Tolstoy. Translated from the Russian by Aylmer Maude». London, 1898. Гл. XVI. С. 55.

² См.: Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 18.

³ В комментариях к Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого указана также В. И. Лукьянская (85, 288). Однако в библиографическом списке Катарского и Фридлендера ее фамилия отсутствует (См.: Ч. Диккенс: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке, 1838—1960. Сост. Ю. В. Фридлендер и И. М. Катарский. М., 1962).

⁴ Заметим: в контекст всех этих произведений входит рождественский, не пасхальный вариант повести Диккенса. Связь между рождественской повестью Диккенса и «Рождественской ночью» Григоровича отмечена Е. В. Душечкиной (Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ. Становление жанра. СПб., 1995. С. 144).

⁵ Боборыкина Т. А. Художественный мир повестей Чарльза Диккенса. СПб., 1996.

⁶ Честертон Г. К. Чарльз Диккенс. М., 1982. С. 111.

- ⁷ Отечественные записки. 1845. Т. 38. С. 58–59. Курсив автора статьи.
- ⁸ См. об этом: Душечкина Е. В. Указ соч. С. 144.
- ⁹ При этом в произведениях рубежа XIX–XX веков сам диккенсовский текст на реминисцентном уровне уже не всегда присутствовал.
- ¹⁰ Партэ К. Метаморфоза смерти у Л. Н. Толстого // Русская литература. 1991. № 3. С. 107–112.
- ¹¹ Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30-ти тт. М., 1959. Т. 12. С. 79. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с сокращенным указанием (Д.), номера тома и страницы. Курсив принадлежит автору статьи.
- ¹² Указ соч. С. 110.
- ¹³ Сильман Т. И. Диккенс. Л., 1970. С. 171.
- ¹⁴ См. об этом: Шестов Л. На Страшном Суде (Последние произведения Л. Н. Толстого) // Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 135–137.
- ¹⁵ О чем в свое время писали А. Ф. Кони, П. Н. Сакулин, Н. Я. Берковский, Е. А. Маймин, И. А. Юртаева.
- ¹⁶ Об этом статья: Михновец Н. Г. «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса как константный текст в творчестве Ф. М. Достоевского. Сдана в печать.
- ¹⁷ Пушкарёва В. С. Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература второй половины XIX века. Белгород, 1998. С. 18.
- ¹⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1971–1982. Т. 15. С. 195.
- ¹⁹ См., к примеру: Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романа «Братья Карамазовы» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. С. 303.
- ²⁰ Билинкис Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе. М., 1986. С. 126. Курсив автора статьи.
- ²¹ Билинкис Я. С. У начал нового художественного сознания // Вопросы литературы. 1966. № 4. С. 87. Курсив автора статьи.
- ²² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. IV. С. 195.

И. Е. Гринева

МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ —
ЧИТАТЕЛЬ РУССКИХ ЖУРНАЛОВ
1850-х ГОДОВ

Толстой в начале литературной деятельности много внимания уделял выяснению вопросов, связанных с выработкой своего художественного метода. Для этого были разные пути. Писатель вел дневниковые записи, ставшие, как известно, для него литературной школой, тщательно обдумывал и много раз переделывал свои первые сочинения.

Не выступая в печати с литературно-критическими статьями, начинающий автор, заявивший о себе как самообытный талант, оставил много высказываний в дневниках и письмах, содержащих оценки художественных произведений. И эти оценки представляют интерес как одна из сторон эстетических воззрений Толстого. Они оригинальны, глубоки и характеризуют приверженность молодого писателя к реализму. Основной вопрос, занимавший в то время Толстого, — поиски правды в искусстве, требование от автора предельной искренности чувств, подлинности убеждений. В напряженных исканиях предмета, достойного изображения, Толстой внимательно вчитывается в журнальные публикации. Он предъявляет высокие требования к писателям-современникам. Но в то же время никогда не теряет перспектив собственного творчества. Таким образом, отзывы Толстого-читателя могут быть рассмотрены в качестве характеристик, дополняющих наши представления о произведениях русских писателей, печатавшихся на страницах периодических изданий в 50-е годы XIX века. Но не менее важна и другая сторона: соотнесение этих оценок с творческой работой писателя над собственными художественными замыслами. К. Н. Ломунов в статье «Толстой-критик»¹ справедливо обращает внимание на последнее обстоятельство.

К особенностям позиции Толстого, характерным для творческого пути, необходимо отнести и органичную связь этического и эстетического, в каждый период выражающуюся по-разному.

Из этих общих положений и предстает исходить, обращаясь к высказываниям Толстого 50-х годов. Серьезное отношение к литературной практике выразилось уже в 1851 г., когда у Толстого лишь зарождались первые замыслы. До нас дошел набросок, озаглавленный: «Для чего пишут люди». В короткой записи для себя речь идет

о добродетели как источнике человеческого счастья. Поставлен вопрос: «Но разве не полезны те книги, которые, изображая изящно добродетель, действуют примером?» Дается определение добродетели как подчинения страстей рассудку. Слово «изящно» употреблено Толстым в смысле «художественно». Раздумья молодого философа вызывает вопрос о пользе объективной и пользе субъективной. Не удастся разрешить вопрос о «поэтах, романистах, историках, естествоведниках», которые «склоняют развитием страстей людей к поступкам безрассудным» (1, 246). В этом рассуждении двадцатитрехлетнего Толстого сказывается стремление задуматься над этической, воспитательной ролью художественной литературы.

В дальнейшем данная проблема станет одной из самых важных в литературно-критических взглядах Толстого.

В пору работы над повестью «Детство» Толстой обращает внимание на моральные факторы формирования личности Николеньки Иртеньева, не менее значительные, чем социальные. Становление характера героя показано во всей его сложности и противоречивости, во взаимодействии среды, обстоятельств, с одной стороны, и таких качеств личности ребенка, которые составляют ее неповторимые особенности, ее стержень. В это время Толстой обращает внимание на повесть Николая М. (П. А. Кулиша) «История Ульяны Терентьевны» («Современник». № 8. 1852) — «одна хорошая повесть, похожая на мое Детство, но не основательная» (46, 143). Действительно, направление повести близко направлению «Детства». Николаша, мальчик, оставшийся без матери, жаждет любви, у него появляется это чувство к воображаемой идеальной женщине; представление возникает раньше, чем он видит ее. Описаны мечты, работа воображения; действительность вполне подтверждает создавшееся представление об идеальной красоте человека. Ульяна Терентьевна — носительница добродетели. Мальчик испытывает преклонение перед ней: «Боже, сколько добродетельных внушений в моем сердце, сколько благородных понятий в уме моем оставила эта дивная женщина! С умилением пишу эти строки, пишу с чувством сына, молящегося на могиле матери»².

Налицо влияние сентиментализма в стиле. Вот один из диалогов:

«— Потому только, что я вас люблю, вы бы ко мне приехали?»

— А это разве малость?

— Да что за редкость моя любовь? Вас, я думаю, тысячи людей обожают.

— Нет, ошибаешься, мой друг, — сказала, качая головой, Ульяна Терентьевна. — Верное сердце — великая находка в мире.

— То есть такое, — спросил я, — которое никогда не перестанет любить?

— Да, — отвечала она нежным голосом.

— Я никогда, никогда не перестану любить вас, — воскликнул я, как пламенный рыцарь, — никогда!

И эхо повторило мое восклицание.

Я говорил истину. Это была первая любовь моя, и никогда никакое чувство не горело в моем сердце чистейшим и постояннейшим пламенем... Я знал, что я не безделицу приношу в жертву Ульяне Терентьевне. Как я счастлив, что первая жертва моя не была принесена — а могла бы быть — бездушному — кумиру! Да, я в ней не ошибся. Душа моя угадала ее³.

Нетрудно заметить, что все это отдаленно напоминает рассказ об отношениях Николеньки Иртеньева с татан и центральную главу (XV), так и названную — «Детство». Но в целом характер Николы не раскрыт в становлении, в борьбе противоречивых чувств. Подчеркнуто, что все внимание читателя должно быть сосредоточено на истории Ульяны Терентьевны. При этом ее качества — лишь прекрасные — не создают впечатления жизненности образа.

Толстой читал повесть Кулиша, уже отправив рукопись «Детства» Некрасову.

Сформулирован в 1852 г. и один из важнейших принципов его художественного метода: «Простота есть главное условие красоты моральной. Чтобы читатели сочувствовали герою, нужно, чтобы они узнавали в нем столько же свои слабости, сколько и добродетели, добродетели — возможные, слабости — необходимые» (46, 145).

Сочетания добродетелей со слабостями не было в характерах действующих лиц давно забытой повести «История Ульяны Терентьевны», как не было в ней и намерения раскрыть целую «эпоху жизни». Отсюда «неосновательность», так верно подмеченная Толстым.

Живо интересуется Толстой литературными занятиями старшего брата Николая Николаевича, который 29 октября 1852 г. прочитал ему свои записки об охоте на Кавказе. Вот замечания Толстого: «У него много таланта. Но форма нехороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описания природы и нравов; они разнообразнее и очень хороши у него» (46, 147).

А в 1856 г. Толстой написал Некрасову: «Получил я от брата Николая Записки Охотничьи его — листа 3 печатных. На днях покажу Тургеневу, но по-моему прелестно» (60, 70). «Охота на Кавказе» появилась в «Современнике» и переиздавалась в 1922 г. Во вступительной статье М. О. Гершензон писал об авторе этого спокойного и умного рассказа, «сходного с тургеневскими „Записками охотника“»: «Он ничего не подчеркивает, ничего не навязывает, он благородно сдержан без всякой сухости. В этом свободном господстве над мате-

риалом и в этом ясном спокойствии повествования — прелесть его описаний... Без сомнения, это одно из лучших описаний живой природы в русской литературе»⁴.

Можно предполагать, что Н. Н. Толстой учел замечания брата и обратил внимание на пейзажные зарисовки. Действительно, они очень хороши, прежде всего своим разнообразием. В небольшом по объему сочинении описаны все времена года, при этом чувствуется знание автором местных особенностей климата, рельефа, животного и растительного мира, умение воссоздать переходные моменты, движение, подлинную жизнь. Вот один из примеров — летний пейзаж: «На озерах стадами сидят молодые серые лебеди, только что выбравшиеся на просторное озеро из густых камышей. Яркий солнечный свет, голубое небо, прозрачная вода и свежий ветерок, изредка пробегающий по озеру, — все это дико и ново для них. Они теснятся в кучи и озираются, между тем как старые лебеди, белые, как снег, попарно и важно плавают посредине озера, вытянув шею и тихо поворачивая голову то вправо, то влево, как будто любуются своим молодым поколением»⁵. Заключительную главу составляет история Саип-абрека, написанная на основе слышанных Н. Н. Толстым устных народных рассказов. Прекрасно воссозданы жестокие нравы кавказцев, культивируемые Шамилем. В конце автор, испытывая тяжелое настроение после услышанного, выражает свое неприятие этой жестокости.

Очень колоритно изображение Епишки, старого казака, хозяина квартиры, где живет рассказчик. Сначала дана общая характеристика: «В свое время, т. е. во время своей молодости, Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний одинокий старик. Чего не видал человек этот в своей жизни!»⁶

Затем следует подробное описание его фигуры в тот момент, когда Епишка идет по станице Старогладковской. Это портрет, данный в действии, Епишка обращается к прохожим женщинам, издает только одному ему свойственный «гортанный звук — что-то среднее между криком и ржанием», в котором «выливается вся душа его». А дальше следует интересное описание мимики и телодвижений: когда у Епишки не хватает голоса, он начинает песню молча, одним выражением лица и телодвижениями, «губы его шевелятся, борода дрожит, маленькие серенькие глазки так и прыгают, руки подаются вперед, широкие плечи округляются дугой, каждый мускул приходит в движение, ноги начинают выкидывать разные штуки — и вдруг снова слышится голос, как будто вырывается из груди, — и Епишка заливается с новой силой, и подпрыгивает, и подплясывает совсем не по летам своим»⁷.

Изображение Епишки в «Охоте на Кавказе» предшествует работе Л. Толстого над «Казачками». Есть существенная разница — у него значительно глубже характер, он соотнесен с главной мыслью повести, это не реальный герой очерковых записок; хотя и представленный очень колоритно, а вымышленный персонаж, тип определенного склада народной жизни и народной психологии, отсюда такое внимание к его жизненной философии. Можно сказать, что Епишка «Записок» — соединительное звено между прототипом Епифаном Сехиным и Ерошкой «Казачков». Совершенно очевидно, что восприятие Толстым «Записок» не прошло бесследно для создания «Казачков». Впоследствии Толстой, давая общую характеристику таланта Н. Н. Толстого, заметил, что лишь один недостаток — отсутствие тщеславия — помешал брату стать профессиональным мастером. «Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушие, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства» (34, 386).

Истинный демократизм молодого Толстого проявляется в критическом отношении к высшему свету. С этой точки зрения любопытна положительная оценка романа Евгении Тур «Племянница». «Читал Племянницу. Очень хорошо», — записано в дневнике 18 октября 1852 года (46, 145). Привлекательной оказалась история Марии Александровны Бельской. Искренность, душевное благородство героини, выросшей вдали от света, оценены ее другом Николаем Ивановичем Ильменевым, разночинцем, учителем, его матерью Марьей Васильевной Ильменевой, а также критически настроенным к аристократии, к аристократическому образу жизни стариком-вольтерьянцем — князем Очининым. Нравственное ничтожество персонажей, составляющих светский круг (семья княгини Беловодской, князь Чельский), их преклонение перед богатством и знатностью, лицемерие, развращенность выставлены в романе достаточно рельефно.

Знаменателен и сочувственный отзыв Толстого о повести М. Михайлова «Кружевница». В дневнике 20 июня 1852 г. читаем: «Очень хороша, особенно по чистоте Р[усского] языка — слово распуколка» (46, 125). Действие повести происходит в провинциальном городе К. История кружевницы Саши рассказана М. Михайловым в духе «натуральной школы». Правдиво изображены быт и нравы городских мещанских слоев. Сюжет типичен: дворянин Анатолий Петрович соблазнил Сашу, а потом женился на дочери провинциальных помещиков.

Кратко, но выразительно раскрыты любовные переживания Саши. В высшей степени характерно внимание Толстого к языку литературного произведения, особенно к использованию слов из народной речи.

4 января 1857 г. А. Ф. Писемский прочел «Старую барыню». Толстой дал чрезвычайно высокую оценку этой повести: «Прелестная вещь, мне кажется лучшая из всех его прежних» (60, 148). Любопытно, что это мнение совпадает с оценкой Чернышевского, считавшего, что «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора.

Правда, в дневнике есть запись о том, что «Барыня» не произвела эффекта (47, 109). Но это впечатление публики, собравшейся у Толстого. А Толстой, как писатель, был привлечен повестью Писемского. Вероятно, не только антикрепостнической направленностью, но и художественными достоинствами. События освещаются с разных сторон, в зависимости от рассказчика: Якова Ивановича, бывшего главного дворецкого, сочувствующего старой барыне Екатерине Евграфовне Пасмуровой и обвиняющего во всем молодых; его жены, бывшей горничной Алены Игнатьевны, любящей и жалеющей внучку старой барыни Ольгу Николаевну; бойкой содержательницы постоялого двора Грачихи, резко обвиняющей старую барыню и разоблачающей ее пособника Якова Ивановича.

Интересно и своеобразное двойное обрамление повести: история Владимира Васильевича Топоркова, непутевого внука Якова Ивановича и Алены Игнатьевны, проданного в рекруты, и расспросы проезжего постояльца, перед глазами которого предстают «дедушки». Именно ему адресуют они свой рассказ. Он становится свидетелем того, как Яков Иванович, видимо, взволнованный воспоминаниями, отдает внуку деньги, полученные за рекрутство, уступив его домогательствам, и покидает постоялый двор. Судьба внука расценивается как справедливое возмездие за дурные дела деда.

В других случаях Толстой критически относился к художественной манере Писемского. Так, сочувственно оценив пьесу «Горькая судьбина», он отмечает и недостаток, типичный для автора: «Драма Писемского мне очень и очень понравилась: здорово, сильно и правдиво, невыдуманно. Но и в ней он, как и в других своих отличных вещах, не избег неловкостей ужасных. Как этот барин на барьер мужика вытягивать хочет?» (60, 317). Рассказ «Леший» был оценен Толстым отрицательно за «вычурный язык и неправдоподобную канву» (46, 210).

Эти и не только эти отзывы характеризуют необыкновеннуюзыскательность Толстого-читателя, его безошибочное художественное чутье. Толстой — противник нарушения жизненных пропорций в художественном произведении. Особенно волнует его изображение народной жизни, которое должно быть основано на глубоком знании предмета.

Важен в этом отношении факт знакомства Толстого через А. И. Дружинина с писарем М. А. Петровым, две повести которого были напечатаны в «Библиотеке для чтения» в 1859 г. Это «Саргина могила» (№ 2) и «Выборы» (№ 9). Толстой и Дружинин решили выхлопотать Петрову льготы по службе, чтобы он мог писать. Толстой просит Дружинина подарить Петрову экземпляры «Детства и Отрочества», «Военных рассказов», только что вышедших отдельным изданием. Он рад тому, что братья «оба в восхищении от Сарг[иной] Моги[лы]» (60, 290).

Действительно, «Саргина могила» отличается подлинным драматизмом. Элементы фантастики, заимствованные из устного народного творчества, лишь подчеркивают трагизм положения бедной девушки Палаши, ставшей жертвой алчности властей и жестокости деревенских богатеев. Но вторая повесть Петрова, «Выборы», оказалась значительно слабее, против ожидания его покровителей. И Толстой это сразу заметил: «Петрова новую повесть сейчас прочел. Она мне положительно не понравилась; хотя видна сила большая. Но его горе, противоположное нашему и большое — совершенная бессознательность дарованья. Он сам не знает, что в нем велико, и Катерина намек, тень, когда она должна быть все. Ежели бы он был помоложе — горе это было бы исправимо, а теперь, боюсь, он так и останется не „надежда“, а „сожаленье“. Что бы он мог быть» (60, 308).

Такою была первая попытка Толстого оказать содействие писателю из народа. Впоследствии помощь этого рода станет одной из важных сторон его деятельности.

Вопрос об авторском отношении к изображаемому чрезвычайно занимает Толстого уже в 50-е годы. Ему ясно, что всякое подлинно художественное произведение должно быть одушевлено любовью к той главной мысли, которую автор хочет выразить. Высшим образом в этом отношении были «Записки охотника» Тургенева, которые произвели еще в юности очень большое впечатление. Перечитывая их, Толстой записал в дневнике 27 июля 1853 года: «Как-то трудно писать после него» (46, 170). А к 26 октября 1853 г. относятся знаменитые строки: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его рыбаков. Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго» (46, 184). И в своей художественной практике

50-х годов Толстой будет придерживаться этой точки зрения («Три смерти», «Утро помещика»).

Знаменательна высокая оценка романа Григоровича «Пахарь». Главный герой — Иван Анисимович, «честный пахарь», вся жизнь и смерть которого представлена как пример «нравственного величия». Подчеркнута крепость семьи Ивана Анисимовича, любовь к нему сыновей, таких же, как отец, тружеников-земледельцев Савелия и Петра, брата Карпа. Такое изображение пахаря и всего его окружения найдет свое продолжение в творчестве Толстого более позднего времени.

«Прекрасное впечатление» на Толстого в том же 1856 г. произвела часть романа Григоровича «Переселенцы», напечатанная в апрельской книжке «Отечественных записок» (60, 59).

Во время, когда остро ставится проблема героя из дворянской среды и подвергается критике со стороны представителей революционно-демократического лагеря тип лишнего человека, Толстой, не принадлежащий к числу соратников Чернышевского, высказывается так же критически по отношению к этому типу, о чем свидетельствуют отзывы о «Рудине», «Дневнике лишнего человека» и «Асе» И. С. Тургенева.

Толстой искал в положительном герое деятельное, жизнеутверждающее начало. Такая тенденция, ведущая свое начало с 50-х годов, сохраняется и усиливается в 60-е, в период работы над «Войной и миром».

Наиболее полно отвечают представлениям Толстого о художественности романы Гончарова. 4—5 декабря 1856 года он читает «прелестную „Обыкновенную историю“», а 7 декабря пишет В. В. Арсеньевой: «...прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее» (60, 140).

16 апреля 1859 г. он делится с А. В. Дружининым своим «восторгом» от «Обломова»: это «капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике» (60, 290). Перечитывая, Толстой нашел и недостатки, о которых желал бы поговорить с автором.

Известен ответ Гончарова, его письмо от 13 мая 1859 г., где содержится просьба указать на его промахи: «Слову вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда

даже пугающее своей смелостью; если не со всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы»⁸.

Всегда, с самых первых писательских шагов, стремился Толстой искать новые пути в искусстве. Поиски эти воплощались в творческой работе и шли параллельно. В дневнике 1 ноября 1853 г. отмечено: «Часто в сочинении меня останавливают рутинные, не совсем правильные, основательные и поэтические способы выражения; но привычка встречать их часто заставляет писать их. Эти-то необдуманные, обычные приемы в авторе, недостаток которых чувствуешь, но прощаешь от частого употребления, для потомства будут служить доказательством дурного вкуса. Мириться с этими приемами: значит идти за веком, исправлять их — значит идти вперед его» (46, 190).

Толстой всегда шел впереди и требовал того же от писателей-современников. Для этого нужно было одно условие — иметь высокую нравственную цель. И Толстой отвечал этому условию. Чистоту нравственного чувства Чернышевский назвал одной из главных особенностей ранних произведений Толстого.

П. В. Анненков справедливо писал Тургеневу 25 января 1857 г.: «В последнее время пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более нравственного, чем Толстой. Он способен к героизму внутренней честности или по крайней мере понимает ее в героических размерах»⁹.

¹ Ломунов К. Н. Толстой-критик // История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 378–401.

² Современник. СПб. 1852. № 8. С. 163.

³ Там же. С. 162–163.

⁴ Н. Н. Толстой. Охота на Кавказе / Предисл. М. О. Гершензона. М., 1922. С. 45.

⁵ Современник. СПб. 1857. № 2. С. 188.

⁶ Там же. С. 177.

⁷ Там же. С. 179.

⁸ ПРП. Т. 2. С. 122.

⁹ Труды Публичной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1934. Вып. 3. С. 65.

Л. В. Милякова

КАК ТОЛСТОЙ ТУРГЕНЕВА ЧИТАЛ

(по материалам яснополянской
библиотеки)

Данная работа имеет целью взглянуть на жизнь Л. Н. Толстого через призму его обращений к творчеству И. С. Тургенева, проследить, когда, при каких обстоятельствах читал Толстой сочинения своего собрата по перу, какое впечатление они производили на него. Вторая задача — выяснить, когда и каким путем издания сочинений Тургенева попадали в библиотеку Толстого, кто и когда читал их в Ясной Поляне.

В письме к издателю М. М. Ледерле, просившему назвать те произведения мировой литературы, которые произвели наибольшее впечатление, Толстой в письме от 25 октября 1891 г. составил список таких сочинений. В разделе от 14 до 20 лет указано, что в числе сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя «очень большое» впечатление произвели «Записки охотника» Тургенева.

В том же 1891 г., поздравляя Д. В. Григоровича с 50-летием его литературной деятельности, Толстой писал: «Вы мне дороги и по воспоминаниям почти 40-летних дружеских отношений, на которые за все это время ничто не бросило ни малейшей тени, и в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня вместе с „Записками охотника“ ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, 16-летнего мальчика, не смевшего верить себе, „Антоном Горемыкою“, бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать: нашего учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, и не только с любовью, но и с уважением и даже с трепетом» (66, 409).

За давностью лет Толстой ошибся. Впервые произведения Григоровича и Тургенева он читал, скорее всего, в 19–20-летнем возрасте, т. е. в 1847–1848 гг., когда они впервые появились в печати. Но о том, какое впечатление они произвели тогда на молодого Толстого, мы можем судить только по его воспоминаниям более позднего периода жизни, т. к. в юности Толстой редко фиксировал свое восприятие прочитанного и увиденного. К тому же дневник, начатый в марте

1847 г., прерывается в апреле и затем возобновляется лишь к июлю 1850 г. Можно лишь предположить, что некоторые из рассказов И. С. Тургенева — «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Однодворец Овсянников», «Льгов», — напечатанные в первой половине 1847 г. журналом «Современник», Толстой мог прочитать, еще будучи студентом Казанского университета.

Рассказы из цикла «Записки охотника» публиковались до 1850 г. Толстой в это время жил то в Ясной Поляне, где, как свидетельствует его «Журнал ежедневных занятий», занимался хозяйством, музыкой, иностранными языками, историей, счетоводством, рисованием, писал правила жизни, то в Москве и Петербурге, где предавался светским удовольствиям. Но и в деревне, и в столицах он, видимо, находил время знакомиться и с новинками литературы. А «Записки охотника» были тогда в центре внимания столичной и провинциальной публики.

Самый первый отзыв Толстого об этих рассказах Тургенева мы встречаем в его дневнике 1853 г. Толстой к этому времени напечатал повесть «Детство», рассказ «Набег», работал над «Отрочеством», «Рубкой леса» и другими рассказами. 25 июля в дневнике отмечено: «Читал Записки охотника Тургенева, и как-то трудно писать после него» (46, 170).

Скорее всего, Толстой прочитал тогда первое отдельное двухтомное издание «Записок охотника», вышедшее в свет в 1852 г. К восприятию и оценке всего читаемого он подходил уже с позиций писателя, ищущего свой, особенный путь в литературе. Читая «Записки охотника», Толстой, видимо, почувствовал некоторое внутреннее сходство этих рассказов со своими уже написанными и задуманными сочинениями, представляющими собой галерею крестьянских, солдатских, помещичьих, офицерских типов, характер которых проявляется в отношении к изображаемым событиям и окружающим людям.

Кстати, это сходство было замечено и современниками. Н. А. Некрасов, публикуя рассказ Толстого «Рубка леса», писал И. С. Тургеневу 15 августа 1855 г.: «В № 9 „Современника“ печатается посвященный тебе рассказ юнкера „Рубка леса“. Знаешь ли, что это такое? Это очерки из разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь донныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма этих очерков совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие „Записки охотника“... Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность»¹.

Для Толстого «Записки охотника» стали тогда своеобразным эталоном, по которому он соизмерял творчество многих своих современ-

ников. В октябре 1853 г., находясь в станице Старогладковской, он, прочитав в «Современнике» роман Д. В. Григоровича «Рыбаки», сопоставляя его с «Записками охотника» и отдавал предпочтение Тургеневу.

То сильное впечатление, которое произвели на молодого Толстого рассказы Тургенева, сохранилось на всю его жизнь. И. М. Ивакин, бывший в 80-е годы учителем детей Толстого, отметил высказывание о Тургеневе: «Настоящее лучшее его произведение „Записки охотника“. Тут есть прямая цель. А после ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужасная чепуха»². В беседе с А. Б. Гольденвейзером в апреле 1902 г. Толстой сказал: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы... Не говоря уже о Пушкине, возьмем „Мертвые души“ Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом „Записки охотника“ — лучшее, что Тургенев написал...»³

В. Ф. Лазурский, живший у Толстых летом 1894 г. в качестве репетитора детей Толстого, в своем дневнике записал слова Толстого: «Я помню, Тургенев произвел на меня сильное впечатление „Записками охотника“. Потом я слушал „Рудина“; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это — Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь»⁴.

Напомним, что чтение Тургеневым романа «Рудин» состоялось на квартире Некрасова в середине декабря 1855 г., вскоре после того, как Толстой, приехав из Севастополя в Петербург, поселился у Тургенева, который и свел его со многими русскими литераторами. Сам он в это время, живя воспоминаниями о недавнем прошлом, работал над завершением «Севастополя в августе 1855 года». В библиотеке Толстого сохранились номера журнала «Современник» 1-й и 2-й за 1856 г. с публикацией романа «Рудин», но читал ли его Толстой, и если читал, то когда, сведений нет. Но в это свое пребывание в Петербурге молодой писатель, по общему мнению — будущая надежда русской литературы, наиболее близко сошелся с Тургеневым, который полюбил его «каким-то странным чувством, похожим на отеческое»⁵.

17 мая 1856 г. Толстой покинул столицу. Свое путешествие до Москвы он в деталях описал в дневнике: «Поехал в 12 часов, было скучно дорогой. Сначала с А. Ланским, а потом с австрийским каким-то дипломатом. Читал Лишнего человека. Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво» (47, 73). Рассказ Тургенева «Дневник лишнего человека», о котором пишет Толстой, был опубликован в 1856 г. почти одновременно в журнале «Современник», № 4, и в первом вы-

пуске сборника «Для легкого чтения», издававшегося тогда Некрасовым. Трудно сказать, какое из этих изданий взял Толстой с собой. Очередную книгу «Современника» он должен был иметь непременно, как сотрудник журнала. А сборник «Для легкого чтения» мог получить и от Некрасова, и от книгопродавца А. И. Давыдова, с которым 14 мая вел переговоры об издании в очередном номере этого сборника своих «Записок маркера».

28 мая Толстой приехал в Ясную Поляну. Летом, наслаждаясь прелестью деревенской жизни, он писал, много читал, охотился, навещал соседей по имению. К осени этого года относится увлечение «тургеневской девушкой» — Валерией Арсеньевой. У Арсеньевых прочитал он новую повесть Тургенева «Фауст»: «Прелестно» (47, 97).

Заметим кстати, что на создание «Фауста» автор был вдохновлен общением с гр. М. Н. Толстой, которой и посвятил его. Когда в ноябре Толстой снова оказался в Петербурге, один из литераторов, Е. Я. Колбасин, писал Тургеневу: «Толстой давно в Петербурге, был у меня и с восторгом говорит про „Фауста“, сказавши, что вы ничего лучше этого не написали» (47, 366). Свое мнение об этой повести Толстой высказал самому автору в письме, к сожалению, не сохранившемся. В ответ на него Тургенев писал Толстому 8/20 декабря 1856 г.: «...нашел Ваше письмо, где Вы говорите о моем „Фаусте“. Вы легко поймете, как мне было весело его читать. Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало»⁶.

Находясь в столице, Толстой приобрел только что вышедший в свет трехтомник «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева, изданный П. В. Анненковым. В дневнике от 10 ноября 1856 г. есть запись: «...обедал дома, прочел все повести Тургенева. Плохо» (47, 99). В первой части этого трехтомника были напечатаны рассказы и повести «Андрей Колосов», «Бретер», «Три портрета», «Жид», «Петушков», «Дневник лишнего человека», «Три встречи»; во вторую часть вошли «Разговор на большой дороге», «Муму», «Постоялый двор», «О соловьях», «Два приятеля», «Затишье»; третью часть составили «Переписка», «Яков Пасынков», «Рудин» и «Фауст». С некоторыми из этих сочинений Толстой уже был знаком, другие прочитал впервые. По прочтении этих книг он послал их В. В. Арсеньевой, о чем написал ей 9 ноября: «Посылаю вам еще Повести Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно — опять, по-моему, почти все прелестно...» (60, 104). Слово «опять» наводит на мысль, что Тургенев раньше читался и обсуждался, теперь дается совет: «В повестях Тургенева не читайте *Жид* и *Петушков*: барышням нельзя; особенно из них рекомендую: *Андрей Колосов*, *Затишье* и *Два приятеля* <...> Повести Тургенева, когда прочтете, отошлите тетень-

ке» (60, 120). Позднее (роман «Воскресение») Толстой скажет, что «Затишье» особенно нравилось Катьше Масловой. В письме от 1 декабря 1856 г., видимо, получив письмо от Арсеньевой, в котором она делилась впечатлением от прочитанных сочинений Тургенева (письма В. В. Арсеньевой к Толстому не сохранились), он пишет: «Разговор на большой дороге и не должен был вам понравиться, во-первых, потому, что он слаб, а во-вторых, потому, что это сатира на помещичий быт, всю пустоту и безнравственность которого вы еще не совсем понимаете» (60, 129).

К сожалению, в яснополянской библиотеке Толстого из трех томов сохранился только один — второй. Хотя в рукописном систематическом каталоге, составленном С. А. Толстой, значилась и третья часть этого издания. Судя по тому, что сохранность дошедшей до нас второй части очень плохая: утрачены издательская обложка, титульный лист, первые четыре страницы и несколько последних страниц, — книгу эту в семье Толстого читали часто. Из всех изданий сочинений Тургенева, хранящихся в яснополянской библиотеке, эта книга была самой первой.

Конец 1856 — начало 1857 г. Толстой провел в Петербурге и Москве, а в феврале предпринял первое заграничное путешествие, во время которого встретился с Тургеневым. В конце февраля 1857 г. они вместе посетили Дижон, где Толстой заканчивал повесть «Альберт», о чем Тургенев сообщал П. В. Анненкову: «Он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность» (60, 163). Сам Тургенев в это время писал повесть «Поездка в Полесье», и нет сомнения в том, что Толстой уже тогда познакомился с этим произведением.

Вернувшись из-за границы, Толстой поселился в Москве. Вместе со всеми родными (семьей М. Н. Толстой, братьями и тетенькой Т. А. Ергольской) он в конце 1857 — начале 1858 г. снимал меблированную квартиру на ул. Пятницкой в доме купца Варгина. Судя по дневниковым записям этого времени, Толстой пребывал тогда в благостном расположении духа: рядом с ним были дорогие ему люди, с которыми он проводил много времени, совершая прогулки по Москве, принимая гостей, читал домашним наброски своих новых сочинений. Толстого тогда можно было встретить в гостиных многих его московских знакомых и родных. Свои сердечные тайны он поведал лишь дневнику. 25 января 1858 г. он записал: «Тютчева⁷, Свербеева⁸, Щербатова⁹, Чичерина¹⁰, Алсуфьева¹¹, Ребиндер¹², я во всех был влюблен» (48, 5). Это приподнятое состояние души влияло и на позитивное восприятие почти всего, что он читал, видел в театре, даже в опере; но спор с Тургеневым продолжался. Вот фрагменты дневни-

ковых записей: «Дома славно. Андерсен прелесть» (48, 3), «Вечер музыкальный прелесть! Вебер прелесть» (48, 5). И запись 19 января: «В театр. Жизнь за царя, хор прекрасен. В клуб. Ася дрянь» (48, 4). Так неожиданно резко негативно оценил Толстой очередное сочинение своего друга, прочитав повесть «Ася» в первом номере журнала «Современник» за 1858 г. Через день в письме Н. А. Некрасову, критикуя весь этот номер, он повторяет сказанное в дневнике: «„Ася“ Тургенева, по моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он написал» (60, 252).

Тургеневу интересно было узнать, как Толстой воспринял его новую работу, и в письме 17/29 января он просил: «Вы, вероятно, уже прочли повесть, помещенную в „Современнике“. Если вздумается, напишите мне Ваше мнение; Вы знаете, что я им очень дорожу»¹³. Мнение Толстого о повести «Ася» вскоре стало хорошо известно в литературных кругах Москвы и Петербурга. Дошло оно и до автора. Е. Я. Колбасин, известивший Тургенева 6 февраля 1858 г., что «Ася» нравится очень многим, счел необходимым уведомить: «Но, однако, есть фанатики и бурбоны, которые говорят совсем другое. Их, впрочем, мало, и в числе их Левушка, написавший из Москвы, что „Ася“ самое слабое и неудачное из всех ваших произведений, хуже которого он не знает»¹⁴. По этому поводу Тургенев в марте 1858 г. писал Толстому из Вены: «Я знаю, Вы недовольны моей последней повестью; и не Вы один, многие из моих хороших приятелей ее не хвалят»¹⁵. Тургеневу было известно, что А. А. Фет и В. П. Боткин были одного мнения с Толстым.

С осени 1858 г. Толстой стал бывать у своих старых московских знакомых Берсов. 17 сентября 1858 г. он записал в дневнике: «Обедал у Берса. Милые девочки» (48, 17). Одна из этих «милых девочек», Т. А. Кузминская, вспоминала один из визитов Толстого к ним: «В другой раз принес он нам книгу „Первая любовь“ Тургенева, чтобы прочесть нам вслух... Чтение началось. Лев Николаевич, как и всегда, читал превосходно. Мы все слушали и восхищались и повестью, и чтением, и когда окончили чтение и пошли пересуды, Лев Николаевич сказал: „Любовь 16-летнего сына, юноши, и была настоящей, сильной любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца — это мерзость и разврат“»¹⁶. Эта запись — единственное свидетельство чтения Толстым этой повести, напечатанной в 1860 г. в третьем номере журнала «Библиотека для чтения».

В конце 50-х — начале 60-х годов Толстой жил постоянно в Ясной Поляне и в русских столицах стал бывать редко. В это время он был увлечен вопросами народного образования, основанием в Ясной Поляне школы для крестьянских детей. Но регулярно получал журна-

лы, в том числе и те, где печатались произведения Тургенева, издавшего в это время два романа — «Дворянское гнездо» и «Накануне» — в первых номерах «Современника» за 1859 г. и «Русского вестника» за 1860 г. Своими мыслями об этих романах Толстой поделился с А. А. Фетом в письме от 23 февраля 1860 г.: «Прочел я Накануне. Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно, и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем „Накануне“ много лучше „Дворянского гнезда“, и есть в нем отрицательные лица превосходные — художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девушка — из рук вон плоха — ах, как я тебя люблю... у ней ресницы были длинные. <...> Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он с своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов. <...> Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет» (60, 324—325). Сам он в это время продолжал переживать как неудачу «Семейное счастье» (1859), вернулся к роману о казаках, искал новых путей искусства в рассказах (оставшихся неоконченными) о русской деревенской жизни. Вскоре был создан «Поликушка», начат «Холстомер».

С романом «Отцы и дети» Толстой впервые вкратце познакомился еще в рукописном варианте во время посещения имения Тургенева Спасское-Лутовиново 25 мая 1861 г. Толстой в старости вспоминал этот эпизод своей жизни, о котором литератор П. А. Сергеенко в очерке «Толстой и Тургенев» написал так: гостю была предоставлена гостиная комната со стоявшим там старинным широким диваном — самосоном, на котором и расположился Толстой с рукописью романа в руках. «Но роман показался ему так искусственно построенным и таким незначительным по содержанию, что он не мог преодолеть охватившей его скуки и... заснул. — „Проснулся я, — рассказывает он, — от какого-то странного ощущения и, когда открыл глаза, то заметил удаляющуюся спину Тургенева“. Когда Л. Толстой пришел затем в столовую, то между ним и Тургеневым как бы повисло что-то. И некоторое время они избегали смотреть в глаза один другому»¹⁷. Вскоре, как известно, в имении А. А. Фета произошла ссора писателей и чуть было не состоявшаяся дуэль, но все это не имело никакого отношения к «Отцам и детям». Заснул же он, скорее всего, просто оттого, что устал, проделав весь путь от Ясной до Спасского верхом на лошади.

Во второй раз Толстой прочитал роман внимательно в конце ноября 1861 г. также в рукописи, сданной для печати в журнал «Русский

вестник». В это время Толстой находился в Москве, куда приехал по делам издания своего педагогического журнала «Ясная Поляна», и, видимо, при встрече с М. Н. Катковым получил для прочтения рукопись. Роман был опубликован во втором номере журнала за 1862 г. Рукопись возвращена Каткову 23 ноября 1861 г. «с великой благодарностью» (60, 411). Свое мнение высказал в письме к П. А. Плетневу от 1 мая 1862 г.: «Тургеневский роман меня очень занимал и понравился мне гораздо меньше, чем я ожидал. Главный упрек, который я ему делаю, — он холоден, холоден, что не годится для Тургеневского дарования. Все умно, все тонко, все художественно, я соглашусь с вами, многое назидательно и справедливо, но нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замиранием сердца, и потому нет ни одной страницы, которая бы брала за душу. — Я очень жалею, что не согласен с вами и Ф. И. Тютчевым — но не согласен. — Между прочим, во избежание недоразумений считаю нужным вам сообщить, что между мной и Г-ном Тургеневым прерваны всякие сношения» (60, 423).

Много позже, в 1885 г., в беседе с И. М. Ивакиным Толстой, вспоминая романы Тургенева 60-х годов, определил их общее значение и место в русской литературе: «Лаврецкий, Базаров — это все мне тоже не нравится. <...> В Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет <...> Да и быть ничего не могло: ведь те движения, представителями которых являются Рудин, Лаврецкий, совершились только в умственной сфере, в поступки не переходили, оттого-то и не могли дать содержания художественному произведению»¹⁸. Надо полагать, что точно так же думал Толстой и в 60-е годы, когда он только что познакомился с романами Тургенева.

С 1861 г. личных контактов у Толстого и Тургенева уже не было, но творческие нити, связывавшие двух лучших писателей России, порвать было невозможно. Толстой в это время работал над романом «Война и мир», в центре его внимания была в основном историческая литература. Но жизнь и литературная деятельность Тургенева продолжала занимать. 24 февраля 1864 г. он писал сестре: «Тургенев в Петербурге. Лиза Берс¹⁹ видела его там, говорит, очень опустился. Он назвал свою последнюю повесть „Довольно“ и говорит, что бросил писать. Жалко, ему рано кончать» (61, 37).

Повесть «Довольно» была напечатана впервые в пятом томе собрания сочинений Тургенева, изданного братьями Салаевыми в 1865 г. 29 сентября 1865 г. Толстой писал брату С. Н. Толстому: «Тургенева „Довольно“ я прочел и очень не одобрил и уверен, что тебе очень понравится. Потому что вы с Тургеневым больны одной и той же нравственной болезнью, которую назвать трудно, но которая и есть

„довольно“» (61, 106—107). Лето и начало осени 1865 г. Толстой с семьей жил в своем имении Никольское-Вяземское. В летние месяцы он не сделал ни одной дневниковой записи, и только из писем к друзьям и близким мы узнаем, что он много охотился, совершал поездки к друзьям, владения которых находились поблизости: Д. А. Дьякову, И. П. Борисову, Н. В. Киреевскому, навещал сестру М. Н. Толстую в Покровском. Вероятно, в одну из этих поездок в руках у него оказался и пятый том Тургенева: этого издания в Яснополянской библиотеке нет.

7 октября Толстой написал А. А. Фету: «„Довольно“ мне не понравилось. Личное — субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненности страдания» (61, 109).

Так же негативно оценил Толстой и роман Тургенева «Дым», прочитав его, видимо, в третьем номере журнала «Русский вестник» за 1867 г. 28 июня 1867 г. он заметил в письме А. А. Фету: «О „Дыме“ я вам писать хотел давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете²⁰ <...> Я про *Дым* думаю то, что сила поэзии лежит в любви — направление этой силы зависит от характера. — Без силы любви нет поэзии; ложно направленная сила, — неприятный, слабый характер поэта претит. В *Дыме* нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна <...> Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю, но, кажется, мое впечатление общее всем» (61, 172).

Самому же Толстому, пребывавшему тогда в расцвете творческого гения, завершавшему работу над романом «Война и мир», было безразлично, как его сочинение оценит Тургенев. Публикуя в 1865 г. «1805 год»²¹, он писал А. А. Фету 23 января: «На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого — Тургенева. Он поймет» (61, 72).

Есть основание считать, что за годы личного неприятия писателей библиотека Толстого не пополнилась ни одним изданием произведений Тургенева 60-х и 70-х годов. За это время Тургеневым было написано немало произведений, которые печатались в журналах, сборниках, было издано 4 собрания его сочинений, но в Ясной Поляне этих изданий нет.

Почти все издания сочинений Тургенева, хранящиеся в Ясной Поляне (а их очень мало), увидели свет лишь в конце 70-х — начале

80-х годов. К их числу относится первая публикация романа «Новь» в двух номерах журнала «Вестник Европы» за 1877 г. В библиотеке Толстого сохранилась почти вся годовая подписка этого журнала за 1877 г., кроме номеров 2-го, со второй частью романа Тургенева, и 9-го. В номере первом все страницы с текстом романа разрезаны — свидетельство того, что он был прочитан. Правда, трудно сказать, когда Толстой читал этот роман Тургенева. А. А. Фет в письме к Толстому от 9 марта 1877 г. рекомендовал ему прочитать «Новь», о которой писали многие критики. В ответ Толстой сообщал 11–12 марта: «„Новь“ я прочел первую часть и вторую перелистывал. Не мог прочесть от скуки. <...> Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета — это природа. Две-три черты и пахнет. Этих описаний наберется 1 1/2 страницы, и только это и есть. Описания же людей, это все описания с описаний» (62, 314–315). Правда, позднее Толстой отчасти изменил свое мнение. В 1894 г. В. Ф. Лазурский писал в дневнике 12 июля: «По поводу „Нови“ опять повторил ранее высказанный им взгляд, что „Новь“, вопреки общему мнению, — лучшая вещь Тургенева, лучше „Рудина“ и других его романов; что она отличается целостностью, верно рисует время и верно изображает типы»²². На основании этой фразы, а также воспоминаний современников можно сделать вывод, что о произведениях Тургенева в семье Толстого говорили часто. Сохранилось в Ясной Поляне издание: «Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. — Рудин. — Ася — Дворянское гнездо. — Дым. — Отцы и дети. — Портрет».

История этой книги такова. В 1874 г. издатель М. М. Стасюлевич задумал выпустить серию произведений русских писателей под названием «Русская библиотека». В письме издателя к потомкам Гоголя была изложена цель: «сделать общедоступными произведения наших великих и лучших писателей с извлечением из них того, что наиболее составляет их славу и вместе сможет оказывать самое просветительное влияние на умы читателей»²³.

Начиная с 1874 по 1879 г., вышли в свет 9 томов: сочинения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Жуковского, Грибоедова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Толстого. Издательство не преследовало никаких коммерческих целей, Стасюлевичу с трудом удавалось покрывать издательские расходы.

Предлагая Тургеневу принять участие в этом издании, Стасюлевич послал ему в Париж том «Александр Сергеевич Пушкин»: «Посмотрите и сообщите мне Ваше мнение о моем предприятии и о первом его шаге. Один из следующих томов должен быть „И. С. Тургенев“. Что вы скажете на этот счет? Ведь не откажете же

мне, т. к. в сущности дело идет о народном издании, какого у нас еще не было»²⁴. В ответ Тургенев писал 15/27 марта 1874 г.: «Для меня было бы большой честью попасть в эту библиотеку — и я со своей стороны даю Вам всевозможные уполномочения»²⁵. На просьбу Стасюлевича назвать сочинения и отрывки, которые автор желал бы поместить в томе, Тургенев писал, что предоставляет сделать это самому издателю.

Согласно этому, Стасюлевич включил в тургеневский том 10 рассказов из «Записок охотника»: «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Малиновая вода», «Мой сосед Радилов», «Льгов», «Бежин луг», «Два помещика», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Певцы», «Гамлет Щигровского уезда», занявших половину объема тома, отрывки из повести «Ася», романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Дым», «Отцы и дети». На фронтисписе было решено поместить оттиск гравюры на дереве Серякова с фотографии Тургенева 1872 г. фотографа Бергамского, в качестве биографического очерка были использованы «Литературные и семейные воспоминания» Тургенева, просмотренные и дополненные автором. 1 января 1876 г. Тургенев уже получил несколько экземпляров тома.

Экземпляр этого издания хранится в Ясной Поляне в одном шкафу с томами той же серии «А. С. Грибоедов», «М. Ю. Лермонтов», «М. Е. Салтыков-Щедрин», «И. С. Тургенев» и «Л. Н. Толстой».

К изданию толстовского тома этой серии Тургенев имел некоторое отношение. Дело в том, что летом 1878 г., уже после примирения писателей, Тургенев, приехав в Россию, свиделся с М. М. Стасюлевичем, который имел намерение издать и толстовский том. В это время он еще не был знаком с Толстым и, узнав, что по пути в Спасское-Лутовиново Тургенев будет встречаться с Толстым, попросил его узнать, как тот отнесется к изданию его сочинений в «Русской библиотеке». 4 августа 1878 г. Тургенев, сообщая Толстому о том, что он будет проездом в Туле, писал: «Мне самому хочется Вас видеть и, к тому ж, у меня есть поручение до Вас — то как хотите? — приедете ли Вы в Тулу — или я заеду к Вам в Ясную Поляну»²⁶.

Поручение, о котором пишет Тургенев и которое он выполнил в Ясной Поляне, — этр, несомненно, поручение Стасюлевича. Приехав из Ясной Поляны в Спасское-Лутовиново, он извещал о результатах своих переговоров с Толстым А. Н. Пыпина: «Я заезжал к гр. Л. Н. Толстому... и говорил с ним о „Русской библиотеке“. Он изъявил полное согласие на помещение его сочинений, предоставляет выбор редакции „Вестника Европы“; пошлет краткий биографический очерк. Принимает те условия денежные, на которых состоялись издание мое, салтыковское и т. д. Что касается до портрета — предлагает

снести с живописцем Крамским, который живет в Петербурге и который написал два превосходных портрета Толстого. Можно бы с одного из них снять фотографию. Словом, Толстой показал самую предупредительную готовность»²⁷.

Этот том «Русской библиотеки», названный «Лев Николаевич Толстой. Детство, Севастопольские рассказы, Три смерти, Война и мир, Рассказы для детей, Басни, Анна Каренина», увидел свет в начале 1879 г. Биографический очерк к этому тому был написан С. А. Толстой и поправлен Толстым. На фронтисписе было помещено воспроизведение фотографии Толстого 1877 г. (фотограф Сокольников).

Судя по степени сохранности, тургеневский том читался в доме Толстого часто. Трудно сказать, читал ли сам Толстой эту книгу, ведь все, что там напечатано, было ему уже известно.

Возрождение дружеских отношений Толстого и Тургенева, а главное, то, что Толстой, как он писал Тургеневу, к радости своей почувствовал, что он к нему «никакой вражды не имеет» (62, 406), возобновило личные контакты писателей. Вслед за первым визитом Тургенева в Ясную Поляну в августе 1878 г. последовало еще два. Во время своего последнего посещения Толстого в начале мая 1880 г. Тургенев прочитал яснополянцам и их гостям свой рассказ «Собака», написанный им еще в 1866 г. Как вспоминал С. А. Толстой: «Он [Тургенев] читал выразительно, живо и просто — без вычурных интонаций, но самый рассказ ни на кого, в том числе и на моего отца, большого впечатления не произвел»²⁸. Можно предположить, что, читая, Тургенев воспользовался восьмой частью 10-томного собрания своих сочинений, изданного братьями Салаевыми в 1880 г. и приобретенного Толстыми, пожелавшими пополнить тургеневский раздел своей библиотеки. Трудно сказать, почему выбор пал именно на это произведение: может быть, потому, что Толстым оно было еще неизвестно.

Но 1880-е годы — время, когда художественное творчество — всякое — Толстого мало интересовало. В его дневниках и письмах этого времени имена писателей и названия их сочинений встречаются крайне редко. Все внимание обращено на философскую и богословскую литературу в надежде найти ответы на мучившие вопросы о смысле человеческого бытия. От автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» читатели, и Тургенев в их числе, ждали очередного художественного шедевра, а он все свои творческие силы направил на создание произведений, где хотел поведать о том, в чем состоит суть его новых философских и религиозных взглядов и жизненных позиций. Вдруг неожиданно возникает в записной книжке 1882 г. Тургенев. Большая часть этой книжки представляет собой список обитателей так называемого Ржанова дома, сделанный Толстым в качестве пере-

писчика московского населения. Среди разных имен и фамилий читаем: «Вешние воды Тург[енева]» (49, 156). Повод этой записи неизвестен, но сохранилось свидетельство С. А. Толстого, что отец «из отдельных рассказов Тургенева считал лучшим „Первую любовь“, <...> хвалил „Затишье“, начало „Аси“ и „Вешние воды“»²⁹.

В это же время Толстой познакомился с самым значительным произведением Тургенева начала 80-х годов — «Стихотворениями в прозе», вызвавшими большой интерес у критиков и читателей. Он прочитал их, скорее всего, по первой публикации в журнале «Вестник Европы» в декабре 1882 г. и поспешил написать об этом автору. К сожалению, это письмо не сохранилось. Но о том, что писал Толстой, можно судить по ответу Тургенева от 15/27 декабря 1882 г.: «Ваше письмо доставило мне большую радость. Во-первых, мне очень приятно, что некоторые из моих „Стихотворений в прозе“ Вам понравились; а главное: я снова почувствовал, что Вы меня любите и знаете, что и я Вас люблю искренне»³⁰.

С большой теплотой и участием относился Толстой к смертельно больному Тургеневу, постоянно вспоминал о нем и его произведениях в беседах с гостями и домочадцами. Г. А. Русанов в воспоминаниях о своей первой встрече с Толстым в Ясной Поляне 24–25 августа 1883 г. отметил, что Толстой и в кабинете, и на прогулке по усадьбе вновь и вновь заводил разговор о Тургеневе, в это время еще не зная, что его друга уже нет в живых. «В зале мы сели около стоящего в углу круглого стола... — пишет Г. А. Русанов. — Старшая дочь его сидела тут же и перелистывала недавнее издание детских рассказов Тургенева и Толстого»³¹. Это была книга «Рассказы для детей И. С. Тургенева и графа Л. Н. Толстого», в которой был напечатан рассказ Тургенева «Перепелка».

История этой книги такова. В январе 1881 г. С. А. Толстая обратилась к Тургеневу с просьбой дать какой-нибудь рассказ для публикации в журнале «Детский отдых», издателем которого был ее брат П. А. Берс. 26 октября (7 ноября) 1882 г. Тургенев, посылая текст рассказа, писал Толстому: «Вот Вам, милый Лев Николаевич, тот небольшой рассказ, который я обещал графине для детского журнала, издаваемого ее братом. Если бы этот журнал уже прекратился, то Вы можете, буде рассказ окажется годным, отдать его в какой-нибудь другой детский журнал»³².

Нет сомнения в том, что, получив это письмо с текстом рассказа, Толстой прочитал это новое сочинение своего старого приятеля.

С. А. Толстая в несохранившемся письме к Тургеневу спрашивала разрешения напечатать рассказ в издаваемом П. А. Берсом и Л. Д. Оболенским сборнике вместе с рассказами Толстого «Кавказ-

ский пленник», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы». 10/22 ноября 1882 г. Тургенев писал Толстому: «На Ваше дружеское письмо спешу ответить, что не только согласен, но искренно рад чести явиться вместе с рассказами Льва Николаевича, хотя подобное соседство и опасно для моего рассказа. Вообще, поступайте с ним, как вам будет угодно»³³.

В подготовке книги к выходу в свет принимали участие художники В. А. Васнецов, В. Е. Маковский, И. Е. Репин, выполнившие 6 прекрасных иллюстраций к рассказам Толстого. Рассказ «Перепелка» проиллюстрировали В. А. Васнецов и В. И. Суриков. Несколько экземпляров издания было оформлено коленкоровым переплетом, украшенным золотым тиснением. Такой экземпляр хранится в Ясной Поляне, видимо, такой же экземпляр был послан Тургеневу во Францию.

Получив этот сборник, смертельно больной Тургенев продиктовал 8/20 января 1883 письмо Толстому: «Не хочу откладывать своего спасибо за присланный Вами прекрасный подарок. Издание прекрасное и рисунки тоже. Моей „Перепелке“ оказана большая честь»³⁴. Публикацию в одной книге сочинений Толстого и Тургенева можно рассматривать как символ возродившегося дружеского союза двух ведущих писателей России середины XIX века.

С. А. Толстой вспоминал: «...когда Тургенев умер, он [Толстой] живо почувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, решился прочесть доклад о Тургеневе в Обществе любителей российской словесности. Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища и указать на его значение в литературе»³⁵.

Чтобы «перечитать все произведения Тургенева», Толстой обратился к уже упоминавшемуся выше 10-томному собранию сочинений Тургенева и читал довольно продолжительное время, о чем можно судить на основании дневников и писем Толстого.

29 сентября, отправляясь в уездный город Крапивну на сессию окружного суда в качестве присяжного заседателя, он взял с собой один из томов. В письме к С. А. Толстой, уехавшей с детьми в Москву, он сообщал: «Переночевал в Крапивне. Все читал Тургенева» (83, 395). Вернувшись домой, 30 сентября вновь пишет жене: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу. Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем» (83, 397). Несколькоими строками ниже опять возвращается к волнующей теме: «Сейчас читал Тургеневское довольно. Прочти, что за прелесть» (там же).

Как видим, перечитывая уже знакомые произведения, Толстой пересматривал свое отношение к некоторым из них. Повесть «Довольно», которую в 60-е годы он считал слабой вещью, теперь находит «прелестной». Напечатана она в восьмом томе. Здесь же Толстой мог прочитать рассказы «Призраки», «Собака», «Бригадир», «Несчастливая», «Странная история», «Степной король Лир». Страницы с повестью «Довольно» хранят пометы Толстого графитным карандашом: отчеркнуто на полях и подчеркнуто в тексте множество строк 13-й — 15-й и 17-й глав. Читая мысли автора о смысле жизни, истине, искусстве, смерти, Толстой отмечает то, о чем он сам много думал и что позволяло ему глубже постичь духовный мир Тургенева. Вот некоторые строки, на которые Толстой обратил особое внимание. Глава 13-я: «Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надеяться. Истина — не полная истина — о той и помину быть не может — но даже та малость, которая нам доступна — замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас „на нет“»³⁶. Или: «Увы! Не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна Гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, самая суть жизни мелко неинтересна — и нищенски плоска»³⁷. В 14-й главе в рассуждении о том, что в современной писателям жизни пронизательному взору Шекспира не открылось бы ничего нового, Толстой отчеркивает на полях: «То же легкоеверие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страдания во имя... ну хоть во имя того же вздора... «людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды — словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновленном колесе»³⁸. Разве не созвучно это тому, что видел и от чего страдал сам Толстой в это время? Вероятно, поэтому подчеркнуты эти строки.

4 октября в письме к С. А. Толстой в Москву Толстой подробно расписал образ своей одинокой жизни в Ясной Поляне: «Жизнь моя, как заведенные часы. Проснусь в 9, пойду в заказ, вернусь, напьюсь кофею, сяду за работу часов в 11 и сижу до 1/2 4-го и опять пойду в заказ до обеда. Обедаю, читаю Тургенева. Придет Агафья Михайловна, пью чай, пишу тебе, погуляю при лунном свете и ложусь спать» (83, 402).

Может, именно в это время на страницах других томов были заглугнуты уголки, сделаны на полях пометы ногтем. Может, тогда же Толстой изменил и свое отношение к романам Тургенева.

Эти тома читали и члены семьи Толстого, учителя его детей, гости дома, о чем можно судить по сохранившимся в них пометам, не при-

надлежащим Толстому. Так, во втором томе, где опубликованы «Записки охотника», на правой половине форзаца плохо заточенным карандашом нарисован женский профиль, в оглавлении кто-то карандашом мелкими крестиками отметил заглавия рассказов «Льгов», «Бурмистр», «Бирюк», «Стучит».

24 сентября 1884 г. Толстой записал в дневнике: «Рубил. Гулял с Соней по лесу. После обеда гулял со всеми, шил сапоги — плохо. Читал с детьми, вместо дрянного Пасынкова — Полесье. И успех». Чтение повести Тургенева «Поездка в Полесье» продолжилась и на следующий день, о чем Толстой записал в дневнике: «Читал с детьми Некрасова, Щедрина и Тургенева Полесье. Все прекрасно» (49, 121).

Отдав должное памяти И. С. Тургенева и его произведениям в первой половине 80-х годов, Толстой почти два десятилетия не обращался к ним: сведений о чтении им сочинений Тургенева в конце 1880-х — начале 1900-х годов нет ни в его рукописях, ни в дневниках и воспоминаниях его близких. Лишь иногда, когда кто-то из окружения Толстого после прочтения чего-то из Тургенева заводил разговор об этом, Толстой высказывал свое мнение и о данном произведении, и о творчестве Тургенева в целом. Не раз упомянут Тургенев в сочинениях этих лет — статье о Мопассане, трактате «Что такое искусство?», романе «Воскресение». В 1892 г. Толстой мечтал написать статью о Тургеневе.

В 1904 г. произведения Тургенева вошли в сборник «Круг чтения». Свой выбор Толстой остановил на рассказе «Живые мощи» и двух стихотворениях в прозе: «Морское плавание» и «Воробей».

Рассказ «Живые мощи» Тургенев вчерне написал еще в конце 40-х годов, но впервые напечатал лишь в 1874 г. в сборнике «Складчина», составленном из трудов почти сорока русских писателей и изданном в пользу пострадавших от голода крестьян Самарской губернии. Посылая текст рассказа 25 января 1874 г. Я. П. Полонскому, Тургенев писал: «Желая внести лепту в „Складчину“ и не имея ничего готового, ни даже начатого, стал я рыться в своих старых бумагах и отыскал прилагаемый отрывок из „Записок охотника“, который прошу тебя препроводить по назначению»³⁹. Толстой в сборнике не участвовал, хотя, конечно, получил предложение, но деятельно занимался практической помощью, обратился в газету с призывом о помощи и пр.

Тогда же, в 1874 г., рассказ «Живые мощи» был напечатан во втором томе третьего собрания сочинений Тургенева в цикле «Записки охотника». Изданий с этими первыми публикациями рассказа в библиотеке Толстого нет; можно предположить, что впервые рассказ был прочитан в начале 80-х годов по публикации во втором томе собрания сочинений 1880 г. И понравился. И. М. Ивакин в воспомина-

ниях, относящихся к 1885 г., привел слова Толстого: «Повесть Тургенева „Живые мощи“ — прелестный рассказ...»⁴⁰ Судя по всему, это первое впечатление не изменилось у Толстого с годами. В рассказ «Живые мощи» он внес несколько изменений: сократил начало и конец, выпустил первый сон Лукеры, ее пересказ легенды о Ж. д'Арк и рассуждение автора по этому поводу. В измененном Толстым виде рассказ «Живые мощи» был включен в «Недельное чтение» второго тома «Круга чтения» на 6 ноября.

«Морское плавание» было сокращено, а в текст стихотворения «Воробей» были внесены незначительные изменения.

Судя по разговору, зафиксированному 27 декабря 1904 г. Д. П. Маковицким, Толстой пользовался изданием, выпущенным И. И. Глазуновым. Когда и каким образом это собрание сочинений Тургенева было приобретено Толстыми, а потом исчезло из Ясной Поляны, неизвестно. Но в 1909 г. оно еще находилось в доме, и, возможно, по нему М. С. Сухотин 12 июня читал вслух «Стихотворения в прозе». Как записал Д. П. Маковицкий, прочитанные «Голуби», «Морское плавание», «Русский язык» вновь получили одобрение Толстого.

Видимо, в последний раз Толстой обращался к изданиям произведений Тургенева в октябре 1909 г., когда сотрудник «Журнала для всех» С. М. Нонин прислал ему книжки серии «Библиотечка-копейка», среди которых была книжечка «Живые мощи», в которую рассказ Тургенева был взят из «Круга чтения». П. А. Сергеенко записал слова Толстого о Тургеневе: «Заслуги его все-таки велики. И его рассказы из народной жизни навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую литературу. Я всегда высоко их ценил. И тут никто из нас с ним сравниться не может. Возьмите „Живые мощи“, „Бирюка“ и другие. Все это бесподобные вещи. А его картины природы! Это настоящие перлы, недостижимые никому из писателей»⁴¹.

¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Письма. М., 1967. Т. 8. С. 151–152.

² Ивакин И. М. Из «Воспоминаний о Ясной Поляне. 1880–1885» // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 331.

³ Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 116.

⁴ Лазурский В. Ф. Дневник // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 54.

⁵ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 328.

⁶ Там же. Т. 3. С. 53.

⁷ Тютчева Екатерина Федоровна (1835–1889) — третья дочь Ф. И. Тютчева.

⁸ Возможно, Свербеева Екатерина Александровна, рожд. Щербатова (1808–1892).

⁹ Щербатова Прасковья Сергеевна (1840–1924). В 1859 г. вышла замуж за археолога А. С. Уварова.

¹⁰ Чичерина Александра Николаевна (1839–1919) — сестра знакомого Толстого Б. Н. Чичерина.

¹¹ Олсуфьева Мария Алексеевна (1831–1866) — жена В. А. Олсуфьева, почетного попечителя Московского второго уездного училища.

¹² Ребиндер — сестра М. А. Олсуфьевой.

¹³ Тургенев И. С. Указ. изд. Письма. Т. 3. С. 188–189.

¹⁴ Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы. 1841–1861. «Academia», М.; Л., 1930. С. 350

¹⁵ Тургенев И. С. Указ. изд. Письма. М.; Л., 1965. Т. 3. С. 210.

¹⁶ Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964. С. 81.

¹⁷ Сергеенко П. А. Толстой и Тургенев // Л. Н. Толстой и его современники. М., 1911. С. 130.

¹⁸ Ивакин И. М. Указ. изд. С. 331–332.

¹⁹ Берс Елизавета Андреевна (1843–1919) — старшая сестра С. А. Толстой.

²⁰ А. А. Фет писал Толстому 15 мая 1867 г.: «Читали Вы пресловутый „Дым“? У меня одна мерка. Не художественно? — не спокойно? — дрянно. Форма? Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского. А тут и труженик честный *посредник* представлен жалким дураком, потому что не знает города Нанси. В России-де все гадко и глупо и *все надо* гнуть насильно и на иностранный манер. На этом основании и дурак Литвинов *изучал* иностранную агрономию, чтобы ему, дураку, *применять* ее в своем имении. Ясно, осел. Не все ли это равно, что под русскую брыкуху запрягать паровоз?» См.: *ПРП*. Т. 1. С. 384.

²¹ «1805-й год» — первая печатная редакция романа «Война и мир», увидевшая свет в журнале «Русский вестник» в 1865 г.

²² Лазурский В. Ф. Указ. изд. Т. 2. С. 68.

²³ *ИРЛИ*. Ф. 293. Оп. 1.

²⁴ Тургенев И. С. Указ. изд. Письма. Т. 10. С. 593.

²⁵ Там же. С. 308.

²⁶ Там же. Т. 12. С. 340.

²⁷ Там же. С. 342.

- ²⁸ Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1965. С. 327.
- ²⁹ Толстой С. Л. Указ. изд. С. 321.
- ³⁰ Тургенев И. С. Указ. изд. Письма. Т. 13 (2). С. 133.
- ³¹ Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883—1901. Воронеж, 1972. С. 48.
- ³² Тургенев И. С. Указ. изд. Т. 13. С. 80.
- ³³ Там же. С. 97.
- ³⁴ Там же. С. 151.
- ³⁵ Толстой С. Л. Указ. изд. С. 338.
- ³⁶ Тургенев И. С. Соч. (1844—1868—1874—1880). М., 1880. С. 52.
- ³⁷ Там же. С. 53.
- ³⁸ Там же. С. 54.
- ³⁹ Тургенев И. С. Указ. изд. Т. 10. С. 578.
- ⁴⁰ Ивакин И. М. Указ. изд. Т. 1. С. 332.
- ⁴¹ Сергеев П. А. Как живет и работает Л. Н. Толстой // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 145

Мишель Кадо

ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧИТАТЕЛЬ И ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРА ГЮГО*

Перевод с французского
А. Н. Полосиной

1 мая 1905 г. американец Джеймс Уоллис писал Толстому: «Много лет назад, когда я был молод и преподавал в канзасских прериях, я прочел „Les Misérables“. Я понял, что свет, озарявший жизнь каторжников, был отражением той благодати, которую излучал добрый епископ, — на мой взгляд, главный герой повествования. Книга произвела на меня большое впечатление, и я хотел было написать об этом ее автору, но затем подумал, что ему, быть может, это будет безразлично или же он решит, будто мне что-нибудь от него надо. Много лет спустя я узнал, что Виктор Гюго бывал очень рад, когда даже совсем безвестные люди говорили ему, что его великий труд помог им в жизни. Я пишу вам, чтобы поблагодарить вас за то хорошее, что дали мне ваши книги. Голос мой слаб, но он звучит в унисон с вашими пророчествами. И хоть я только горсть праха, все же я принадлежу к той же цепи гор, что и вы, высочайшая в мире вершина! Потому что все, что вы делаете и говорите, так справедливо и нужно»¹.

Из этого письма, опубликованного шестьдесят лет спустя после того, как Толстой его получил, видно, с какой легкостью человек, родившийся в XIX веке, в своем восхищении объединяет вместе имена Гюго и Толстого.

* Источниками для этой работы послужили следующие издания: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное): В 90 т. М., 1928—1958; Чистякова М. Лев Толстой и Франция; Алексеев М. П. Виктор Гюго и его русские знакомства // ЛН. Т. 31—32. М., 1937; Сахалтуев А. А. Лев Толстой за чтением Виктора Гюго (по материалам яснополянской библиотеки Толстого) // Материалы VI конференции: филологические науки. Шадринск, 1969; Науменко Т. К. // Толстой — редактор: Публикация редакторских работ Л. Н. Толстого. М., 1965. Об этих источниках мне сообщили покойный доктор Сергей Толстой, внук писателя, сотрудники музея Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», в том числе А. Б. Векслер, которая составила список произведений Гюго, находящихся в личной библиотеке Л. Н. Толстого. Благодарю их за помощь, а также сотрудников Национальной библиотеки Франции и РГБ им. В. И. Ленина в Москве, которые сделали для меня фотокопии статей, которые невозможно найти во Франции.

Кроме того, оно дает возможность упомянуть роман «Отверженные» как любимый роман не только Толстого, но Герцена и Достоевского². Кендзио Токутоми Рока, один из первых знатоков Толстого в Японии, писал в 1897 г.: «После „Отверженных“ никакие другие произведения не производили на меня такое же сильное впечатление, как произведения Толстого, даже Тургенев, Достоевский и Гоголь, которых я читал в переводе на английский язык»³.

Позднее, в 1908 г., Юшида Роан (Uchida Roan), переводчик «Преступления и наказания» и «Воскресения», провозгласил, что если «„Отверженные“ Гюго — это речь, то „Воскресение“ — это настоящая проповедь»⁴.

Гюго и Толстой — два гения мировой литературы, которых последующие поколения, начиная с XX в., периодически то забывают, то вновь открывают в зависимости от ритма идеологических и исторических шатаний. В 1910 г., в год смерти Толстого, поэт Жан Ришпен пишет о тех посетителях, которые «некогда ходили поклоняться на остров *отца*-Гюго, так, по-моему, — пишет он, — постоянно ходили на поклонение со всего света и в Ясную Поляну <...>, откуда раздавалось доброе слово Льва Толстого»⁵. Подобно Виктору Гюго, Толстой познал при жизни, редкая привилегия, вершину своей славы. Спустя пятьдесят лет после смерти великого русского писателя Андре Моруа писал, что «над каждой эпохой господствует несколько свободных умов, которые она почитает и которые направляют ее мысли. Толстой был одним из этих умов, как был им Виктор Гюго»⁶.

Мы попытаемся показать, каким образом в течение двадцати пяти лет, которые отделяют смерть Гюго от смерти Толстого, Толстой продолжал и преумножал великие идеалы французского поэта, которые властно звучали во всех уголках мира.

* * *

Разумеется, Толстой читал произведения Гюго гораздо раньше 1885 г., года смерти французского поэта и его грандиозных национальных похорон. Например, в 1857 г. он читал «Клода Ге» (46, 170). Уже в ранней своей повести «Казачи» (опубликована в 1862 г.) он называет «Собор Парижской богородицы» среди тех произведений, которые сможет понять молодая черкешенка, способная легко выучить французский (6, 11). В комедии «Зараженное семейство» (1864) другая «молодая девушка цитирует Гюго из поэмы „Песни сумерек“, подбирая весьма взвешенное суждение: „Твердынский, вы знаете стихи Гюго? Гюго отсталый человек, но

он поэтическим чутьем проникал многое из будущего. *N'insultez pas*...»* (7, 283).

В те же годы Толстой защищает критические статьи Гюго в письме к знаменитому в ту пору поэту А. А. Фету. Это письмо стоит привести: «Вы читаете Аристофана. Я это очень понимаю и читаю хоть и свежее, но в том же роде — Дон-Кихота, Гёте и последнее время всего Victor Hugo. Знаете, что о V. Hugo никто не говорит, и все его забыли, именно оттого, что он всегда и у всех останется, не так, как Байроны и Вальтерскоты. Читали ли вы в его полных сочинениях его критические статьи? Все, что у нас об искусстве лет 10 тому назад, да и теперь, пожалуй, пересушивается *à tort et à travers***, 30 лет тому назад высказано им, да так, что нельзя слова прибавить и слова выкинуть» (61, 139).

Именно в это время, время великого чтения произведений Виктора Гюго, Толстой открыл «Отверженных». Запись в дневнике лаконична (23 февр. 1863): «*Misérables* — сильно» (48, 52)⁷. Позднее в разговоре с В. Ф. Лазурским он вернется к этому открытию. После того как, подобно всей читающей публике, были проглочены «Парижские тайны» и «Граф Монте-Кристо», Толстой восхищался «Отверженными»: «Это один из лучших романов. Однако, заметьте, — продолжает он, — французы воздают ему какие почести и в то же время всегда немного пощипывают»⁸. Гюго создал, прибавил он, «целый ряд типов, которые до того оригинальны и ярко написаны, что никогда не могут быть забыты»⁹. Это восхищение никогда не проходило. В 1872 г. писатель изложил в форме маленького отдельного рассказа и включил в свою «Азбуку» знаменитый эпизод встречи Жана Вальжана с епископом Мириелем под заглавием «Архиерей и разбойник» (21, 188—189)¹⁰. «Это такая история, она меня за душу хватает, я ее не могу читать», — говорил Толстой в конце своей жизни. И эту «историю» он решил включить в «Круг чтения», на этот раз под заглавием «Епископ Мириель» (42, 278—284). Он поручил перевести из романа главы о встрече Жана Вальжана с епископом своей племяннице Е. В. Оболенской. Ее перевод он просмотрел и тщательно отредактировал начало — первые три листа¹¹.

Даже в те годы, когда писатель неотвратимо приближался к моральному кризису, который, начиная с 1879 г., будет ориентировать его творчество в новом направлении и окрашивать все его суждения

* не оскорбляйте (фр.). Целиком этот стих звучит так: «Oh! N'insultez jamais une femme qui tombe!»

** вдоль и поперек (фр.).

о современниках, художниках, литераторах, религиозных мыслителях и т. д., самой непримиримой суровостью, он по-прежнему защищал Гюго (апрель 1877 г.): «Все ругают V. Hugo. А он там говорит в разговоре земли с человеком.

Человек: Je suis ton roi.

Земля: Tu es ma vermine*. Ну-ка, отчего они не сказали так?»¹² (62, 323).

Этот отрывок, процитированный по памяти из последнего стихотворения «L'Abîme» («Бездна») книги «Легенды веков», доказывает, что Толстой читал сборники стихов Гюго в год их выхода в свет в издательстве Calmann-Lévy (1877), то есть так же, как он читал «Отверженных», по мере их выхода в свет на французском языке.

Серьезная проблема встала перед Толстым по поводу романа «Девяносто третий год». Чертков, роль которого в последние годы жизни Толстого известна, считал рискованным, с точки зрения морали, помещение в «Посреднике» отрывка из романа «Девяносто третий год» под заглавием «Брат на брата» (переложение Е. П. Свешниковой), который производит на читателя очень сильное впечатление. По его мнению, не следует заканчивать текст словами: «Симурден застрелился», не объяснив мотивов этого самоубийства. Чертков хотел подчеркнуть, что, нарушая закон любви Христа, человек естественно и легко теряет в жизни все и доходит до самоубийства. Он предлагает Толстому самому составить конец и изменить что нужно. «Переделка свободная, — добавляет он, — и имени Виктора Гюго не будет помещено» (85, 212). Но Толстой 1 июня '1885 г. объявил П. И. Бирюкову, что «рукопись» Е. П. Свешниковой поправлять («и прибавлять заключение») он не будет: «Язык однохарактерный и в разговорах даже очень хорош и чувствуется Гюго, т. е. великий мастер. Заключение всякое будет или ложно, или нецензурно» (63, 254).

В яснополянской библиотеке сохранилось иллюстрированное издание романа «Девяносто третий год» (Paris, 1876), в котором Толстой подчеркнул фиолетовым карандашом страницы 435—436 и 438—439¹³, где маркиз Лантенак рассуждает о французской революции, идеализирует и пристрастно защищает дореволюционные порядки, сожалея, что своевременно не расправились с возбудителями французской революции — французскими просветителями, Вольтером и Руссо, и кончая словами: «У нас не будет отныне рыцарей, не будет героев»¹⁴. Особый интерес Толстого к этим отрывкам из романа «Девяносто третий год» объясняется, безусловно, отзвуками мыс-

* *Человек:* Земля, я твой царь. *Земля:* Ты только червь (фр.).

лей Жозефа де Местра, которые он там почувствовал. Их присутствие в концепции философии истории «Войны и мира» блестяще показал в своей работе «Еж и лиса» Исайя Берлин¹⁵.

* * *

25 октября 1891 г. в письме петербургскому книгоиздателю М. М. Ледерле Толстой составил список книг, произведших на него наибольшее впечатление в разные периоды его жизни. Место, которое в нем занимает Гюго, достойно внимания. В период с 20 до 35 лет Толстой называет «Собор Парижской Богоматери» («очень большое» впечатление); с 35 до 50 лет — «огромное» впечатление от романа «Отверженные», книги, которая заслужила быть прочитанной «на всех языках мира» (66, 66—68)¹⁶. В это же десятилетие Толстой открывает для себя некоторые поэмы из книги «Легенды веков», которых не было ни в первой серии (1859), ни во второй (1877), обе — хорошо известные русскому писателю. Поэма «Эшафот», вышедшая в дополнительной серии (1883), вдохновляет его в 1894 г. дать следующую оценку, о которой сообщает В. Ф. Лазурский: «Вечером читали вслух из июльской книги „Северного Вестника“ „Эшафот“ Виктора Гюго». Толстой сказал, что «это превосходная вещь» (сюжет против смертной казни брал его за сердце так же, как и Гюго), и добавил, что «у него есть почти все сочинения Гюго» и что он прочел все, что попадало ему под руку. Он «признает в нем много странных вещей, но все искупается высотой содержания. И теперь пигмеи вроде Бурже подсмеиваются над ним; ведь Гюго — гигант в сравнении с ним»¹⁷.

Для нашего сюжета самым важным источником для этого периода является знаменитый трактат «Что такое искусство?», над которым Толстой работал около пятнадцати лет. Он вышел в Москве в 1898 г. и одновременно на французском языке в переводе Теодора де Визева. В одном из вариантов появляются имена тех писателей, художников, мыслителей, с которыми Гюго, похоже, встречался с 1851 г. Например, в варианте «О том, что называется искусством» (1896) Толстой противопоставляет стихи подлинных поэтов Гёте, Пушкина, Гюго, которые надоели, плоским и бездарным стихам Бодлера и Верлена, а также стихам их продолжателей, таких как Малларме, пишущих «что-то по их мнению прекрасное, но никому не понятное. То же делают у нас в России какие-то непонятные люди» (30, 246).

В X главе окончательного текста он вновь осуждает «символистов» и «декадентов» за «вычурность и неясность». Этому «декадансу» у Толстого имеется необходимое противоядие: «Если бы от меня

потребовали указать в новом искусстве на образцы по каждому из этих родов искусства, то как на образцы высшего, вытекающего из любви к Богу и ближнему <...>, я указал бы на „Разбойников“ Шиллера; из новейших — на „Les Pauvres gens“ V. Hugo et его „Les Misérables“» (30, 160).

В трактате «Что такое искусство?», как и в других своих сочинениях, Толстой часто использует прием перечисления имен. И показательно, с кем он объединяет Гюго: «Диккенс, Гюго, Достоевский („Мертвый дом“»)» (30, 177); «романы Диккенса, стихи Гёте, Шиллера, Гюго, Пушкина, Тютчева» (30, 336); «Гюго, Диккенс, Пушкин, Корнель, Мольер» (30, 379), через две страницы добавлены Мюссе и Ламартин (30, 381). Толстой упрекает романы Бурже и Золя, в которых «все холодно, обдуманно и нет искры заражающего чувства» (30, 380). Среди современников только Мопассан (после Чехова) снискал милость в его глазах, так как он заметил у них глубокое сочувствие к людям, такое же, как у Виктора Гюго. «„Une Vie“ — превосходный роман, не только несравненно лучший роман Мопассана, но едва ли не лучший французский роман после „Les Misérables“ Гюго» (30, 7).

Отметим, однако, что вышеперечисленные списки отличаются от другого перечня писателей, исключительно французских, которые упоминаются в знаменитом письме к Октаву Мирбо (13 октября 1903 г.): «Каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала <...> Французское искусство произвело на меня в свое время это самое впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо» (74, 194—195)¹⁸.

Словом, Гюго появляется и как отправная точка, и как основной стержень французской культуры, и как писатель, которым Толстой восхищался еще в молодости и которого он по-прежнему ценит на зкате жизни.

Последний великий роман Толстого «Воскресение» (1899) рассказывает о суде человеческой несправедливости. С 15 февраля 1902 г. в журнале «Revue des Deux Mondes» Андре Ле Бретон печатал длинную статью под заглавием «Социальное милосердие в романе. Автор „Отверженных“ и автор „Воскресения“», где подчеркивалось глубокое духовное сходство, которое сущностно связывает два произведения вопреки значительному несхождению персонажей и сюжетных ситуаций. Бретон отмечает также контраст между забвением, в которое погрузилось творчество Гюго, и колоссальной популярностью Толстого. О параллелях между двумя романами десять лет спустя писала Анжель Дюк-Керси в социалистической газете

«L'Humanité», где печатался роман «Воскресение» в переводе Теодора де Визева. Газета предпослала публикации «Воскресения» ее вступительную статью. Роман претерпел сокращения, было изъято несколько эпизодов, в том числе описание церковной службы в тюрьме. Попутно отметим, что супруги Дюк-Керси в 1898 г. побывали в Ясной Поляне¹⁹.

* * *

Нам остается показать, что Гюго по-прежнему и как никогда раньше живет в душе и сердце Толстого до конца его пути. Поэма «Бедные люди», уже цитированная в трактате «Что такое искусство?» как основной шедевр, была переведена в прозе В. Микулич в 1904 г. Толстой перед включением в «Круг чтения» взялся исправить: «Я еще просмотрел его [перевод] и кой-где изменил, но боюсь, что неверно с подлинником, которого у меня нет. Надо бы проверить. Это такая классическая вещь, что портить ее грех» (75, 229)²⁰. В марте 1908 г. он возвращается к переводу «Бедных людей» В. Микулич. Он объявил его «нехорошим и пожелал найти в библиотеке или купить оригинал и по нему переделать»; окончательный текст напечатан только в 1933 г.²¹ Лирические отступления Гюго были сняты, конкретные детали сохранены в той мере, в какой они помогают русскому читателю понять сюжет. Поэма стала прозой, ее символическое значение решительно принесено в жертву дидактике.

Собрание посмертных произведений Виктора Гюго появилось в издательстве Calmann-Lévy в 1901 г. под заглавием «Post-scriptum моей жизни». Они заинтересовали Толстого в 1902 г. В дневнике по поводу «Мыслей о бесконечном», имеющих в этой книге Гюго, оставлены такие знаменательные записи: «Об infini, он расписывает расстояния звезд, быстроту, продолжительность времени, и что-то в этом видит величественное. Меня никогда это не озадачивало, не пугало, я всегда видел в этом неразумие и никогда не признавал реальности этих страстей величин пространства и времени. Теперь же я знаю, что это значит» (54, 146; 500).

Позже Толстой будет перечитывать посмертные произведения Гюго, «глубину мысли, художественное мастерство и яркий язык» которого высоко ценил. 2 марта 1908 г. Толстой диктовал секретарю Гусеву свой перевод рассказа Гюго «Атеист» и заплакал при последних строчках. В рассказе говорится о трагической судьбе священника Анатоля Лере, сына бедного бретонского рыбака, который утратил веру в Бога, отказался от сана священника, проникся материалистическим мировоззрением и излагает своему собеседнику свои «демократические» взгляды, по которым нет Бога, нет идеала, а цель жизни

в том, чтобы жить для себя. Но пять месяцев спустя после этого разговора Лере, во время кораблекрушения у берегов Австралии, забыл о всех своих рассуждениях и бросился спасать двух женщин и, спасая третью, погиб сам. На последних словах этого рассказа, как рассказывает секретарь Гусев, Толстой заплакал и, окончив, громко всхлипывал. Он также заливался слезами, перечитывая поэму «Guerre civile», о которой пойдет речь немного позже.

Восхищение «Атеистом» не мешает Толстому-переводчику отказать и на этот раз от высокопарности Гюго и от приподнятости, за которую он упрекал поэта в 1909 г.²², а также от слишком явных стилистических эффектов: он сокращает, перемещает и уточняет текст, чтобы извлечь из него универсально доступное аналитическое повествование. Сначала названный «Атеист», рассказ был озаглавлен русским словом «Неверующий». Но Толстой предпосылает рассказу эпиграф из Канта о «двух вещах», которые всегда вызывали восхищение философа: «звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас» (41, 516). Разве это не та же дидактическая жилка?

1908 год, прошедший под знаком Гюго, увидел третий перевод Гюго, выполненный русским писателем. Речь идет еще об одной поэме из книги «Легенды веков», даже из той же самой серии, что и «Бездна», которая была известна Толстому с 1877 г. «Guerre civile» появилась на русском языке в форме рассказа из двух с половиной страниц под заглавием «Сила детства» в том же томе «Круга чтения» (42, 31–33), что и «Бедные люди» (1910). Гюго поместил обе поэмы в серию, которая называется «Les Petits»*, где он проиллюстрировал поочередно то силу, то слабость ребенка: «Dans l'enfant qui bégaie on entend Dieu parler. Fonction de l'enfant»²³.

Здесь, как и везде, текст Гюго символичен, наполнен аллегориями, народу дается слово. Толстой индивидуализирует и варьирует персонажи. У Толстого — женщины, а не «зловещие люди» («hommes sinistres»), которые хотят, чтобы предали смерти «шпики, королей, священников»; Толстой русифицирует текст и пишет «цари и попы» (неслыханная смелость до 1905 г.). У Гюго мальчик выражается в академической манере: «Это мой отец!» — «Отец, я не хочу, чтобы тебе сделали больно!» У Толстого язык более естествен: «Батя! Что они с тобой делают? Постой, постой, возьми меня, возьми!..»

Беспристрастный рассказчик присутствует в обоих текстах, но у Гюго он красноречив и даже болтлив:

* «Малыши» (фр.).

Cet homme était de ceux qui font l'aveugle guerre
Des rois contre le peuple, et ne distinguent guère
Scévola de Brutus, ni Barbes de Blanqui;
Il avait tout le jour tué n'importe qui,
Incapable de craindre, incapable d'absoudre...*

Толстой ограничивается таким комментарием: «Это был один из тех людей, которые в войне народа против власти воюют на стороне власти».

И наоборот, Толстой развертывает конец поэмы Гюго и решительно меняет ее значение: образ стойкого заключенного, готового умереть, уступает образу человека, который внезапно осознает свое преступление перед народом и убегает, охваченный угрызениями совести.

Гюго:

Nous sommes à notre aise à présent, tuez-moi,
Dit le père aux vainqueurs; où voulez-vous que j'aille?
Alors, dans cette foule où grondait la bataille,
On entendit passer un immense frisson,
Et le peuple cria: Rentre dans ta maison! **

Толстой: «И тут случилось что-то совсем непонятное, неожиданное. Какой-то один и тот же дух проснулся во всех этих за мину-ту жестоких, безжалостных, ненавидящих людях, и одна женщина сказала:

- А знаете что. Пустить бы его.
- И то, Бог с ним, — сказал еще кто-то. — Отпустить.
- Отпустить, отпустить! — загремела толпа.

И гордый, безжалостный человек, за минуту ненавидевший толпу, зарыдал, закрыл лицо руками и, как виноватый, выбежал из толпы, и никто не остановил его» (42, 31–33).

* ...Был весь его мундир

В крови; он был солдат: приказ дал командир
Рубить или колоть, и он беспрекословно
Своих же убивал, не думая, что кровно
Тем оскорблял народ; — он просто «брал в штыки».
Сцевола или Брут, Барбес или Бланки —
Все для него равны. Несчастливого солдата
За пролитую кровь ждет страшная расплата²⁴ (фр.).

** — Теперь, — сказал отец, — стреляйте козь хотите...
Свободны вы. Куда идти вы мне велите?
И трепет пробежал по всей толпе волной...
И закричал народ: — Ступай... ступай домой!²⁵ (фр.)

Здесь ясно виден дидактический замысел. Тогда как Гюго ограничивается столкновением двух концепций: жесткая, непоколебимая верность общественному долгу противопоставлена сильной, бурной стихии народных страстей, Толстой хочет, чтобы чуду сострадания, внезапно охватившему сердце народа (а сначала сердце женщины), ответило чудо преображения через непротивление представителя власти, олицетворяющего насилие на службе у власти.

* * *

За полтора года до смерти Толстой так сказал о Гюго: «Это один из самых близких мне писателей. И эти преувеличения, о которых так много говорят, я все это переношу от него, потому что чувствую его душу. Виктор Гюго душу свою вам раскрывает»²⁶.

Попытаемся в рамках этого этюда обосновать предварительный итог последствий этого восхищения, которое не только поддерживалось, но и еще больше выросло в течение полувека. Конечно, было бы абсурдно делать механическое резюме о тотальном отсутствии интереса со стороны Толстого к тому или иному произведению Гюго просто из-за того, что оно нигде не упоминается, ни в его произведениях, ни в переписке. Между тем необходимо отметить, что русского писателя интересовали прежде всего критические произведения, поэзия и прозаические произведения Гюго. Ни одного упоминания о его театральных пьесах мне найти не удалось.

1) Критические произведения. Как известно, Толстой критические статьи Гюго по литературе и философии читает с 1866 г., например, эссе «Вильям Шекспир», из которого он цитирует десяток строк о «Короле Лире» в своем собственном произведении «О Шекспире и о драме» (35, 218–219).

2) Поэтические произведения. Если стихотворения из книг «Песни сумерек» и «Осенние листья» sporadически появляются в некоторых цитатах, то никаких следов стихотворений ни из книг «Оды и баллады», «Восточные мотивы», стихотворения «Возмездие», ни, самое удивительное, стихотворений из книги «Созерцания», чтобы остановиться на основных сборниках. Зато все три серии стихотворений из книги «Легенды веков» были у Толстого в большом почете.

3) Прозаические произведения. Это та часть творческого наследия, которую Толстой-романист очень ценил и больше всего перечитывал: «Собор Парижской Богоматери», «Клод Ге», «Отверженные», «Человек, который смеется», «Девяносто третий год».

Казалось бы, Гюго не интересовал Толстого как политический деятель; но как свидетель и очевидец своего времени, автор «Атеиста» и «Гражданской войны», он его глубоко волновал.

В заключение скажем, что Толстой оставался верен Гюго в течение всей своей творческой жизни. Увлеченность Гюго никогда не носила чисто эстетического характера, и та часть творческого наследия Гюго, которую суммарно можно охарактеризовать как «романтизм», например театр, оставила Толстого равнодушным. Русский писатель принадлежит, не надо об этом забывать, к поколению, которое пришло после Гюго. Зато все, что у Гюго сказано о моральной высоте человека, особенно детей, женщин, скромных и бедных людей, изгнанников и осужденных, нашло в душе, в сердце и в творчестве Толстого самое яркое продолжение и самые глубокие отзвуки.

¹ ЛН. Т. 75. М., 1965. Кн. 1. С. 304.

² О восприятии Виктора Гюго в России см.: Stremoukhoff, D. *Témoignages russes sur Victor Hugo* // *Information Littéraire*. 1952. № 3. P. 95–101; Pierre, André. *Le succès des «Misérables» en Russie* // *Le Monde*. 27 févr. 1952. P. 7; Indications utiles dans le vol. de la Bibliothèque Nationale; Léon Tolstoï: Exposition organisée pour le cinquantenaire de sa mort. Paris, 1960 (Bibliothèque Nationale); Laffitte, Sophie. *Tolstoï et les écrivains français* // *Europe*. Oct.-déc. 1960. P. 193–195.

³ Koyama-Richard, Brigitte. *Le Rayonnement de Tolstoï au Japon à l'ère Meiji*: Thèse dactylographiée. Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1985. T. 1. P. 188.

⁴ Там же. Т. 2. P. 295.

⁵ ЛН. Т. 75. М., 1965. Кн. 2. С. 374.

⁶ Там же. Кн. 1. С. 221; Maurois, André. *Le cinquantième anniversaire de Tolstoï* // *Revue de Paris*. Mai. 1961. P. 3.

⁷ См.: Hugo, Victor Marie. *Les Misérables*. Bruxelles; Naumbourg: G. Paetz, 1862. 17 t.

⁸ ЛН. Т. 37–38. М., 1939. С. 458. Разговор происходил в 1894 г. (примеч. авт.).

⁹ Там же.

¹⁰ Материалом для рассказа послужила вторая часть романа «Отверженные».

¹¹ Этот отрывок из романа «Отверженные» был подготовлен к печати Б. М. Шумовой. См.: Толстой — редактор. М., 1965. С. 265–267.

¹² Точный текст таков: *L'Homme*: Terre, je suis ton roi. *La Terre*: Tu n'es que ma vermine. (См.: Victor Hugo. *Légende des siècles*. Paris: Bibl. de la Pléiade, P. 741.

¹³ Пометы, указанные А. А. Сахалтуевым, сделаны рукой неустановл. лица. См.: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание: Книги на иностранных языках: В 2 ч. Тула, 1999. Т. 1. С. 523.

¹⁴ Сахалтуев А. А. Лев Толстой за чтением Виктора Гюго (по материалам яснополянской библиотеки Толстого) // Материалы VI конференции: филологические науки. Шадринск, 1969. С. 38.

¹⁵ См.: Берлин, Исаяя. Еж и лиса // История свободы. М., 2001. С. 232. Попытка сравнения «Войны и мира» и романа «Девяносто третий год» была сделана А. Г. Горнфельдом. См.: Романы и романисты. М., 1930.

¹⁶ Stead, William. Truth about Russia. Londres; Paris; New York, 1888.

¹⁷ ЛН. Т. 37–38. М., 1939. С. 464.

¹⁸ Voir cat. В. N. 1960, № 205 et 206. См.: Науменко Т. К. Виктор Гюго в оценке Л. Н. Толстого // Вопросы русской советской и зарубежной литературы. Горно-Алтайск, 1969. Вып. 22. С. 21–36.

¹⁹ ЛН. Т. 75. М., 1965. Кн. 1. С. 587. В яснополянской библиотеке сохранилась книга «Les Misérables: Drame / Mis à la scène par Charles Hugo et Paul Meurice; d'après le roman de Victor Hugo. Paris: Calmann-Lévy, 1900» с таким посвящением: «на память автору „Воскресения“ об авторе „Отверженных“ Поль Мерис». Об этой книге мне сообщила мадам Анна Векслер — библиотекарь научной библиотеки Музея.

²⁰ Корректуры Толстого сохранились в ОР ГМТ. См.: Гюго В. Бедные люди / Публикация М. Н. Бойко // Толстой — редактор. М., 1965. С. 268–273.

²¹ См.: Толстой Л. Н. Неизданные тексты. М., 1933. С. 287–288.

²² ЛН. Т. 37–38. М., 1939. С. 534.

²³ Hugo V. La Légende des siècles. Paris: Bibl. de la Pléiade. P. 709.

²⁴ См.: Гюго, Виктор. Избранные стихотворения. М.: Посредник, б. г. С. 21.

²⁵ Там же. С. 24.

²⁶ ЛН. Т. 31–38. М., 1939. С. 532.

Г. В. Алексеева

РЕЦЕПЦИЯ Л. Н. ТОЛСТЫМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

С 4 по 19 декабря 1906 года Толстой читает книгу писателя-социалиста Эптона Синклера «Джунгли», которая была прислана в Ясную Поляну с дарственной надписью автора: «To Lyof Tolstoi with the sincerest regards of Upton Sinclair. Princeton, New Jersey, U. S. A. March 24-th, 1906» («Льву Толстому с искренним почтением от Эптона Синклера»).

Впечатления от прочитанного аккуратно зафиксированы Д. П. Маковицким. Толстой внимательно читает роман, оставляя на полях многочисленные отчеркивания, обсуждает прочитанное с домашними, друзьями. Книга отражает реальное положение дел в Америке к началу столетия, когда росло движение протеста в среде промышленных рабочих, создавались профсоюзные объединения, распространялись всякого рода социалистические идеи, ставшие столь вождельными как для бунтовавших фермеров, так и для объединявшихся в движения рабочих, на фоне все более откровенного подчинения государственного механизма силе капитала. И если Эдвард Беллами* искал выход в создании подходящей времени социалистической утопии, то Синклер создавал беспощадную по своему откровению картину язв современного ему общества и безнравственности большого капитала, лелея надежду на пробуждение всего американского общества, ни на минуту не теряя веры в американскую демократию, в победу справедливости.

Роман «Джунгли» продемонстрировал обращение Синклера в социалистическую веру. Как метко сказано Э. Х. Эйби, «Эптон Синклер стал присяжным революции, ставившим перед собой цель подсмотреть неприглядные стороны капиталистической системы»¹. И подсмотрел... Не случайно Теодор Рузвельт назвал писателей этого направления, к которому принадлежал Синклер, «разгребателями грязи». Толстому, изучавшему в 1880-е годы жизнь московского «дна», такая работа была, безусловно, знакома, хотя многих добропорядочных американцев картины жизни рабочих Чикаго шо-

* Толстой читал книгу Э. Беллами «Looking Backward: 2000—1887» в июле 1889 г.

кировали: слишком откровенно, слишком обличительно. Сам Синклер написал «Джунгли» после тщательного изучения работы чикагских боен — опыт, Толстому неизвестный.

«Яснополянские записки» от 4 декабря 1906 года сохраняют первое впечатление Толстого от романа Синклера: «Л. Н. очень поздно вышел к чаю. Читал „The Jungle“, роман Эптона Синклера. Рассказывал: — „Джунгли“ означают чащу; как чаща — то, где деревья густо растут, так „джунгли“ — то, где люди скученно живут. — И рассказывал обстоятельно, что сегодня прочел. О литовской эмигрантской семье, как ее надувают в Чикаго, как старик не находит работы, а когда получил (самую отвратительную), должен был отдавать треть платы тому, кто ему ее нашел. Л. Н. (продолжая): Так верно, живо описано. Видно, Душан Петрович, там (в Америке) много нашего (славянского) брата»². На следующий день, 5 декабря 1906 года, Д. П. Маковицкий отметил высказывание писателя в связи с романом Синклера: «В Америке все фальсифицировано — и бумага от мух»³. Толстой, хорошо знакомый с состоянием американского общества по произведениям многих американских писателей, очень тонко чувствует настроение романа, вдумчиво его прочитывает, понимая, что перед ним — чудовищная картина человеческих «джунглей», скопища рабочей силы, необходимого «материала» в погоне за прибылью.

На с. 87 тома второго книги Синклера (Sinclair, Upton Beall. The Jungle. — NY, 1906, [8], 413 p.) Толстой подчеркивает строки, где автор рисует безрадостную картину жизни иммигрантов в Чикаго: «Иммигрантов подстерегало много опасностей, с которыми они не в силах бороться. Их дети болели чаще, чем на родине, но откуда им было знать, что в доме нет канализационного отвода и нечистоты за пятнадцать лет скопились в яме под ним? Откуда им было знать, что к бледно-голубому молоку, которое они покупали за углом, добавляют не только воду, но и формальдегид. На родине, когда дети заболевали, тетя Эльжбета сама собирала целебные травы, а теперь ей приходилось идти в аптекарский магазин и покупать там экстракты, — откуда ей было знать, что все они поддельные? Как могли они обнаружить, что в чай и кофе, в сахар и муку что-то подмешано, что консервированный горох окрашен солями меди, а фруктовый джем — анилиновыми красками? И даже знай они все это, что они могли поделать, раз на много миль кругом нельзя было купить ничего доброкачественного?»

Толстой хорошо понимал, что страдания, болезни, смерть, ужасающий быт рабочих не являются плодом авторского воображения, скорее — это неотъемлемая часть жизни рабочих-иммигрантов в больших индустриальных центрах. Д. П. Маковицкий отмечает в своих «Записках» 14 декабря 1906 г. впечатление Льва Николаевича от

дальнейшего чтения книги: «О „The Jungle“ Эптона Синклера — что следовало бы издать по-русски в „Посреднике“. Сутковой: В сокращенном виде, чтобы рабочие могли читать. Они думают, что за границей всем прекрасно живется. Л. Н.: „The Jungle“ означают чащу. Там сказано, что как в частом лесу нижние суки сохнут, гибнут, так и в чаще рабочих — слабые. С рабочими в Америке поступают, как с гнилыми грушами; нужно 20 — объявляют, что нужно 200; являются 2000, из них выбирают 20 самых мускулистых и дают им работу шесть часов в день, платят с часа»⁴.

На с. 93 тома 2 Толстой подчеркивает: «На следующее утро, еще до рассвета, возле бойни Дэрхема скопилось три тысячи человек, и пришлось посылать за запасными полицейскими частями, чтобы предотвратить беспорядок. И тогда дэрхемовские мастера отобрали двадцать самых здоровых мужчин — слово „двести“ оказалось типографской опечаткой». 19 декабря 1906 г. Д. П. Маковицкий свидетельствует: «Л. Н. рассказал про американскую жизнь, про тамошние обманы, конкуренцию (и в нищенстве). По Эптону Синклеру заключил: „Tout comme chez nous“ [Все как у нас]»⁵. На с. 89 тома 2 отмечены следующие строки: «Приближалась суровая зима, надо было скопить денег на покупку одежды и одеял, но сколько бы они ни скопили, все равно ничего теплого они купить не могли. Одежда, которую им предлагали в лавках — была из хлопка или „шодди“ — материи, изготовлявшейся из старого тряпья. За более дорогую цену можно было купить только что-нибудь понаряднее, а то и вовсе попасть впросак. Вещей действительно доброкачественных нельзя было приобрести ни за какие деньги». Последние слова «приобрести ни за какие деньги» Толстым подчеркнуты.

Толстой внимательно читает роман, подчеркивает места, наиболее его взволновавшие, у него возникают аналогии с положением обездоленных в России. «Записки» Д. П. Маковицкого 24 декабря 1906 г. свидетельствуют: «Л. Н. спросил Дмитрия Васильевича [Никитин], знает ли он „Джунгли“ Эптона Синклера. Дмитрий Васильевич читал часть в „Вестнике Европы“. Л. Н.: Удивительная книга, автор социалист, такой же ограниченный, как все, но знаток жизни рабочих. Выставляет недостатки всей этой американской жизни. Не знаешь, где хуже (т. е. в России или в Америке)»⁶.

Не признавая политических устремлений Синклера, Толстой не мог не отдать должного художественному мастерству и осведомленности писателя в предмете, столь реалистично им изображаемом. Толстой не ошибался — осведомленность действительно была основной: работая над романом, молодой писатель в течение семи недель жил среди рабочих и их семей, самым внимательным образом

наблюдая их повседневный тяжкий труд, впитывая в себя все детали жизни общины иммигрантов. Как Синклер сам замечал, невозможно было просто долго наблюдать, не делая философских заключений, и он отдавал себе отчет в том, что человеческая трагедия, происходившая на его глазах на фабриках и рабочих окраинах, имеет более глобальный характер и касается не только иммигрантов Чикаго.

На с. 95–96 Толстой очеркивает строки, в которых Синклер особенно красноречиво изображает унылую безысходность положения американского рабочего-иммигранта: «Вам оставалось только выбирать. „Сегодня горячий гороховый суп и вареная капуста“, „Франкфуртские сосиски с кислой капустой. Добро пожаловать“, „Бобовый суп и рагу из баранины. Милости просим“, — соблазняли объявления, написанные на нескольких языках. Такими же многоязычными были и вывески на этих заведениях, разнообразные и заманчивые: „Домашний круг“, „Уютный уголок“, „У камина“, „У очага“, „Дворец наслаждений“, „Страна чудес“, „Волшебный замок“, „Любовные утехи“. Но как бы ни называлась пивная, внизу всегда было приписано: „Клуб союза“, и все они гостеприимно встречали рабочих; в них всегда можно было устроиться возле горячей печки, поболтать и посмеяться с друзьями. А от посетителя требовалось только одно: он должен был пить. Если бы кто-нибудь заходил без этого намерения, его немедленно выгоняли вон, а если он мешкал, ему могли вдобавок проломить голову бутылкой»⁷. Картины американской жизни, нарисованные в романе Синклером с потрясающей достоверностью, подчас с натуралистической дотошностью, постоянно вызывали у Толстого ассоциации с российской действительностью: бойни, нищета рабочих и пьянство — как единственный выход. И, конечно, он не мог не чувствовать искреннюю преданность автора рабочим, его глубочайшее сочувствие их безрадостной доле. Незадолго до выхода в свет романа Синклера Толстой работал над статьей «Рабство нашего времени», в которой развил темы, затронутые в трактате «Так что же нам делать?». 13 марта 1900 года он размышляет о статье в своем дневнике: «О 36-часовом дне, кажется, выйдет. Главное, будет показано, что теперешнее предстоящее освобождение будет такое же, какое было от крепостного права, т. е. что тогда только отпустят одну цепь, когда другая будет твердо держать. Невольничество отменяется, когда утверждается крепостное право. Крепостное право отменяется, когда земля отнята и подати установлены; теперь освобождают от податей, когда орудия труда отняты» (54, 10–11).

Параллели между статьей Толстого и романом Синклера, носящим документально-публицистический характер, вполне очевидны. Джек Лондон отзывался о «Джунглях» как о «Хижине дяди Тома» рабов

наемного труда: «Что „Хижина дяди Тома“ сделала для черных рабов, то же „Джунгли“ имеют возможность сделать для рабов наемного труда»⁸. Синклер с документальной убедительностью повествует о тяжелой доле простых неграмотных рабочих, в прошлом — крестьян, привыкших с детства к тяжелому физическому труду. Толстой в статье «Рабство нашего времени» анализирует сложившуюся ситуацию: «И потому в вопросе о том, почему рабочие в городах находятся в бедственном положении, заключается прежде всего вопрос о том, какие причины выгнали этих людей из деревни, где они или их предки жили и могли бы жить и у нас в России и теперь еще живут такие люди, и что пригнало и пригоняет их против их желания на фабрики и заводы» (34, 157).

Социалистические мотивы Синклера были чужды Толстому, хотя Синклер, выступая с проповедью социалистической доктрины как новой религии человечества, основанной на буквальном воплощении всех христианских заповедей, был против революционного преобразования жизни. Толстой очень трезво оценивал все социалистические лозунги, понимая, что за этими лозунгами, провозглашенными Синклером в романе (такими, как: «И тогда начнется непрекращающееся могучее движение, неотразимый всепоглощающий прилив — объединение возмущенных рабочих Чикаго под нашими знаменами! Мы организуем их, мы обучим их, мы поведем их к победе! Мы слоим наших противников, мы сметем их с нашего пути...»⁹), стоит насилие в той или иной форме. Как отметил один из исследователей романа Джеймс Баррет, «главной целью Синклера было изображение хаоса и разврата, порождаемых капитализмом среди новых иммигрантов. Единственным выходом из этой бездны отчаяния была, с точки зрения Синклера, социалистическая партия, партия, которую он хорошо знал и понимал и которой посвятил свою книгу и свои силы, партия, ориентированная на реформы, через которую Юргис обретает политическое спасение в конце романа»¹⁰.

Толстой, хоть и был тронут искренней преданностью, сочувствием Синклера положению рабочих иммигрантов, его точки зрения на сложившееся положение не разделял. «Все кричат о шаткости нашего общественного строя, об исключительном положении, о революционном настроении. Где корень всего? На что указывают революционеры? — На нищету, неравномерность распределения богатств. На что указывают консерваторы? — На упадок нравственных основ. Если справедливо мнение революционеров, что же надо сделать? — Уменьшить нищету и неравномерность богатств. Как это сделать? — Богатым поделиться с бедными», — писал Толстой еще в 1882 году в статье «О переписи в Москве» (25, 174). За почти два десятилетия у него была возможность углубленного осмысления положения рабочих в

городах, знакомства с сочинениями известных экономистов и социологов, и в статье «Рабство нашего времени» он резюмирует: «Бедственность положения фабричного и вообще городского рабочего не в том, что он долго работает и мало получает, а в том, что он лишен естественных условий жизни среди природы, лишен свободы и принужден к подневольному, чужому и однообразному труду» (34, 157).

Кроме книги «Джунгли», в библиотеке Толстого хранятся два номера американского журнала социалистической ориентации «WILSHIRE» за 1909 год (сентябрь — октябрь), по всей видимости, просмотренные и прочитанные Толстым. В сентябрьской тетради журнала помещен манифест-обращение со страстным призывом против войны. В этой статье-обращении автор связывает деятельность социалистов с борьбой за мир и обсуждает отношение социалистического движения к вопросу о войне, считая, что «пропаганда международной солидарности и всеобщего братства является сутью нашего движения, сутью социализма»¹¹. Анализируя положение в Европе в конце XVIII — начале XIX веков, Синклер пишет: «Так гуманизм Руссо обернулся милитаризмом Наполеона, и цивилизация в течение двадцати лет находилась в состоянии отвратительной резни, последствия которой можно видеть и сегодня у всех народов, принимавших участие в ней»¹². «Врагом из врагов» называет Синклер войну. По мысли Синклера, война между цивилизованными народами является преступлением из преступлений, и «никакое действие, которое предотвращает ее, не будет неправильным»¹³.

По мнению Синклера, социалистическое движение существует, чтобы спасти цивилизацию от подобного поворота истории. В другом номере журнала помещена одноактная пьеса Синклера «The Second Story Man», как бы продолжающая тему «Джунглей»: в ней представлена трагическая судьба Джима Фарадея, промышленного рабочего, потерявшего не только здоровье, но жену и детей. В этой короткой пьесе Синклер как бы показывает альтернативу пути Юргиса: если не солидарность и единение всех рабочих — то моральная опустошенность и физическая деградация личности. Но, казалось бы, физически и морально сломленному, Д. Фарадею удастся на какое-то мгновение высидеть над виновниками его трагедии и выступить в роли обличителя.

Т. Рузвельт по поводу выхода в свет романа «Джунгли» обратился к Э. Синклеру с письмом, в котором пытался нравоучительно наставлять молодого писателя, считая, что сравнение его в некоторых рецензиях с Горьким, Золя и Толстым совсем не является комплиментарным, особенно учитывая, что «Крейцеров соната» «могла быть написана только морально нездоровым человеком»¹⁴. Но мнение Э. Синклера о Толстом расходилось с тем, что думал о великом писа-

теле Т. Рузвельт, и спустя много лет, в 1960 году, он писал о значении Толстого в своей жизни: «Он любил справедливость, и он жалел людей, вслепую бредущих в поисках счастья. Он избежал участи быть свидетелем двух самых ужасных войн за всю историю человечества. Он стал частью моей души, и он наблюдал эти события моими глазами, выстрадал их моим сердцем, взывал моим голосом и моим пером»¹⁵.

Тема ужасающей нищеты в больших промышленных центрах Америки была Толстому в какой-то степени знакома и по книге американского общественного деятеля социалистической ориентации писателя Роберта Хантера «О бедности». В личной библиотеке писателя имеются два экземпляра этой книги на английском языке 1904 и 1905 годов издания, а также есть еще одна книга Р. Хантера: Hunter, Robert. *Socialists at work* / By Robert Hunter. — New York: Mac-Millan Company, 1908.

В 1906 году Роберт Хантер с большим энтузиазмом приветствовал выход книги Синклера «Джунгли». За три года до этого, в 1903 году, он побывал в Ясной Поляне. Толстой, подчас весьма скептически относившийся к иностранным посетителям, с большой благосклонностью принимал супругов Хантер, а также английского искусствоведа Сиднея Кокреля, сопровождавшего их. В письме к П. А. Буланже от 30 июня 1903 г. Толстой пишет: «Вчерашние американцы были серьезные, религиозные люди, и я рад был общению с ними» (74, 150). Согласно оставленным Сиднеем Кокрелем запискам о своем посещении Толстого, они много беседовали о литературе, Лев Николаевич интересовался Рёскином и Уильямом Моррисом, чьим секретарем был Кокрель. Роберт Хантер был интересен Толстому также и как друг Эрнеста Кросби. В письме к В. Г. Черткову от 30 июня 1903 г. Толстой сообщает: «Вчера у меня был некто М-г Hunter с своей женою. Они американцы, и очень мне полюбились за свое искреннее религиозное стремление жить по-божьи» (88, 300).

О посещении Роберта и Каролины Хантер Толстой сделал запись в своем дневнике от 30 июня 1903 года. Хантеры прибыли к Толстому довольно подготовленными. Как следует из письма Э. Моода, они прочитали трактат «Так что же нам делать?» и другие произведения Толстого «с большим интересом и сочувствием». В рекомендательном письме от 9 июня 1903 г., написанном Моодом для Хантеров, говорится: «Господин Хантер давно уже связан с работой, которой занимается госпожа Джейн Аддамс в Чикаго, — работа, чрезвычайно высоко оцененная всеми американскими реформаторами»¹⁶. В этом же письме Моод сообщает, что Роберт Хантер — это американец, который «в течение последних 10 лет направляет свои усилия на ликвидацию бездн между богатыми и бедными». Сам Роберт Хантер писал Тол-

стому 3 июня 1903 г.: «Моя жена и я прочитали с глубочайшим интересом многое из того, что вы написали, и все это для нас так важно, что мы решили приехать в Россию, чтобы встретиться с вами, если это возможно»¹⁷. Далее он сообщал Толстому, что «в течение десяти лет мечтает увидеться с Толстым больше, чем с кем-либо из живущих ныне людей». На конверте помета синим карандашом: «Отв. 3 июня». Спустя два года, в 1905 году, Лев Николаевич получил книгу Р. Хантера «О бедности». В письме к Толстому от 1 августа 1905 г. Хантер пишет: «Я беру на себя смелость послать вам свою книгу „О бедности“... Я боюсь, что вы можете не согласиться со мной в средствах, которые я предлагаю, но я предлагаю их, как вы увидите сами, только приблизительно. Они, однако, социалистические, поэтому я боюсь оказаться в оппозиции вашим взглядам. Тем не менее, за исключением этой части, книга может дать вам некоторую идею отчаянного положения <рабочих> в больших городах нашей страны»¹⁸. На конверте этого письма запись простым карандашом рукой Толстого: «Найти книгу On Poverty». В письме к американскому писателю от 21 августа (3 сентября) 1905 г. Толстой сообщает: «Я получил и только просмотрел вашу книгу, но прочту ее. Эта тема всегда возбуждала и возбуждает во мне величайший интерес. Я с большим удовольствием вспоминаю ваше и г-жи Хантер посещение и рад был узнать о вас» (76, 19).

В письме к Толстому от 6 октября 1905 г. Хантер пишет: «Я также слышал от моих дорогих друзей Инглиша Уоллинга и Карлайла Кокреля, что вы хорошо думаете о моей книге и хотели бы, чтобы она была по возможности переведена на русский язык. Мне трудно вам объяснить, как счастлив я, что выполнил работу, которая отмечена вашим одобрением. Ваши идеалы, творчество и жизнь являются для меня вдохновением с тех пор, как мальчиком 17 лет я собрал вокруг себя группу молодых людей, чтобы прочитать им одно из ваших сочинений о проблемах жизни. Эта книга, несомненно, одна из ваших лучших, помогла мне определить курс всей моей жизни»¹⁹.

В своей книге* Роберт Хантер пытается исследовать бедность как

* Интересно отметить, что в первой главе Хантер приводит философские размышления У. Д. Хоуэллса о Толстом: «То, что сделал Толстой, просто чудесно. Он не мог бы сделать ничего больше. Для дворянина с таким аристократическим происхождением отказаться от того, чтобы на тебя работали, настоять на том, чтобы все делать своими руками, разделять по возможности нужду и труд крестьян, которые до недавнего времени были классом рабов, является величайшим поступком. Но разделить их бедность для него невозможно, потому что бедность — это не недостаток вещей или продуктов, а страх нужды. А этого Толстой не мог знать»²⁰.

социальное явление в Соединенных Штатах, описывая все бедствия, порожденные нищетой значительной части населения страны. Перво-степенной задачей автор считает принятие определенных социальных мер по предотвращению окончательной деградации и даже гибели тех миллионов несчастных, балансирующих на грани крайней нищеты.

В письме к Толстому от 6 октября 1905 г. он рассказывает о своей книге: «У меня был страх, что вы найдете книгу неинтересной и слишком исследовательской. А я никогда не мог найти слов, чтобы выразить мою печаль по поводу нищенского положения многих тысяч друзей, чью нужду и отчаяние я принужден был увидеть, но ничем не мог облегчить их участи. Моим желанием было заставить других увидеть и почувствовать то, что я увидел и почувствовал и что заставило меня писать „О бедности“. Поэтому для меня является огромным удовлетворением, что вы это увидели и почувствовали и что вы заставите других это увидеть и почувствовать»²¹. Толстой внимательно просматривает, прочитывает книгу, оставляет пометы на страницах главы 7 «Заключение». На с. 334 отчеркивает весь текст, где говорится о коррупции политических институтов, а на с. 335 Толстого привлекает следующее рассуждение автора о предсказании французского социалиста-утописта, весьма скептически относившегося к достижениям цивилизации: «Шарль Фурье, возможно, был прав, когда предсказал сто лет назад, что „огромные акционерные компании, призванные монополизировать и контролировать все отрасли промышленности, торговли и финансов, создадут промышленный или коммерческий феодализм, который будет контролировать общество посредством капитала...“»

Толстой, вероятно, знал, что в «социальной науке» Фурье богатство для всех членов общества обеспечивалось ростом производительности труда, но это могло стать возможным лишь тогда, когда на смену строю цивилизации, искажающему естественное в человеке, приходит высший общественный строй — гармонии*. Но это — в социальных утопиях философов, а в практической жизни — реальные «достижения» цивилизации: бедность, нищета, безработица...

На с. 337 Толстой отчеркивает статистические данные количества нищих и безработных в Америке. Д. П. Маковицкий в своих «Записках» отмечает 7 марта 1906 г.: «Л. Н.: Hunter в книге „On Poverty“ пишет, что в Соединенных Штатах 10 миллионов людей бедных.

* В письме к Джону Кенворти от 8 июля 1894 г. Толстой с сожалением замечает: «Какие глубокомысленные и добрые начинания С. Симона, Фурье, Прудона, Robert Owen'a и сотни основателей общин в Америке, и что осталось от них?» (67, 169).

Описывает, сколько должен зарабатывать американец, чтобы иметь соответственную пищу, без которой он будет считаться бедным (голодным). Для этой работы, какую он должен делать, требуется пища другая (мясо, виски). Русскому на щах, хлебе той работы не сделать. Русский, у которого есть щи и хлеб, еще не считается голодающим, американец — да. Бедность относительная»²². Хантер затрагивает и тему иммиграции, которая особенно остро звучит в «Джунглях» Э. Синклера; на с. 337 Толстым отчеркнуто: «Около 500.000 иммигрантов мужского пола прибывают ежегодно и ищут работу в тех самых районах, где безработица особенно велика».

Как всегда это бывало у Толстого, художественное и публицистическое создавали в его сознании картину подлинного положения вещей. Книга Р. Хантера «О бедности» отчасти подготовила Толстого к восприятию романа Э. Синклера «Джунгли». На с. 337 Толстой подчеркивает: «...и около 10 миллионов людей, живущих сегодня, умрут преждевременно от туберкулеза, если существующее положение сохранится». На этой же странице он отчеркивает: «Почти половина семей в стране не имеют никакой собственности»²³. Все это было хорошо знакомо Толстому по картинам нищеты в Москве, в деревне. Все это было изучено, исследовано им еще в 80-е годы, во время переписи населения в Москве. Теперь у него могли возникать только параллели убожества существования бедного человека в России и далеко за океаном и, конечно, глубочайшее сожаление. Д. П. Маковицкий отмечает 17 октября 1906 года: «Л. Н.: Книга Hunter „On Poverty“ — добросовестное исследование. Точное определение пролетариата. Недостаточно одетые, кое-как ютящиеся, недостаточно питающиеся, чтобы исполнять требуемую в Америке работу — тяжелую, напряженную (8–10 часов). Русские мужики были бы, если бы от них требовалась такая работа, все пролетариями...»²⁴

В статье «О переписи в Москве» Толстой так разрешает проблему бедности: «Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому, когда 1000 человек раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек помочь им, и у него сердце обольется кровью, и он с отчаянием и злобой на людей убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек еще тысяча человек с желанием помочь, и дело окажется легким и радостным. Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую на нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!» (25, 181).

Толстому весьма импонировало серьезное отношение Хантера

к предмету своего исследования, точность, аккуратность в изложении фактов. Для него книга стала полезным источником информации, статистических данных — «серьезная, интересная книга»²⁵.

Согласно «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого, 29 апреля 1908 г. Толстой получил еще одну книгу Хантера «Социалисты за работой»: «Л. Н. читал ее и принес пришедшим к чаю; хвалил, что очень хорошая книга. Прочел вслух вступление о размахе социализма. Рекомендовал Татьяне Львовне читать эту книгу. Кто-то сказал, что Hunter с женой был у Л. Н. Михаил Сергеевич: Он сочувствует социализму? Л. Н.: Как же! Социализм прекрасен, только это (у Hunter'a) такая каша! Как сделать, чтобы распутать это? Экономический вопрос связывает все государства: тут и Китай, и Индия»²⁶. На следующий день, согласно «Яснополянским запискам», разговор о социализме был продолжен, Лев Николаевич интересовался разницей между Бернштейном и Марксом, читал «ученых социалистов». 20 мая 1908 года Д. П. Маковицкий отметил, что Лев Николаевич «читал в Брокгаузе про Маркса и желал бы читать подробнее и новее; т. к., если что скажешь против социализма, отвечают, что это устарело, новые с этим не согласны»²⁷.

Так получилось, что последней статьей Толстого была статья «О социализме», над которой он работал в сентябре — октябре 1910 года. В этой статье, размышляя о «наилучшей с экономической точки зрения» форме жизни общества, Толстой пишет, что жизнь «и семейная, и общественная, и политическая, и международная, и экономическая складывается, складывалась и должна складываться никак не на основании выведенных из наблюдения общих объективных законов, провозглашаемых разными теоретиками в политическом устройстве народов и в области экономической разными Марксами, Энгельсами, Бернштейнами и т. п., а всегда только на основании совершенно другого, одного для всех людей закона жизни, провозглашенного с древнейших времен и Браминами, и Буддой, и Лао-Тце, и Сократом, и Христом, и Марк Аврелием, и Эпиктетом, и Руссо, и Кантом, и Эмерсоном, и Чанингом, и всеми религиозно-нравственными мыслителями человечества» (38, 427).

По мысли Толстого, религиозно-нравственный закон, не предвосхищая никаких форм жизни, требует от людей только одного — воздержания от поступков, противных этому закону. Он твердо убежден, что только следование этому закону приведет ко всем тем благам, которые обещают социалистические учения. Толстой считает, что, отнимая у себя произведения труда посредством полиции, армии, люди заблуждаются, не понимая обмана. И тут Толстой подвергает серьезному сомнению то, что Э. Синклер в своем романе рассматривает как выход

из сложившегося обмана: «Что же проповедуют социалистические учения для того, чтобы избавиться от этого обмана? Всякого рода соединения во имя выгод рабочих: кооперации, стачки, распространение социалистических учений. Но разве все эти меры могут уничтожить тот обман, посредством которого одни люди находят нужным обманывать других, а другие подчиняться этому обману» (38, 429).

Толстой прекрасно понимает, что «устроители общества» никогда не смогут прийти к согласию, к единому пониманию наилучшего, идеального устройства общества. Он выстраивает порочный замкнутый круг: несогласие — насилие — обман и выход из него видит только в одном: «соединение всех людей в одном общем всем законе жизни, из которого вытекало бы и устройство общественной жизни. И закон этот есть и сразу уничтожает ту главную причину существующего зла, заключающегося в обмане, вследствие которого люди насилуют самих себя и дают возможность капиталистам отнимать у работников произведения их труда» (38, 430).

Главной причиной несправедливого экономического устройства жизни, по Толстому, является насилие, избежать применение которого можно только путем следования религиозно-нравственному закону, который не допускает насилия человека над человеком и которого, как отмечает Толстой, придерживались многие американские писатели, религиозные и общественные деятели.

¹ Цит. по кн.: Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1962. Т. 3. С. 16.

² ЯЗ. Кн. 2. С. 320.

³ Ibid. С. 321.

⁴ Ibid. С. 329.

⁵ Ibid. С. 335.

⁶ Ibid. С. 338.

⁷ Sinclair, Upton. The Jungle. N. Y., 1906.

⁸ Harris, Leon. Upton Sinclair: American rebel... N. Y.: Th. Y. Crowel Co, cop. 1975. P. 81.

⁹ Sinclair, Upton. The Jungle. N. Y., 1906.

¹⁰ Sinclair, Upton. The Jungle / With an introduction and notes by James R. Barrett. Urbana; Chicago: University of Illinois press, cop. 1988. P. XXVII.

¹¹ Willshire's magazine. N. Y., 1909, No 9. P. 7

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

- ¹⁴ Harris, Leon. Upton Sinclair: American rebel... Р. 87.
- ¹⁵ ЛН. Т. 75. Кн. 1. С. 287.
- ¹⁶ ТОР ГМТ. 221/9.
- ¹⁷ Ibid.
- ¹⁸ Ibid.
- ¹⁹ Ibid.
- ²⁰ Hunter, Robert. Poverty. N. Y.: The Macmillan Co, 1904.
- ²¹ РГМТ. 221/9.
- ²² ЯЭ. Кн. 2. С. 69.
- ²³ Hunter, Robert. Poverty. Р. 1.
- ²⁴ ЯЭ. Кн. 2. С. 272.
- ²⁵ Ibid. Кн. 2. С. 198.
- ²⁶ Ibid. Кн. 3. С. 74.
- ²⁷ Ibid. С. 98.

ИЗ КРУГА ЧТЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО

Накануне 80-летнего юбилея Льва Толстого Петр Струве писал своему другу Михаилу Стаховичу: «Толстой — существо громадное и страшное, прожившее не одну, а несколько жизней, и притом таких, которые странно и страшно прожить одному человеку...»¹ Продолжая эту мысль, можно сказать, что если это так, то одна из жизней Толстого полностью, безоговорочно принадлежала книге.

Теме «Лев Толстой и книга» посвящены разнообразные исследования, среди которых, несомненно, выделяются труды В. Ф. Булгакова, Н. Н. Гусева, Э. Г. Бабаева.

Автор предлагаемой работы попытается сделать краткий обзор некоторых литературных источников, входивших в круг чтения Толстого в 1910 г., проследить за тем, как духовный мир писателя в этот период по-прежнему вбирал в себя мировую литературно-философскую практику, и это до конца жизни позволяло ему оставаться универсальным творцом, мыслителем, в сферу интересов которого, как и прежде, входили эстетика, политика, этика.

Процесс формирования воззрений Толстого был всегда связан с книгами, выбор книг определялся духовными поисками, литературным творчеством. По воспоминанию Маковицкого, писатель однажды сказал, работая в библиотечной, что книга для него является источником настоящей жизни. Неустанный труженик, Толстой «пропустил через свое сердце» невероятное количество книг.

В 1910 г., продолжая работу над своим евангелием, книгой «Путь жизни», Толстой сочетает этот труд с созданием не менее насущных для него произведений: пишутся статьи о самоубийстве (особенно тревожит статистика, отражающая добровольный уход из жизни детей), о социализме, задумываются и завершаются художественные сюжеты; вот мнение доктора богословия В. Ильина, говорившего о восприятии эстетической стороны творчества Толстого: «...он принадлежит к великим, гениальным и притом чрезвычайно разносторонним художникам слова. Л. Толстой мог сколько угодно отрицать искусство и претерпевать в этом смысле жестокий и длительный кризис, подобный кризису Н. Гоголя. Дело от этого не менялось, и словесные выражения, литера-

турные формы, в которых Толстой выражал свое отрицание искусства, и кризис, в котором он находился, были и остаются первоклассными художественными произведениями»². Одно из изящнейших художественных полотен, созданных незадолго до «духовного освобождения от яснополянского бытия» (ухода), историко-психологическая драма «Хаджи-Мурат» подвела Толстого не только к воспоминаниям о неповторимых картинах военной молодости, но и к серьезному изучению литературы, отразившей трагедию русско-кавказских отношений. В этот период писатель восстанавливает дружеские связи с вел. кн. Николаем Михайловичем, известным историком, археологом, знатоком эпох Александра I и Николая I. Толстому знакомство принесло много пользы: появилась возможность переписываться с крупнейшим специалистом в области кавказской старины и архивов Евгением Густавовичем Вайденбаумом, работавшим в военно-историческом архиве Тифлиса, и получить от ученого и 10-й том «Актów, собранных Кавказской археографической комиссией», и также засекреченную в то время переписку императора Николая I с Воронцовым и Чернышковым. Работая над повестью, Толстой приобрел книгу Зиссермана «История 80-го Кабардинского полка» и несколько томов издававшегося Кавказским учебным округом «Сборника сведений о кавказских горцах». До сегодняшнего дня эти книги хранятся среди других литературных источников «Хаджи-Мурата».

В круг чтения восьмидесятидвухлетнего Толстого входили сочинения Пушкина, Достоевского, Куприна, Мамина-Сибиряка, Андреева, Монтеня, Монтескье, Паскаля, Эпиктета, Шопенгауэра, Конфуция, Макса Миллера, Эльдбахера, Штамmlера, Гюйо, Реклю, Марка Аврелия, Авиловой, Масарика, Силезиуса, Торо, Карлейля, Эмерсона, Кропоткина, Малатесты, Кенворти, Мельгунова, этот ряд можно продолжать... Уникальные свидетельства читательского опыта Толстого — описи книг, журналов, газет, оставшихся в кабинете после ухода, — донесли до нас сын и жена писателя (это сотни единиц хранения).

Переписываясь с Зинаидой Михайловной Гагиной, учительницей, автором изданной в «Библиотеке свободного воспитания» сочинения «Из дневника народной учительницы» (очень понравившегося Толстому), Лев Николаевич сообщает, что получил выписку из работ Жана Мари Гюйо, а книг его не имеет. Вскоре Софья Андреевна в московском книжном магазине покупает несколько книг, в том числе Гюйо («Безверие будущего»), Реклю («Эволюция, революция и идеал анархизма»), А. Н. Баха («Экономические очерки»). Книги были прочитаны: на ряде страниц есть пометы писателя и его разнообразные отзывы. Появление этих книг связано с работой Льва Толстого над несколькими проектами. Вот что он пишет в дневнике после прочтения

Гюйо: «Гулял утром, думал о том, что пора бросить писать для глухих, „образованных“. Надо писать для *grand monde* — народа» (57, 121). Тут же наметил около десяти статей: о пьянстве, о ругани, о семейных раздорах, о правдивости, о корысти, о рукоприкладстве, об уважении к женщинам, о городской чистой жизни, о жалости к животным, о прощении; тогда же были задуманы так и оставшиеся незавершенными «Нет в мире виноватых». На протяжении десятилетий эта знаменитая толстовская тема «нет в мире виноватых» имела в разные годы разные оттенки. В молодости он рассуждал: «Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. Только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых» (48, 53). Эта мысль звучит в романе «Анна Каренина», яркой нитью проходит в романе «Воскресение», в «Декабристах», к которым Толстой приступал несколько раз: и в 1850–60-х, и в последние годы жизни, когда возникла попытка доказать, что не было виновных — ни среди заговорщиков, ни среди имеющих власть. Наконец, в 1910 г. Толстой вплотную подходит к периоду, когда появилось желание художественной работы, но не прежнее, с определенной целью, а без всякой цели, вернее, с целью, пока им не осознанной до конца, — заглянуть в душу людскую, каждую душу. Героями этого рассказа являются не только живые персонажи, но и книги, участвующие в формировании нравственного мира Егора Кузьмина. Толстой достает с собственной полки книги и передает их в руки своих героев: это и сочинения Реклю, и труды Баха, и брошюры «Пауки и мухи», «Солдатский подвиг», «Сказка о четырех братьях». Так задумывался рассказ «Нет в мире виноватых».

С большим интересом Толстой прочитывает, просматривает новинки литературы, многие из которых становятся источниками раздумий над судьбами человечества. Перелистываем страницы дневника за 1910 г.: мелькают записи, отражающие литературные интересы писателя. «Вечером читал статью Випера о Риме» (58, 58). «Чудное место Паскаля. Не мог не умиляться до слез, читая его и сознавая свое полное единение с этим умершим сотни лет тому назад человеком. Каких еще чудес, если живешь этим чудом?!» (58, 86). Толстой очень ценил Паскаля и многие его мысли включил в сборник «Круг чтения» и в «Путь жизни». «Вечером читал Канди о цивилизации. Очень хорошо. Записать: Движение вперед медленно, по ступеням поколений. Для того, чтобы двинуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, не влекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеславием революции, как профессии. Как важно воспитание детей — следующих поколений» (58, 40). Здесь имеется в виду Ганди. Как известно,

Ганди признавал огромное влияние, которое на него имел Толстой, но при этом отрицал свое следование политическим идеям яснополянского Учителя. В 1921 г. Ганди писал о своем отношении к Толстому, показывая себя как преданного почитателя, обязанного своему идеалу многим в жизни. Толстой, в свою очередь, читал книгу, к сожалению, не сохранившуюся в Ясной Поляне: «Indian Hom Rule, by MK Gandi. Being a Transtation of Hind Swraj (Indian Home Rule) published in the Gujarati columns of Indian Opinian 11th and 12th Dec. 1909».

Отмечаются в дневнике прочитанные книги С. Корсакова «Курс психиатрии», Ернефельта «Тит», «Характеры и нравы этого века» французского писателя XVII века Жана Лабрюйера; особенное впечатление производит рассказ Мопассана «Семья», в связи с чем перечитываются и другие произведения любимого писателя, а позже возникает желание написать несколько художественных произведений, созвучных Мопассану: «...изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих» (58, 110).

Останавливает Толстой свое внимание и на книге Анны Безант «Теософия и новая психология», сопоставляя ее с учением Вивекананды. Оба автора связывали проблему нравственности с определенными типами людей, что соотносится с мыслями самого Толстого: «Человек в соответствии с той степенью, на которой находится разряд, должен подняться выше. Основание верное. А что каждый человек должен свое стремление исполнить — это софизм. Кроме того, это <духовное движение человека?> навсегда останется тайной. Разбойник на кресте сразу двинулся, а другой целую жизнь проживет, а не двинется дальше»³.

Кстати вспомнить, что никому не известный монах-индуст Свами Вивекананда появился в «Парламенте Религий» (Чикаго) в 1893 г., чтобы воплотить свою грандиозную мечту — обратить западный мир к индуизму, то есть к учению Веданты. Деятельность Вивекананды имела потрясающий успех, последователями его учения становится необычайно широкий круг общества, куда входят ученые, писатели. Вскоре это учение приходит в Россию, и Толстой является одним из тех, кого религиозная этика Веданты не оставляет равнодушным и все дальше уводит от Православия.

Вообще, этот период жизни Толстого характерен тем, что писатель интенсивно изучает и анализирует религиозную и философскую мысль стран Востока. С 1908 г. в Ясной Поляне получали популярный религиозно-философский журнал «Вестник теософии», прежде всего номера прочитывались Львом Николаевичем, который, как всегда, помечал наиболее интересующие его места. Встречаясь с сотрудниками теософских журналов Анной Каменской и Александрой

Унковской, Толстой заинтересованно обсуждал статьи, написанные Анной Безант, после смерти Е. П. Блаватской возглавившей теософское общество. Именно в одном из номеров «Вестника теософии» писатель увидел впервые переведенный на русский язык индусский священный текст «Бхагават Гита».

Среди обширной литературы, относящейся к духовной жизни Востока, есть те, что особенно заинтересовали яснополянского мыслителя: собирая материал для «Круга чтения» и «Пути жизни», Толстой останавливает свое внимание на изречениях Конфуция, Лао-Цзе, Менция, на отрывках из буддийских сутр, на философии японских синтоистов, на высказываниях Бека-Уллы. Еще в 1886 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «...Вы все спрашиваете меня, не нужно ли мне книг. Мне вот что может быть нужно: изложение Браминской веры... Так что вер в мире теперь только шесть: 1) Конфуцианство, 2) Лаодзе, 3) Браманизм, 4) Буддизм, 5) Христианство, 6) Магометанство. И книг, излагающих учения религиозные, только 6: 1. Конфуций, 2. Лаодзе, 3. Веды, 4. Буддийская, 5. Библия и 6. Коран. Причислить к этому можно Стоиков и Зендавесту, как учения бывшие... и выйдет 7 книг, 7 учений религиозных, которые, мне представляется, очень не трудно изложить» (85, 368—369).

По свидетельству Д. П. Маковицкого, в Ясной Поляне с интересом был воспринят Юбилейный сборник Литературного фонда (1859—1909). Здесь в первый раз увидели свет статьи и рассказы Толстого «Единая заповедь», «Разговор с прохожим», «Песни на деревне». Оказалось, что «Единая заповедь» была напечатана в искромсанном виде. Маковицкий записал, что Толстой смотрел и был рад, что уцелели хоть эпитафии, которые, по его мнению, многого стоят. Остановился на одном, Канта, и прочел вслух. Эти изречения Канта о религии Толстой поместил в качестве эпитафий к главам II и IX статьи «Единая заповедь».

Начало XX века было сопряжено с трагическими событиями: бесславная война с Японией, разрушение веры в царя и Бога. Безысходностью развития, разочарованием в жизни были охвачены Россия и Европа, все чаще люди, не выдерживая испытания страданием, добровольно уходили из жизни. Почему человек надламывается и приходит к трагическому исходу? Толстой ищет ответы в книгах эпохи: он знакомится с сочинениями Масарика, Крозе, «Сборником киевских студентов», где затрагивается данная проблема. В труде Крозе его поражает статистика самоубийств в России и в Западной Европе. Так, в России число самоубийств увеличилось в конце XIX — начале XX веков на 400 %. Статью о самоубийствах Дмитрия Жбанкова в одном из номеров «Современного мира» Толстой выде-

ляет для себя, собирая разнообразные материалы об этой страшной человеческой драме. Маковицкий свидетельствует, что к начатой в июне статье «О безумии» Толстой присоединил фрагменты статьи «О самоубийстве», над которой работал в марте и в мае и которая не была закончена. Для Толстого эта проблема была очень близка и понятна: он сам, уже автор двух великих романов, думал о самоубийстве, когда не мог ответить на, казалось бы, простой и ясный вопрос: зачем он пришел в этот мир? Что есть Бог, смерть, жизнь? Потребовалась колоссальная энергия духа для того, чтобы найти выход из жизненной трагедии: в Боге он увидел источник бытия, нравственного здоровья, в народе — носителя истинной веры. Вот почему так равнодушен он был к рукописи А. Н. Новикова «Записки лакея, или Правдивая история рабской жизни». (В рукописи сохранились пометки Толстого.) «Для меня ново, — сказал он. — Никогда не слышал такого обличения безумия, безнравственности, бесполезности, нелепости, глупости жизни аристократов. Она разоблачена, а возле выставлена трудовая, осмысленная жизнь крестьян. Надо надеяться, что так же разоблачена будет вскоре и жизнь буржуазная»⁴.

Духовные поиски не останавливаются ни на минуту. Читаются книги Федора Стрхова «Искание истины», Николая Федорова «Философия общего дела», заинтересовался Толстой сочинением о сектах А. Панкратова «Ищущие Бога»; значительным событием в литературной жизни писателя стало знакомство с книгой И. А. Малиновского о смертных казнях, приговорах и убийствах. Толстому оказалась созвучна мысль о том, что смертная казнь развращает людей, способствует душевному ожесточению. По свидетельству яснополянского летописца Маковицкого, Лев Николаевич вслух прочитал страницы об осужденных, убивающих себя, ибо не в силах ждать исполнения смертного приговора. «Иоанникий Алексеевич, — писал Толстой Малиновскому, — от души благодарю вас за присылку вашей книги. Я еще не успел внимательно прочесть ее всю, но, уже пробежав ее, порадовался, так как увидел все ее большое значение для освобождения нашего общества и народа от того ужасного гипноза злодейства, в котором держит его наше жалкое, невежественное правительство. Книга ваша, как я уверен, благодаря импонирующему массам авторитету науки, главное же — тому чувству негодования против зла, которым она проникнута, будет одним из главных деятелей этого освобождения...» (82, 169)

Незадолго до ухода Толстого его настольной книгой было произведение П. Николаева «Понятие о Боге как совершенной основе сознания (Духовно-монистическое мировоззрение)» (Женева, 1907—1910). Один из последователей Льва Толстого Петр Николаев извес-

тен как философ, автор нескольких сочинений. С Толстым состоял в переписке. Дневниковые размышления Толстого, а также воспоминания Маковицкого и В. Ф. Булгакова свидетельствуют, что книга играла в духовной жизни яснополянского мыслителя огромную роль. Д. П. Маковицкий приводит высказывания Толстого о книге Николаева: «Без скромности говорю, если он заимствовал (много) у меня, то я нахожу у него, что я должен был бы сказать...»⁵ По утверждению близких людей, не было еще такой книги, с которой он бы так работал, которую бы читал с таким благоговением, которая бы так трогала его и радовала. Кстати, после ухода из Ясной Поляны Толстой просит привезти ему книги Николаева и Монтеня. Наверное, нам не увидеть уже сочинение Петра Николаева, которое было в руках Толстого, мы не узнаем о пометах, оставленных гениальным пером, но нам доступен двухтомник «Понятие о Боге как Совершенной Основе жизни (Духовно-мистическое мировоззрение)», переизданный в 1913 г., в котором есть страницы, где автор обращается к рассмотрению учения о жизни Льва Толстого, воспринимая это учение как чисто «спиритуалистическое», раскрывающее забытый первоначальный замысел учения Иисуса; в своем сочинении Николаев с огромным уважением говорит о сложных поисках Львом Толстым истинного понятия жизни. Автор утверждает, что мирозерцание яснополянского мыслителя открывает широкий путь, а ярко выраженное им учение о жизни захватывает своей истинностью.

Ромен Роллан высказал мнение, что по мере физического старения Толстой все более убеждался, что божественная искра разума должна быть одна и та же у всех людей и последнее слово истины лежит не только в христианстве, но и в других религиях. Общеизвестно, что писатель погрузился в пророков, буддизм, конфуцианство, пытаясь найти в них уровни «мистического единства», а также все более убеждался в родстве Христа с другими мудрецами, в том числе с теоретиками стоицизма. Отсюда проявленный в свое время интерес к стоикам, попытка их жизнеописания. При этом Лев Толстой совершенно не замечал, что с христианскими понятиями любви не должно смешиваться желание блага всему существующему, которое встречается у язычников и стоиков. Но это был сугубо толстовский взгляд на проблему; а имя Эпиктета, римского философа-стоика, все чаще и чаще упоминается в переписке, в дневниковых записях Толстого, в произведениях; его философия представлена как свидетельство поисков подлинно гуманной морали. Приобщение Толстого к миру одного из представителей античной этики началось задолго до его духовного кризиса 1880-х гг. Писатель рано осознал для себя важность учения, суть которого состоит в том, что счастье

человека может быть достигнуто лишь освобождением от внешних обстоятельств жизни и уяснением духовных возможностей самого человека. В свое время русский философ Николай Страхов подарил Толстому уникальную книгу, доселе хранящуюся в личной библиотеке писателя в Ясной Поляне. Это перевод с греческого на французский: «*Moralistes Antiques. Traduits du grec. Paris, Lefevre, 1841. Manuel d'Epiktet*» (Древние моралисты. Руководство Эпиктета). Книга имеет различные пометы, характерные для Толстого всевозможные значки, в том числе знаменитые NB, вертикальные черточки, скобки, замечания в виде слов и коротких предложений. Утверждают, что, кроме Толстого, этой книги никто не читал, стало быть, пометки отражают особое эмоциональное восприятие текста писателем.

Примечательно, что Толстой, найдя себя, как он считал, в сложном переплетении духовно-нравственных идеалов, захотел оказать помощь и обществу в открытии этих идеалов; он был уверен, что миру принесет огромную пользу вековая мудрость, таящаяся, в частности, в учении стоиков. Сам-то он, по восприятию некоторых знакомых, теорию стоиков перенес на собственную жизнь, на собственный быт, на собственные суждения об окружающей действительности.

В «Круг чтения», как известно, вошли сотни изречений мудрецов мира, и, конечно, мысли Эпиктета. Простой, ясный, благородный стоический аскетизм Эпиктета настолько покорила Льва Толстого, что поучения древнего римлянина включены в огромное количество в «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни». Маковицкий вспоминал, что Лев Николаевич в последний год жизни мечтал адаптировать мысли Эпиктета для детского чтения, пытался понять, нужны ли подобные книги детям, будут ли дети воспринимать сложные мысли древнего мудреца. Жаль, что замысел не был осуществлен, но для взрослого читателя биографию мудреца стоика выпустил В. Г. Чертков, и эту книгу Толстой высоко оценил.

Какие же книги были в руках писателя непосредственно перед уходом? Что читал он по дороге из Ясной Поляны?

17 октября 1910 г., «Дневник для одного себя»: «Слаб... Чувствую себя нравственно хорошо. Помню, кто я. Читал Шри Шанкара. Основная метафизическая мысль о сущности жизни хороша, но все учение путаница, хуже моей» (58, 142). Шри Шанкара Ачария — индусский религиозный философ, проповедник и писатель. На русском языке в издании Шейермана (М., 1910) вышли его книги «Вивека Чудомани», «Атома Бодха», «Тоттве Бодха», в издании «Посредник» биографического характера — «Шри Шанкара Ачария — мудрец индийский». Какую из этих книг читал Толстой, неизвестно, до нынешнего дня

ни одно из сочинений Шри Шанкара в яснополянской библиотеке не сохранилось.

В «Летописи» Н. Н. Гусева 27 октября 1910 г. фиксируется чтение Толстым рукописи Петра Гастева. Петр Гастев, выходец из казаков, познакомился с Толстым в 1891 г., когда Льву Николаевичу крайне необходимы были помощники во время работы «на голоде». Гастев полностью разделял мировоззрение Толстого и, как некоторые из ортодоксальных толстовцев, пытался на практике доказать, что можно жить в земледельческих общинах, исповедуя крестьянский коммунизм, кормясь своим трудом. О земледельческих общинах, о Василии Сютяеве, основателе теории «крестьянского коммунизма», и читал Толстой, быть может, видя себя где-нибудь на Кавказе, среди вольных хлебопашцев.

В сентябре Лев Николаевич приступил к созданию письма «Чешским юношам», которое выросло в статью «О социализме», над которой работал в течение октября вплоть до ухода, да и в Оптиной пустыни, по свидетельству Маковицкого, писателя не оставляет мысль об этой статье. Конечно же, ему необходима была поддержка литературных источников: «Л. Н. зашел ко мне рассказать о Новоселове и спросил, нет ли его статьи о социализме. — Хотелось бы закончить статью. У Новоселова читал о социализме; они ходят около того, что я говорю; недоговаривают. Надо будет договорить, закончить статью»⁶, — так записывает доктор Маковицкий 30 октября 1910 г.

К сожалению, рукопись статьи «О социализме» Толстой, уходя из Ясной Поляны, оставил в кабинете, она была найдена в ящике письменного стола. Можно предположить, что одним из источников этой работы была брошюра А. Борового «Революционное мирозерцание», оставшаяся на столе и раскрытая на страницах 22–23. В предисловии, написанном самим автором, есть пометы Льва Толстого. А. Боровой пишет о том, что очерк не дает полного освещения одной из сложнейших проблем социальной философии, сделаны лишь наброски отдельных штрихов вопроса. Раскрыта брошюра на страницах, где речь идет о сущности политики, анализируются ее направления, здесь же рассматривается зависимость от политики личности человека, показывается революционная мораль на фоне всевозможных политических ситуаций. В брошюре цитируются Маркс, Гёте, Гюйо, Фулье, Ницше, Достоевский.

Находясь в Шамордине, Толстой заинтересовался «Религиозно-философской библиотекой» М. А. Новоселова, одну из книжек начал читать — «О цели и смысле жизни. Часть вторая. Христианское мировоззрение». Не оставила его равнодушным книжка «Социальное значение религиозной личности», получившая со стороны

писателя высокую оценку. В сборник Новоселова входят отрывки из произведений В. Соловьева «Чтение о Богочеловеке», Г. Спенсера «Грядущее рабство», Ф. Достоевского «Дневник писателя», Л. Тихомирова «Борьба века», А. Герцена «Легенда». В качестве комментария можно добавить, что Михаил Новоселов был в свое время одним из толстовцев, содействовал Льву Николаевичу в оказании помощи голодающим крестьянам. С 1900 г. порвал с толстовством, вернулся к православию, напечатав открытое письмо о вреде толстовства, стал заниматься издательской деятельностью, в частности, выпускать серию книг под названием «Религиозно-философская библиотека».

5 ноября, за два дня до кончины, Толстой просил почитать ему из «Круга чтения», и близкие три раза подряд зачитывали ему мысли Лао-Цзе, Марка Аврелия, Бентама, из Браминской мудрости, из Буддийской мудрости. Хотелось бы привести два изречения из тех, что слышал великий Толстой накануне ухода из жизни: «Мысль есть уяснение истины, и потому дурные мысли это только недодуманные мысли», «Размышления — путь к бессмертию, легкомыслие — путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда; легкомысленные, неведущие подобны мертвым. Пробуждай сам себя — тогда, защищенный собою и бодро внимающий, ты будешь неизменен» (42, 229, 231).

¹ Струве Н. Православие и культура. М., 2000. С. 51.

² Ильин В. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого. СПб., 2000. С. 55.

³ ЯЗ. Кн. 4. С. 166.

⁴ Там же. С. 276.

⁵ Там же. С. 385.

⁶ Там же. С. 409.

Н. А. Никитина

ЛЕВ ТОЛСТОЙ — СОБИРАТЕЛЬ МНОГОВЕКОВОЙ МУДРОСТИ

Справедливо ли сейчас утверждение, что 90 томов сочинений Льва Толстого когда-нибудь будут представлены всего несколькими томами, включающими, главным образом, его гениальные идеи и мысли? Кажется, что это суждение спровоцировал сам составитель прославленных компиляций, составивших в общей сложности шесть томов его Юбилейного собрания сочинений и ставших финальной его коннотацией. Компиляции Толстого — явный знак «размывания» жанров, своего рода точка пересечения литературы, лингвистики и философии, сценография текстового пространства.

Новый, XX век писатель встретил с чувством тревоги. Кризис литературных жанров вместе с общей «культурной дикостью», принимавшей угрожающие формы «ужасного бедствия», пугал его. Культурно-литературный ландшафт изменялся на глазах, превращая бывшие литературные шедевры в музейные ценности, рождая мысль, что форма романа прошла. Толстой все более и более убеждался в очевидном: в невозможности написания длинной поэмы или романа; ему казалось, что художественные произведения со временем отомрут и сочинять про выдуманного Ивана Ивановича или Марью Петровну будет просто совестно.

Толстого беспокоила судьба искусства и дальнейшие пути его развития. Традиционное «персональное» художественное письмо, подобно знаменитому карамзинскому возгласу «о сколь!», казалось ему чем-то вроде архаичной окаменелости. «Сначала, — размышлял писатель по этому поводу, — превосходное описание природы — идет дождик, — и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем... и все это: и глупое чувство девицы, и дождик — все нужно только для того, чтобы Б. написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну, шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что все это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно!»¹ В этом несколько фатально-пророческом толстовском пассаже чувствуется привкус смерти,

гнетущее ощущение конца изящной словесности. Литература все более и более напоминала ему исписанный белый лист бумаги, который следовало бы перевернуть или начать другой. Наступало время фрагментарных, незаконченных, метафоричных литературных опытов.

Время все более и более превращало его в целомудренного аскета. Он убрал «плоть» отовсюду. «Плоти» сюжета он предпочел целомудрие краткоречия, авторству — анонимность. В итоге появились книги, написанные «не от себя». Концептуализируются фрагменты чужих текстов, ставших своими и вынуждающих к интертекстуальному чтению.

Спасение от некоей энтропии было найдено в ассимилировании духовного мирового опыта, в виде афоризмов, представлявших собой некую «танцующую мысль» и изложенных вне всякого цельного сочинения. «Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения, — резюмировал Толстой. — В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти; отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны» (52, 51). Его привлекало не целое, не сама виноградная кисть, а только ее «зерна», фрагменты целого. В афористике, «экстракте мудрости», он открыл для себя единство формы и содержания. Толстой стал «обдумывать обдуманное», то есть «брал готовое» и шел дальше. Он достиг поразительного искусства в коллекционировании мудростей мира, закончившегося для него анонимной субъективностью. Охладев к художественному творчеству, а заодно и к целым философским системам, воодушевленный Толстой занялся «отдельными наблюдениями» своих мировых собратьев по перу и нашел здесь много смелости, искренности и самодостаточности. Он верил, что самые глубокие мысли выражаются в максимах.

По мере того как жизнь писателя катилась под гору, его мысли уплотнялись, словно спелые кисти винограда. О прожитой жизни хотелось сказать просто и емко. Настоящая мудрость, по мнению Толстого, «немногословна». Она — в размер зерна. Об итогах жизни хотелось написать по-старинному, на древнеславянский манер, «под титлами». В результате из логарифмированных «перлов», «блещущих содержанием», получилось драгоценное ожерелье из жемчуга.

У стареющего Толстого все больше появлялось желание забыть то, что когда-то было написано, скрыть следы «персонального» письма, дезавуировать себя, побыть в «хоре», в «общине» мировой мудрости. Идеальной формой некоего «общинного» мироощущения стала для него «коллекция мыслей», собранная со всего света.

Хорошо известно пристрастие писателей к коллекционированию. Гюго собирал по аукционам чернильницы своих собратьев по перу.

Гёте и Рёскин — античные слепки и камни древности. Толстого увлекли совсем иные «экспонаты», не материальные, но исключительно раритетные. Он собирал мысли, помня, что они — главное в жизни. На самом деле Толстой был собирателем, для которого не существовало общепринятой шкалы значимости вещей. Его связывали с коллекцией особые, интимные отношения обладания мыслью. Он вырывал вещь из исторического континуума, ассимилируя ее. И так она становилась его мыслью. Мысли «коллекции» живут по сей день, потому что одушевлены страстью Толстого-собираателя. Состав «коллекции» определяется не «объективными» причинами, а заинтересованным взглядом самого коллекционера. Он выбирал мысли, как антикварные книги на развалах. Он выхватывал цитаты и «вплетал» их в свою коллажную коллекцию, на первый взгляд беспорядочную. Своим достижением Толстой считал мастерски подобранные цитаты из книг. «Коллекция» получилась на редкость рафинированной. В ней не было ни слепков, ни муляжей, были только подлинники, оригиналы, принадлежавшие всем и каждому.

Из сонма книг он выбрал золотую россыпь маленьких вербальных шедевров поразительной красоты и мудрости. Собрал лучшее из лучшего. Афоризмы мудрецов блестили, как яркие звезды, помогая людям не оступиться в пучине жизни. Толстой создавал свою «коллекцию» для коллективного пользования, используя мифему круга.

Увлечшись сбором цитат, писатель стал группировать максимы по темам, формируя их вокруг главных смыслов бытия: Любовь, Богатство, Бог и т. д. Отобранные цитаты, словно солнечные лучи, были распределены по дням и месяцам, образуя собой любимую фигуру составителя — круг. Чтобы несколько «оживить» афоризмы, Толстой придумал интригу для своей «коллекции» — календарность, намекающую на коловратность нашей жизни, беспрерывно вращающейся и устремляющейся в неизвестное будущее. В итоге получилось могучее и ветвистое «древо мысли», своей архитектурой напомнившее дуб из «Войны и мира».

Лев Толстой любил все совокупное, «общинное». В своих компиляциях он создал некий интертекст, спрессовавший в себе свое и чужое. С чужими мыслями он поступал как смелый интерпретатор: изменял, дополнял, сокращал, ставя Божью правду выше авторской. «Великое всегда останется, а слабое исчезнет само собой», — полагал писатель, создавая свои «коллекции мудрости».

Толстой всегда стремился войти «в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет» (85, 218) или Паркер, чтобы сообща понять то одно-единственное, что нужно человеку, в чем его благо. Такое общение, по мнению писателя, было важно и нужно всем и каждому для

«общего духовного блага». Он собирал самые «доступные и ясные» афоризмы, «привлекательные и понятные большому кругу людей». Писатель перерабатывал многие максимы (Рёскина, например), превращая «алмазы» в «бриллианты» и доводя свою работу до «ювелирной филигранности» и точного расчета.

Но как, в таком случае, сохранить подлинность? Ведь изречения Эпиктета, Паскаля, Руссо, переделанные на свой лад составителем, становились в некотором смысле и толстовскими? Однако сам Толстой так не считал. По его убеждению, мысли мудрецов оставались самими собой, только форму приобретали более «легкую и сильную», чтобы лучше «воспринималась людьми».

Яснополянский мудрец не любил точных, дословных переводов, находя их «ремесленными». «Пословный» перевод иноязычного текста подчас напоминал ему старый анекдот о не слишком прилежной гимназистке, буквально, не вникая в смысл, переведшей известное выражение «Всеобщее благосостояние России» не иначе, как «Хорошо быть генералом в России». Поэтому Толстой зачастую прибегал к абсолютно вольным переводам, но в то же время сохранявшим свой изначальный, присущий им смысл. Он сам переводил Кольриджа, Канта, Руссо и многих других немецких, французских и итальянских мыслителей. Чаще всего писатель переводил с английского языка, порой ослабляя, а иногда и усиливая определенные слова для ясности смысла. Ведь смысл, с его точки зрения, излучает форму. Именно поэтому Толстой заботился о точной передаче смысла в цитируемых изречениях, его подлинности и чистоте. Он оказался талантливым толкователем, виртуозно маневрирующим между «небом и землей», переводя мудрые мысли на «земной», более доступный язык.

Однажды блестящий знаток древнегреческого языка просмотрел «Учения 12-ти апостолов» в переводе немецкого теолога. Перевод показался Толстому скверным. Малопонятные и «темные» места подлинника известный теолог решил оставить в своем переводе. У Толстого, истинного ценителя ясности смыслов, подобная «механическая» работа вызвала резкое осуждение. Такой дословный перевод, с его точки зрения, мог только оттолкнуть читателя своей непонятностью.

В процессе работы писатель многое подвергал значительной коррекции. Так, например, мысль Шопенгауэра о неизменности человеческого характера показалась Толстому, любителю всего «текучего» в жизни, неверной, и он изъясил ее из своих изборников. Он исправлял мысли Паскаля, Лихтенберга, убирал «лишние строки» цитат Достоевского и Страхова. Выбор чужих мыслей, по мнению Толстого, требовал большой «работы собственной мысли». Но, несмотря на определенные технические сложности, работа над изборниками казалась

писателю «приятной и легкой». Ведь он вмещал в свои компиляции чувства и мысли всех времен и народов.

Порой писателя приводили в восторг мысли его оппонентов. Как-то Толстой прочел запись из Бисмарка: «Тяжело на душе. Во всю свою долгую жизнь никого не сделал я счастливым: ни своих друзей, ни семьи, ни даже самого себя. Много, много наделал я зла... И все это стоит между мною и Богом». Писателю показалось это признание «удивительным», и он захотел поместить его в своих изборниках.

Толстой наслаждался Амием, Карлейлем, Мадзини, и от этого ему становилось «очень хорошо на душе». Работая над своими компиляциями, писатель зачитывался многими мыслителями: Марком Аврелием, Эпиктетом, Ксенофонтom, Сократом, Браминской, Китайской, Буддийской мудростью, Сенекой, Плутархом, Цицероном, Монтескье, Руссо, Вольтером, Лессингом, Кантом, Лихтенбергом, Шопенгауэром, Эмерсоном, Чаннингом, Паркером, Рёскином, Амием. Но это лишь небольшая толика известных имен, вошедших в его «коллекции мудрости». Среди них встречаются безусловные любимцы и фавориты, наиболее часто цитируемые в толстовских компиляциях. Имена Канта, Паскаля, Марка Аврелия, Эмерсона, Рёскина, Шопенгауэра, Лао-Цзе, Амиеля и Сенеки составили лучшую его «десятку». Их мысли, считал он, «всем нужны», потому что придают «силу, спокойствие и счастье». Полюбил Толстой и «Федон» Платона, читая его на французском языке и не зная «ничего более сильного о смерти, чем описание последних часов жизни Сократа». Коллекционную ценность представляли для яснополянского составителя компиляций мысли нелюбимого им Ницше. Суждения великого немца о католицизме и христианстве оказались для него не только любопытными, но и чрезвычайно близкими, «как будто у меня взяты».

Лев Толстой оказался слишком любвеобильным составителем. Поэтому он не мог пройти ни мимо Вовенарга, попутно восторгаясь «ясным и сильным сочинением» и его «великими мыслями, исходящими из сердца», ни мимо «образованнейшего, красивого, богатого филантропа» Кросби.

Все близкие, включая друзей, устремились на помощь Толстому. Работа кипела. Одни высылали «Книги мудрости», составленные М. А. Бинштоком, «Избранные мысли Канта» в переводе С. А. Перецкого, «Избранные мысли Джона Рёскина», «О доверии к себе» Ральфа Эмерсона, другие, как Абрикосов, участвовали в переписке и переносили в изборники отмеченные Толстым мысли. Сформировалась даже целая «абрикосовская» фабрика, шутивно названная так Львом Николаевичем. Было заведено 365 «досье» по числу дней

в году. Эти «досье» Толстой раскладывал, как пасьянсы, манипулируя небольшими листками бумаги, словно картами. Вся технология подобного «пасьянса» была доподлинно известна лишь ему одному. Так, рядом с прославленным Кантом вдруг оказывалась «незнакомая особа» из штата Орегон Люси Мэлори. И такие «расклады» особенно нравились писателю.

Но бывали и минуты сомнений, когда Толстому казалось, что он тратит даром «остатные силы», что есть другие, более важные вещи. Но при мысли «Бог лучше знает, что нужнее» к нему приходило чувство уверенности в том, что он делает нужное и полезное дело, появлялось энергичное желание снова переводить Паскаля, находя его «очень хорошим», читать Спинозу, просматривать Диккенса, Мопассана. Великий писатель все более и более становился великим читателем.

Несмотря на огромный объем работы, Толстой не чувствовал усталости. Была только одна «нравственная высота» от общения с мудрейшими людьми, которых читал и в мысли которых вживался. Приходила уверенность, что его изборники «душеполезны». Видимо, поэтому свою работу писатель называл «радостной». Более того, его отношение к составляемым компиляциям было несколько ритуальным. Каждый свой день Толстой начинал с работы над антологиями, ставшими для него своего рода настольными книгами, «книгами-беседами», от которых он получал «пользу и наслаждение».

В итоге из толстовской «коллекции» получилась стройная, гармоничная картина мира, наполненная живой, пульсирующей мыслью, способной пробудить дремлющее сознание. Мысли мудрецов, представленные в изборниках, как бы перевоплотились в мысли Толстого, стали его достоянием, бережно передаваемым читателю. Мысли и чувства, накопленные и осмысленные человечеством за века, писатель уплотнил, сократив их до предельной мудрости, компактной, яркой и точной, уместившейся в минимальный размер, но вместившей в себя целый мир.

Своими антологиями Лев Толстой еще раз доказал очевидное: литература всегда «уже была», и для дальнейшего ее развития порой нужен всего лишь мудрый составитель, заново заставляющий круговращаться многовековую мудрость. Ремесло составителя вознеслось тем самым до уровня подлинного искусства, демонстрируя новому веку несомненную перспективность «читатного» жанра, робкого предвестника «нулевого» письма.

Как известно, все в жизни взаимосвязано. Компиляции Толстого стали во многом решающими и предопределяющими в судьбе самого составителя. С их помощью он хотел освободиться от довлеющей за-

висимости собственного «я». Борьба «великого интроверта с сильным экстравертом» завершилась полной победой последнего, устремленного к всемирному братству, к слиянию со всем человечеством. Следующим шагом мог быть только уход из Ясной Поляны, полное растворение в мире.

Яснополянский мудрец оставил в наследство великие книги о смысле человеческого бытия. И если бы где-то там, где завершается земное, нас спросили, как мы понимаем нашу жизнь на земле, нам не осталось бы ничего иного, как протянуть эти магические книги в качестве ответа на вопрос.

¹ Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 89.

Джордж Гибиан

ТОЛСТОЙ С АМЕРИКАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 1990-х гг.: СЕМЬ КАТЕГОРИЙ

В США наследие Толстого принадлежит не только исследователям его творчества, и даже не только литературоведам. Это общеизвестно, но часто мы принимаем такие банальности как должное, не обращая внимания на их смысл.

Кому же еще принадлежит творчество Толстого? Что находят в Толстом различные группы людей, имеющих счастье знать его творчество? Как они воспринимают его и какие его стороны больше всего ценят? Каковы закономерности взаимоотношений между этими группами?

Взгляд на эти вопросы с высоты птичьего полета позволит нам подметить некоторые особенности американского культурного ландшафта 1990-х гг., подчеркнуть ключевые аспекты сокровищ, заключенных в творчестве Толстого, и задуматься о том, какой свет все это может пролить на него.

Первые четыре из моих категорий будут рассмотрены очень кратко: подробные комментарии можно найти в *Tolstoy Studies Journal* (Журнале исследований Толстого) и в других изданиях. Основное внимание я уделю последним трем категориям.

Первая категория состоит из важных трудов, опубликованных славистами в специальных журналах и монографиях. Ежегодный журнал *Tolstoy Studies Journal*, в котором печатаются многие известные американские слависты, начал выходить в 1988 г. В 1997 г. вышел девятый том. Среди многих солидных и оригинальных научных работ, опубликованных в этом журнале за девять лет его существования, я хотел бы рассмотреть только одну — эссе Хью Маклейна о Руссо и Толстом.

Еще о первой группе: среди большого числа мини- и микроисследований, опубликованных в первой десятке ведущих канадских и американских специальных журналов, появились статьи, содержащие незаменимые сведения о разных аспектах творчества Толстого, написанные специалистами и для специалистов.

Ко второй категории относится небольшая группа сверхоригинальных статей, авторы которых хотят тем или иным образом эпати-

ровать как «буржуазию», так и тех, кто придерживается общепринятых взглядов, — например, выдвигая тезис о том, что Стива Облонский — дьявол. Эту группу можно называть эзотерической или иконоборческой.

Третью категорию составляют малочисленные, но смелые и блестящие психоаналитические исследования Даниэля Ранкур-Лаферьера, Джеймса Раиса и некоторых других.

К четвертой категории относится маленькая, но быстро растущая группа исследователей и теоретиков феминизма. Они (Эми Манделкер, Барбара Монтер Хелдт) обратили внимание на темы, которыми прежде пренебрегали. Их работы могут в будущем стать важным вкладом в сокровищницу мыслей о Толстом.

Теперь, бегло взглянув на первые четыре категории, мы подошли к очень важной двойной категории, пятой в нашем списке, которую мы рассмотрим несколько подробнее. Это группа написанных исследователями русской литературы важных работ о религиозных воззрениях, заложенных в книгах Толстого, о соображениях по теологическим и религиозным вопросам, содержащихся в его публицистике (а также в дневниках и письмах), и о его философских мыслях и взглядах на внерелигиозные проблемы.

Здесь выделяется книга *Leo Tolstoy: Resident and Stranger* (Лев Толстой: житель и странник) Ричарда Е. Густафсона (Принстон, 1983), написанная до текущего десятилетия, но приобретшая влияние только теперь. Этот том явился результатом двадцатипятилетних исследований восточного христианства и Толстого. Густафсон считает, что рассказы — один из лучших видов теологии. Он подчеркивает важность религиозного обращения Толстого и показывает фундаментальную разницу между его творчеством до и после обращения, включая отказ от западных литературных форм и создание своей, оригинальной формы. Густафсон понимает поздние труды Толстого как иносказания или развернутые притчи. В противоположность Эйхенбауму, который считал кризис в жизни Толстого причиной возникновения этих новых форм его искусства (О кризисах Толстого, 1923), Густафсон утверждает, что все обстоит наоборот: кризисы были «моральными и религиозными и они привели к переоценке форм творчества».

Он говорит о «страннике» как о человеке, который разрушил все свои личные отношения и остается почти сиротой. Антиподом его является «Обитатель», у которого есть чувство общности и который находится во взаимоотношениях со всем окружающим его миром. У Толстого любовь перерастает в осознание общности.

Густафсон детально рассматривает некоторых из важнейших персонажей Толстого — Оленина, Андрея, Пьера, Левина, Анну и Не-

хлюдова. Он сосредоточивается на борьбе за любовь и на путях к любви, самопознанию, совести и знанию Бога. Две последние главы у Густафсона имеют многозначительные названия: «Теология совершенства» и «Бог и сила жизни».

Сборник *Lev Tolstoy and the Concept of Brotherhood* (Лев Толстой и концепция братства) (Оттава, Ледас, 1996) под редакцией Андрея Донскова и Джона Вудсворса содержит более двадцати статей, написанных почти исключительно о Толстом — моралисте и религиозном деятеле. Здесь присутствуют некоторые из участников конференции, итогом которой явился этот сборник. Они могут засвидетельствовать, с какой силой тогда прозвучала тема моральной искренности Толстого.

Tolstoy: The Wisdom of Humankind (Мудрость человечества) (Калькутта, 1998) под редакцией Ги де Малака — это необычная книга, которая представляет собой английский перевод избранных мест одного из трудов последних семи лет жизни Толстого (с 1903 по 1910 г.). Оригинал его был опубликован вскоре после смерти писателя, в 1911 г., под названием *The Way of Life* (Путь жизни). Тридцать одна глава этой книги (четыре версии, вариант за вариантом) содержат изречения и пересказы изречений Толстого, который предстает здесь как мудрец. В 1956 г. на русском языке вышло академическое переиздание этой книги, и вот теперь де Малак сократил ее и написал предисловие, описывающее основные события жизни Толстого и его убеждения. Итак, странным образом в Индии в нашем десятилетии вышел американский перевод морального учения Толстого в американо-толстовско-индийской версии. Этот перевод напоминает тома Закона Божьего, хотя скорее является Законом Толстого.

Донна Туссинг Орвин, исследовав идеи Толстого (и его произведения, их воплощающие), написала *Tolstoy's Thought and Art* (Мысль и искусство Толстого). Эта книга насыщена сжатыми, тщательными и хорошо обдуманными анализами и размышлениями, которые слишком сложны для того, чтобы их подытоживать или цитировать. Она достойна внимательного чтения и изучения.

К очень важной подгруппе этой же категории принадлежит Гари Саул Морсон. Я бы назвал работу этого выдающегося новатора и теоретика-аналитика громоздким термином «Tolstoy used as the Spur and Illustration to New Theoretical-Formal Insights» (Толстой как повод и иллюстрация нового теоретико-формального анализа). Как критик, Морсон стоит или сидит на лошади по имени Бахтин и скачет к новым интерпретациям Толстого и к новым важным теоретическим достижениям. Морсон все глубже вникает и в произведения Толстого (как ранее в произведения Достоевского), и в развитие его теоретиче-

ских взглядов. В своем исследовании «Войны и мира» под названием *Hidden in Plain View* (Скрытое в очевидности, 1998) Морсон обсуждает структуру и частности этой книги. Большинство из многочисленных работ Морсона содержат разрозненные соображения о Толстом. Его книга *Narrative and Freedom: the Shadow of Time* (Повествование и свобода: тень времени) (Yale, 1994) обращается вокруг темы времени и временности в связи со свободой и развитием личности человека. Вдохновителями Морсона выступают американский философ Вильям Джеймс и прежде всего Бахтин.

Морсон особенно пронизательно и оригинально говорит о предзнаменованиях или о том, что он считает таковыми, в «Анне Карениной». Ратуя за важность мелких случайностей, незначительных подробностей, Морсон не упускает и общую крупномасштабную картину морали. Он разрабатывает свое понимание того, почему неправильно ставить себя в центр событий, как это делала Анна Каренина, вместо того чтобы научиться, как Кити, довольствоваться малой ролью. «Не Толстой создал мир, в котором предзнаменования сбываются, — скорее, Анна решила сделать так, чтобы сбылось то, что она считала предзнаменованием». Так же, как Густафсон и другие американские слависты 90-х гг., Морсон умеет навешивать красивые ярлыки: Иссушенное настоящее, Уединенное настоящее, Предположительное время, Множественное время. В книге *The First Hundred Years of Bakhtin* (Первые сто лет Бахтина) Кариал Эмерсон очень правильно написала: «Мир Бахтина построен специально для того, чтобы полностью выгородить героя толстовского типа». Однако основывающийся на том же Бахтине Морсон использует его как стартовую площадку для полетов, из которых он приносит много новых подходов к миру и личности Толстого.

Шестую категорию мы назовем воплощениями. Работа Катрин Б. Фоер *Tolstoy and the Genesis of War and Peace* (Толстой и генезис «Войны и мира») (Итака, Нью-Йорк, 1996) тщательно, остроумно и информативно рассматривает процесс изменения замысла «Далеких Полей», романа 1805 г., 1812 г., и первых страниц самого романа. Работа Фоер не была опубликована и осталась в виде диссертации в Калифорнийском университете Беркли. Некоторые специалисты знали о ней и высоко ее ценили, отдельные ее части публиковались в виде статей. Но лишь немногие представляли, насколько блестяща эта диссертация, ставшая, наконец, под редакцией Донны Туссинг Орвин и Робин Миллер, широким достоянием. К счастью, долговечность и жизнеспособность выдающихся научных трудов еще раз подтвердились на этом примере. В этой работе есть также очень важные главы, посвященные «Политическим концепциям „Войны и мира“»,

духу 1856 г., декабристам, Наполеону как символу революции в романе и другим идеологическим течениям.

Фоер подчеркивает гордый индивидуализм Толстого и его недоверие правительству. Читать ее книгу одно удовольствие, настолько она поучительна и интересна. Она замечательно перекликается с политическими и идеологическими вопросами нынешнего дня, весьма актуальными и для России, и для США. Эта книга для нашего времени и на все вкусы.

Большинство работ литературных критиков имеет короткую жизнь. Но Фоер и Штейнер, о котором мы поговорим ниже, продемонстрировали, что некоторые хорошо написанные книги со временем приобретают вкус и крепость, подобно отборным винам, и, подобно некоторым религиозным и мифологическим фигурам, приобретают еще большее значение и притягательную силу при их воскрешении.

Наша седьмая и последняя категория состоит из замечательных книг, написанных неспециалистами — литераторами, выдающимися учеными, работающими вне области русской литературы.

Первая из них — работа Штейнера «Толстой или Достоевский: старомодное критическое эссе», второе издание которой было опубликовано в 1996 г. Эта работа является еще одним примером возвращения, возрождения труда, написанного несколько десятилетий назад.

Первое издание этой работы, вышедшее в 1959 г., было и первой книгой Джорджа Штейнера. С тех пор он стал одним из самых заметных ученых как в англоязычном, так и во франкоязычном научном сообществе. Штейнер является автором внушительного числа работ на самые различные темы.

Подзаголовок — «старомодное критическое эссе» — прозвучал в 1959 г. как антитеза Новой Критике — формалистической школе критики, доминировавшей в университетах США и за их пределами и связанной с такими именами, как Аллан Тейт, Р. П. Блекмур (который был учителем Штейнера), Рубен Брауер, Клинт Брукс, Рене Веллек и другие.

Этот подзаголовок и сорок лет спустя остается острым и актуальным. Однако теперь он направлен против постмодернистов, постструктуралистов и даже против крайних структуралистов. Хотя основное содержание книги осталось во втором издании абсолютно неизменным, к ней было написано новое предисловие на восьми страницах, которое представляет исключительный интерес. В этом предисловии Штейнер подчеркивает и объясняет «вновь возникшую современность» своих «моральных плодов воображения». На примере Толстого и Достоевского Штейнер решил дать определение и пример применения своей Старой Критики, ополчаясь при этом на Но-

вую Критику. Разделяя интерес Новых Критиков к подчеркиванию формальных подробностей, двусмысленностей и к самопостроению литературных стилей, Штейнер не может принять их отвержение идеологического и исторического контекста, экономико-социальной компоненты литературного процесса, важности экзистенциальной принадлежности автора и, главное, метафизического и теологического измерения. К сожалению, у меня нет времени на описание главных идей Штейнера. Я с удовольствием раздам несколько английских экземпляров этого предисловия и постараюсь убедить издателей какого-нибудь русского журнала опубликовать эти восемь страниц, если только это уже не сделано.

Этот блестящий, широко эрудированный франко-англо-американский филолог полагает, что причина неоспоримого превосходства «Анны Карениной» даже над «Госпожой Бовари» кроется в сфокусированности Толстого на «вопросе Бога». Величайшие произведения вовлечены в теологическую конфронтацию. Присутствие в произведении автора играет ключевую роль. Величие Толстого и Достоевского неотделимо от их богословской увлеченности. Штейнер пишет, что взгляды, высказанные им в 1959 г., стали в 1990-е гг. еще более актуальными и еще менее популярными — до почти полного их неприятия. Этот критик, хотя он и не знает русского языка, считал и считает Толстого и Достоевского лучшими и самыми значительными из писателей. Под их влиянием он вернулся на круги своя и пришел к тому же, с чего начал.

Второй наш замечательный «неспециалист» — это Харольд Блум. Его книги затрагивают широчайший диапазон тем — от Библии до поэзии Йетса, Мильтона, Шелли, Стивенса, Блейка и от каббалы до гностицизма. Он активно участвует в дебатах по «Культурным войнам» в США.

В книге с вызывающим названием «Западный канон: книги и школа веков» (Harcourt Brace, 1994) Блум рассматривает Толстого как одного из двадцати девяти западных писателей, которых он считает каноническими в западной традиции (Блум говорит о 26 писателях, но потом рассматривает 29).

Он разделяет и историю, и канонических авторов на три периода. Из «Новой науки» Джамбаттисты Вико Блум заимствует названия трех веков — Теократический, Аристократический и Демократический — и добавляет к ним свой собственный, четвертый, который он называет Хаотическим (опасаясь, что мы скатываемся в новый Теократический век).

Не склонный к недооценкам, Блум считает, что Толстой — лучший из всех русских писателей (Достоевского он ставит на второе

место). У каждого из избранных им канонических писателей он выбирает одно произведение и посвящает главу его детальному рассмотрению. У Толстого он выбрал не один из романов, а «Хаджи-Мурата», который он называет лучшим из всех русских рассказов. Соответствующую главу в своей книге Блум озаглавил *Tolstoy and Heroism* («Толстой и героизм») и уделил большую ее часть мыслям Толстого о смерти. Блум утверждает, что Толстого нужно читать наряду с Гомером, Данте, Ветхим Заветом и Шекспиром. Когда выдающиеся филологи-«неспециалисты» пишут о Толстом, их роднит огромный диапазон сопоставлений. У Блума этот диапазон еще шире, чем у большинства других. Он сравнивает Толстого с ранним Вордсворсом и ранним Джорджем Элиотом, называя Адама Вида «очень толстовским» (с. 334).

Блум спрашивает, важны ли взгляды Толстого. Раньше, когда толстовцы были столь многочисленны, Блум отвечал утвердительно. Но «не сейчас». «Как огорчила бы Толстого такая участь: он себя считал более пророком, чем рассказчиком» (с. 335).

Блум восхваляет «Хаджи-Мурата». «Я не думаю, что в западной литературе есть равные произведения» (с. 338). «Кто другой смог вывести обычного человека как торжествующего героя, одинаково наделенного и храбростью и хитростью?» Блум с энтузиазмом пишет о заключительной сцене. «То, что Толстой, как никакой другой писатель, смог вообразить смерть столь естественную и столь непохожую на ту, которой он боялся, является неожиданным и вдохновляющим триумфом эстетического величия» (с. 349). Толстой, «величайший из всех русских писателей» (с. 335), обладает двумя качествами, которые делают автора каноническим: первозданностью и необычностью.

В заключение разрешите мне вкратце вернуться к тому, с чего я начал: посмертная жизнь Толстого в Северной Америке состоит, как и везде, прежде всего в том, что он живет в сердцах и умах большей части тех, кого доктор Самуэль Джонсон и Вирджиния Вульф называли Простой Читатель. Таков Толстой — автор «Войны и мира» и «Анны Карениной». Учащиеся средней школы, студенты университетов, широкие круги читателей-неспециалистов читают переводы его книг в огромном количестве экземпляров, в разнообразных изданиях и вариантах. В целом они мало знакомы с мнениями критиков, научными статьями и замысловатыми оценками и почти не обращают на них внимания. Студенты и пассажиры метро продолжают читать Толстого, не поддаваясь модным поворотам в научно-академических страстях, да даже и не ведая о них.

Большую роль здесь играют кинофильмы. Морсон часто упоминает Грету Гарбо в роли Анны Карениной как источник и стимул его

новых идей, обычно иллюстрируя то, что он считает ошибочным взглядом на Толстого и на любовь.

Наше краткое рассмотрение семи категорий профессиональных подходов к Толстому показывает прежде всего, какое огромное разнообразие идей он порождает. Какому плодородию, какому богатству он открыл дорогу! В лучшем случае лишь немногие постмодернисты интересуются Толстым. Зато произошло мощное возрождение философского и религиозного интереса к нему. Этот интерес не зависит от религиозной деноминации.

Примерно до 1953 г. ситуация была совершенно иной. В то время лишь немногие из американских профессоров и ученых широко использовали материалы, информацию и взгляды, опубликованные в Советском Союзе. Одним из таких исключений был Эрнст Симмонс. В то время как лишь немногие из его коллег знали русский, а читали или даже просто видели опубликованную в Советском Союзе книгу лишь единицы, он и некоторые другие следили за публиковавшимися там биографиями и другими источниками. Многие биографии, тетради и письма были переведены на английский с его помощью и поддержкой. Он был импортером и переводчиком советской литературы о Толстом.

Разительный контраст представляла группа литературоведов, большей частью эмигрантов из России (самым известным из которых был Роман Jakobson, а за ним шли Леон Стирман и другие, а также их нерусские ученики и коллеги, такие как Ренэ Веллек), которые на Западе развивали формалистический и другие виды несоцреалистической русской критики и мысли. В то время, когда в Советском Союзе свободное и широкое развитие работ Эйхенбаума, Гроссмана, Долинина, Шкловского и других — даже досоветских русских, таких как Страхов, — было невозможно, эти литературоведы (а также Иванов, Бердяев, Зандер и другие, пожалуй, более в связи с Достоевским, нежели с Толстым) развивали эти направления мысли. Своего рода канон русской критики был представлен американским студентам и литературоведам в виде переводов, переизданий, сносок, библиографий (например, Веллек), маленьких антологий. На маленькой сцене, в узком кругу, на далеком североамериканском континенте пустили корни учения, почти полностью искорененные в России. Это сохранение — от 1930-х до 1960-х гг. — того, что было в то время погублено в России, явилось исторически важным достижением. Когда осенью 1965 г. я приехал в Институт русской литературы по культурному обмену и сделал доклад о важной роли этих исследователей (в связи с изучением Достоевского, а не Толстого), приведя их имена и названия их трудов, — в переполненной аудитории Пушкинского Дома,

в котором тогда председательствовал Михаил Павлович Алексеев, явственно чувствовались напряжение и шок.

Ситуация 1990-х гг. совершенно другая. В США о Толстом пишут очень много. Произошел взрыв интереса к философским и теологическим мыслям Толстого. Его труды не просто оказались долговечными и жизнестойкими — многие писатели видят в нем то, чего не хватает на их родной земле, на их собственных нивах.

Изучение философских и религиозных взглядов, подобных толстовским, попытки вникнуть одновременно в жизнь, мышление и труды писателя — все, что исключается, изгоняется или коверкается в деконструктивистских, постструктуралистских, постмодернистских американских академических кругах. Два ученых, не являющихся славистами, Штейнер и Блум, доказывают, что Толстой — это кувшин чистой воды для самых лучших и наиболее широко образованных умов, для тех немногих в американских университетах, кто жаждет полноценной духовной пищи и активности.

В далеком прошлом американские ценители Толстого и русские эмигранты сохранили взгляды и подходы к Толстому, запрещенные тогда в Советском Союзе. Теперь же Толстой помогает сохранить в наилучшем виде и стимулировать те взгляды и подходы, которые во многих американских академических кругах если и не запрещены, то принижаются и притесняются. Но нужно ли в России то, что полезно в США, спрашивает Карил Эмерсон (стр. 26 в книге о Бахтине). Индивидуализм, а не политическое сознание? Те подходы Толстого, которые несогласное меньшинство принимает с распростертыми объятиями, необходимы как противовес политизированному, деиндивидуализированному классу американских теоретиков. Но нужно ли это России? Христианский анархизм Толстого вместо рационального, политического, прагматического самовозрождения?

Итак, Толстой — это находка для инакомыслящих как в кругу профессиональных интеллектуалов, так и вне его. Этот вечный отрицатель по-прежнему питает диссидентов на другом континенте, на родине Рольфа Валдо Эмерсона и Уолта Уитмена.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Harold Bloom, *The Western Canon: The Books and School of the Ages*, New York, Harcourt Brace, 1994.

Ed. Andrew Donskov and John Woodsworth, *Lev Tolstoy and the Concept of Brotherhood*. Ottawa: Legas, 1996.

Caryl Emerson, *The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*, Princeton, 1997.

Kathryn B. Feuer, *Tolstoy and the Genesis of War and Peace*, ed. Robin Feuer Miller and Donna Tussing Orwin, Cornell University Press, Ithaca, N. Y. 1996.

Richard F. Gustafson, *Leo Tolstoy: Resident and Stranger*, Princeton, N. J., 1986.

Amy Mandelker, «The Judgment of Anna Karenina: A Plot of Her Own,» in *The Female Protagonist in Russjart literature*, ed. S. S. Hoisington, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1993, pp. 33–43.

Gary Saul Morson, *Narrative and Freedom: The Shadows of Time* Yale, 1994.

George Steiner, *Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in Old Criticism* Second Edition, Harcourt Brace, 1996.

Leo Tolstoy, *The Wisdom of Humankind*, ed. Guy de Mallac, Firma KLM, Calcutta, 1998.

C. J. G. Turner, «The Maude Translation of Anna Karenina; Some Observations», *Russian Language Journal*, LI, 1997, pp. 233–254.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



А. Н. Полосина

ПЕРЕВОДЫ ТРИЛОГИИ А. Н. ТОЛСТОГО
«ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ»
НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

(по архивным материалам)*

В 1886—1887 гг. одновременно три знаменитых парижских издательства выпустили трилогию А. Н. Толстого: Hachette в переводе Арвед Барин¹, J. Hetzel² в переводе Мишеля Делина³ («Детство» и «Отрочество») и издательство Perrin в переводе И. Д. Гальперина-Каминского⁴.

Политическим фоном переводов А. Н. Толстого было начало сближения России и Франции в 1880-е гг. Литературным фоном — заметки молодых писателей, которым удавалось внушить обществу свои вкусы. Они положили начало движению, которое было развито периодической прессой и самыми значительными журналами⁵. Благодаря трудам известных ученых и переводчиков Луи Леже, А. Леруа-Болье, Альфреда Рамбо, Э. Мельхиора де Вогюэ, Мишеля Делина, Арвед Барин, де Визева, Шарля Саломона, И. Д. Гальперина-Каминского и др., французский литературный мир знакомился с литературой русской школы. Когда в 1884 г. во влиятельном французском журнале «Revue des Deux Mondes» вышла статья де Вогюэ о Толстом⁶, то тысячи экземпляров романа «Война и мир» в переводе И. Паскевич, остававшегося до тех пор незамеченным, несмотря на особые заботы о нем Тургенева, разошлись по всему миру. Это был неслыханный успех для французского перевода какого бы то ни было современного романа. Выход в издательстве Hachette в 1886 г. книги де Вогюэ «Le Roman russe»⁷ довершил картину. Интерес к литературе мистической России был невероятным. Толстой и Достоевский пользовались «во Франции такой же славой, как некоторые национальные писатели»⁸. Многие парижские издатели были весьма заинтересованы в переводах на французский язык произведений Тургенева, Достоевского, Гаршина, Толстого и др.

* Автор выражает благодарность мадам Моник Коэн, главному хранителю Отдела рукописей Национальной библиотеки Франции (Париж) за помощь в работе над историей переводов на французский язык произведений А. Н. Толстого, а также за разрешение цитировать нижеприведенные источники.

Личный архив критика и переводчика Сесиль Венсан, которая печаталась под псевдонимом Арвед Барин⁹, — это источник, который приоткроет завесу над литературными подробностями переводческо-издательской деятельности, связанной с наследием Л. Н. Толстого во Франции. Местонахождение архива — Рукописный отдел Национальной библиотеки Франции.

Около полугода, с 30 июля по 20 декабря 1885 г., между переводчицей, директором журнала «Revue bleue» Евгением Юнгом¹⁰ и его коллегами велась интенсивная переписка по поводу «русской темы».

Так, 30 июля 1885 г. Юнг писал Арвед Барин, что «теперь только в Германии или в России нам следует искать сюжеты. Заметьте, что мы до сих пор еще *ничего** не сказали о Толстом. Не могли бы вы подступиться к нему с какой-нибудь стороны, он теперь в моде. Если не к „Войне и миру“, то, может быть, к роману, перевод которого в настоящий момент печатают в Débats» (Journal des Débats в это время печатал перевод «Казаков») ¹¹.

Чтобы собрать как можно больше информации о переводах Толстого на французский язык, Юнг обратился к писателю и переводчику Тургеневу Эдуарду Дюран-Гревиллю¹², от которого получил такой ответ 24 октября 1885 г.: «Собственно говоря, Толстой не издавал „Воспоминаний юности“, но один из его первых трудов — это повесть в трех частях, которая называется „Детство. Отрочество. Юность“, 1-я часть которой была переведена и напечатана в Journal de Saint-Petersbourg¹³. Что касается остальных частей, то мне неизвестно, переведены ли они или нет. В Париже монополия на переводы Толстого принадлежит издательству Hachette. Три части повести — это не автобиография, но, бесспорно, автор внес в нее много личных воспоминаний»¹⁴.

26 октября 1885 г. Юнг в письме Ж. Бретону задает те же вопросы: «Не могли бы вы прислать через посыльного необходимые мне сведения. Когда-то Толстой опубликовал повесть в трех частях: „Детство. Отрочество. Юность“. Была ли она полностью или частями переведена на французский язык и опубликована во Франции? Вы лучше, чем кто-либо, должны знать об этом». Вверху слева рукой Ж. Бретона приписано: «Эти три части были переведены только в статье М. де Вогюз в „Revue des Deux Mondes“»¹⁵.

Тут следует сделать ремарку о переводе, созданном (с английско-го) почти двадцать лет назад, в 1863 г., писателем Эмилем Доран Форгом. Он вышел в «Revue des Deux Mondes» 15 февр. (т. 43) (С. 917—959)¹⁶. Затем в 1866 г. тот же перевод под заглавием «Ни-

* Подчеркнуто в оригинале (примеч. авт.).

коленька: Детство русского дворянина» вошел в сборник «Scènes de la vie aristocratique en Angleterre et en Russie», опубликованный в издательстве L. Nache. Интересно отметить, что вслед за английским изданием переводчик ошибочно идентифицирует героя с автором и в кратком вступлении называет его «Николай Толстой». Там же сообщается, что английский перевод был выполнен Мальвидой фон Мейзенбург в 1862 г. для издательства *Bell* и *Daldy*. Пишет Форг и о необходимости «некоторых изменений и сокращений», надеясь, что «они не испортят общий характер повествования»¹⁷.

В издательских кругах о переводе Форга было мало что известно, и редактор журнала «Revue bleue» Евгений Юнг 6 ноября 1885 г. сообщает переводчице, что «по мнению Ж. Бретона, „Воспоминания“ Толстого не были переведены, а г-н Дюран-Гревиль считает, что это не буквальная автобиография, но все-таки автобиография. Я боюсь, что насторожил Ж. Бретона. Подумайте, как лучше перевести для „Revue“, все сразу или по частям? <...> Ж. Бретона я поставлю в известность, чтобы он не перебежал нам дорогу»¹⁸.

10 ноября 1885 г. в письме к Арвед Барин он все еще не знает, что предпочесть — «Воспоминания» или «Казаков»: «Рамбо»¹⁹ мог бы нам одолжить „Воспоминания“. Иначе мы будем вынуждены выписывать их из Петербурга или искать в Париже. Из-за заглавия я бы предпочел все-таки „Воспоминания“»²⁰.

11 ноября 1885 г. Юнг все еще раздумывает, какое произведение Толстого переводить: «Я все время думаю о том, что мне больше нравятся „Воспоминания“, так как само заглавие говорит об автобиографическом характере произведения. Вы переведете „Воспоминания“, не так ли? Сможете ли вы достаточно быстро сделать эту работу?»²¹.

12 ноября 1885 г. он, наконец, принимает решение: «Пусть будут „Воспоминания“ <...> Разумеется, я мог бы найти другого переводчика (Альфреда Рамбо), но <...> не исключено, что его перевод будет менее точным. Меллеи(р)²², владелец магазина русской книги в Париже, ответил мне, что о „Воспоминаниях“ Толстого ему ничего не известно. Я напишу в Петербург. И буду просить Рамбо одолжить вам книгу»²³.

17 ноября 1885 г. Евгений Юнг сообщает Арвед Барин: «Мадам, чтобы выиграть время, я все-таки пересылаю вам том от Рамбо, который мне только что доставили. „Казаки“ недавно были опубликованы в *Débats*. Вы можете переводить „Детство. Отрочество. Юность“, и больше мы не будем об этом думать»²⁴.

Выбор был сделан в пользу «Детства». И 18 ноября 1885 г. в письме он уже обсуждает с Арвед Барин тонкости перевода заглавия: «Не знаю, когда вы получите гранки <...> может быть, в субботу.

Думаю, что „Детство“ стоит оставить в заглавии просто как подзаголовок, так как „Воспоминания моего детства“ — это слишком громоздко»²⁵.

Через два дня, 19 декабря 1885 г., сообщает ей, что она «скоро получит гранки сорока пяти первых листов. Это все, что я максимально смогу сделать на будущей неделе. Просьба вернуть гранки самое позднее во вторник утром, так как в среду мы все отдаем в набор из-за Рождества»²⁶.

Читая «Детство» в гранках, Евгений Юнг 20 декабря 1885 г. не может удержаться от похвалы: «„Детство“ мне показалось превосходным. Очень много тонких психологических замечаний, которые русские писатели представляют <...> весьма естественно. Впрочем, в „Отрочестве“ и „Юности“, думаю, таких деталей будет уже меньше»²⁷.

Редактор «Revue bleue» Евгений Юнг преуспел издать в конце 1885 г. (№ 26) и в 1886 г. (т. XI. № 1–5) с сокращениями «Детство. Отрочество. Юность» Толстого на французском языке в переводе Арвед Барин.

В 1885–1886 гг. издательство Hachette с большим успехом переиздавало «Войну и мир», и директор Рене Фуре предложил Арвед Барин издать ее перевод трилогии Толстого в серии «Библиотека лучших зарубежных романов». 30 марта 1886 г. он писал ей: «Мы раздобыли номера „Revue bleue“, где имеется ваш перевод на французский язык „Воспоминаний“ Толстого. Мы их прочли и не находим в них материала на том нашей серии „Библиотека лучших зарубежных романов“, поэтому вынуждены спросить вас, ваша работа — это полный или сокращенный перевод, которому вы могли бы в случае необходимости придать больший объем»²⁸.

6 апреля 1886 г. в письме переводчице издатель сообщает, что он и его коллеги «желали бы иметь не буквальный, а свободный перевод „Воспоминаний Толстого“, объемом от 300 до 320 страниц в формате in-16. Учитывая двойную дополнительную работу, которую принесет вам коренная переделка, мы намереваемся предложить вам в виде заключения сумму в 800 франков»²⁹.

Осенью 1886 г. встал вопрос об авторских правах, и Рене Фуре извещает переводчицу: «В каталоге „Библиография Франции“ за 27 число текущего месяца имеется анонс издательства Perrin³⁰ об издании „Воспоминаний Толстого“, в котором наши коллеги написали, что это единственное полное издание, разрешенное автором. Тут есть маленькая военная хитрость, которая может одурачить неискушенных читателей, о которой я вам не говорил, если бы не прояснил вопрос, касающийся авторских прав, предоставленных Толстым.

Судя по тому, как уже раньше было подтверждено, Толстой все время отказывается давать разрешение на перевод, и если он его давал, то оно было исключительно устным, без всякой определенной формы, скорее, в таком виде, чтобы побыстрее избавиться от назойливых, чем предоставить право <...>. Вы мне говорили, что с некоторыми особами из окружения Толстого вы в дружеских отношениях и, может быть, дадите мне по этому вопросу некоторые дополнительные разъяснения, которые будут нам полезны»³¹.

Для того чтобы защитить себя от претензий со стороны конкурентов, Фуре в письме 30 ноября 1886 г. предлагает Арвед Барин «получить через знакомых из окружения Толстого эксклюзивное согласие на издание „Воспоминаний“, хотя бы от графини Толстой»³². Вся эта переписка свидетельствует о том, что в Париже существовала жесткая конкуренция на переводы произведений Толстого.

Одновременно с журналом «Revue bleue» две части трилогии, «Детство» и «Отрочество», в 1886 г. вышли в издательстве J. Hetzel в серии «Библиотека воспитания и развлечений» в переводе Мишеля Делина с замечательными иллюстрациями художников L. Benett и G. Roux (1886; 2 éd. 1886; 1887). В архиве издателя имеется письмо Hetzel'я Мишелю Делину. Оно написано на папиросной бумаге с большими утратами текста. «[Как только] я получу вторую часть перевода „Воспоминаний детства“, прочту ее и тут же перешлю вам через восемь дней в Париж <...>. Возможно ли получить разрешение автора, чтобы поместить его на вашем переводе?»³³ Это единственное, чем наше издание может отличаться от изданий наших конкурентов. <...> Как только вы убедитесь в этом, сообщите мне. С другой стороны, ваши связи с Россией помогут вам узнать, издавалась ли там эта маленькая книга с иллюстрациями. Если иллюстрации хороши, то мы могли бы их дорого купить у русского издателя. Но даже если они посредственные, то нельзя ли их тоже заполучить для более точного изображения костюмов и типов характеров, чем мы могли бы достичь этого от французского иллюстратора. Они могли бы послужить источником одному из наших художников <...> Хорошо, если бы вы порекомендовали русскому издателю послать в Париж <...> иллюстрированное издание, если таковое имеется. <...> Если мы примем к изданию эту книжицу, то мы могли бы вам выслать <...> сумму в 500 франков»³⁴. «Детство и Отрочество» в издательстве Этцель в 1886 г. вышло с иллюстрациями французских художников Ж. Ру и Беннета³⁵. В России иллюстрированных изданий трилогии Толстого в эти годы не существовало. Это подтверждается тем, что через год, в 1887 г., в Москве издательство журнала «Вокруг света» выпустило «Детство и Отрочество» Толстого с иллюстрациями тех же француз-



«Карл Иванович сидел на обычном месте».
Худ. Ж. Ру и Л. Беннет

ских художников. Повторен и формат французского издания³⁶. Произошла творческая инверсия двух национальных культур. Французский издатель искал русские иллюстрации. Русское издательство обрело иллюстрации французских художников Ру и Беннета, которые стали первыми иллюстраторами трилогии Толстого почти одновременно во Франции и в России.

На вопрос французской романистки Т. Бенсон (псевд. Мари Терез Блан), посетившей Толстого в 1901 г. в Гаспре, «не принесли ли ему утешения прекрасные переводы „Воскресения“ (г. де Визева) и „Детства. Отрочества. Юности“ (Арведа Барина) после стольких огорчений, причиненных ему отвратительными переводами других его произведений», Толстой ответил, что «скверный перевод — действи-

тельно довольно жестокое испытание для авторского самолюбия»³⁷. Перевод Арвед Барин был в числе лучших. По данным Национальной библиотеки Франции, «Детство. Отрочество. Юность» Толстого в переводе Арвед Барин выдержал девять факсимильных изданий с 1887 по 1913 г. В «Библиографии художественных произведений Л. Н. Толстого в переводах на иностранные языки» (М., 1961) имеются сведения о переизданиях до 1929 г. (1887; 1891; 3 éd. 1899; 4 éd. 1905; 1906; 1908; 1910; 8 éd. 1912; 1914; 1922; 1926; 1929).

Если переводы Арвед Барин считались хорошими, то переводы И. Д. Гальперина-Каминского имели весьма незавидную репутацию. Л. Н. Толстой говорил о нем: «У него плохой французский язык. Как это французы могут читать его переводы»³⁸. Между тем в издательстве Perrin вышел перевод Гальперина-Каминского под названием «Мои воспоминания: Детство. Отрочество. Юность», которое выдержало два издания в 1887 г. (2 éd. 1887) и переиздавалось несколько раз до 1906 г. (1891; 1899; 1906). Затем под названием «Воспоминания и впечатления детства и юности» его перевод выходил в издательстве Gedalge, начиная с 1908 г. (1910, 1912, 1914, 1923, 1926, 1929), и, наконец, под заглавием «Этапы одной жизни: Детство. Отрочество. Юность» в издательстве Plon (1935–1936).

Таким образом, автором первого французского перевода был Форг. Затем «Детство» было переведено и напечатано в «Journal de Saint-Petersbourg». Перевод Арвед Барин стал одним из лучших переводов «Детства. Отрочества. Юности» на французский язык. Перевод Мишеля Делина и его российские корни стали первоисточником создания лучших иллюстраций к трилогии, а многочисленные переиздания переводов Гальперина-Каминского — свидетельством популярности Толстого во Франции.

¹ Tolstoï Léon. Souvenirs: Enfance, adolescence, jeunesse / Ouvrage traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur par Arvède Barine. Paris: Hachette, 1887. 309 p.

² Этцель, Пьер Жюль (1814–1886), французский писатель, издатель и политический деятель. Издавал почти все произведения И. С. Тургенева на французском языке, написанные им после 1861 г. Его сын Луи Жюль Этцель (р. 1847) — сотрудник, а после смерти отца глава издательства.

³ Ашкинази Михаил Осипович (псевд. Мишель Делин) (1851–1914) — переводчик русских писателей на французский язык. С 1887 г. жил в Париже. Переводил Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина и др. Сотрудничал в «Temps» и в «Одесском листке».

⁴ См.: Художественные произведения Л. Н. Толстого в переводах на иностранные языки: Отдельные издания: Библиография. М., 1961. С. 235.

⁵ См.: Род, Эдуард. Русский роман и французская литература // Русский вестник. 1893. Т. 227. № 8. С. 208.

⁶ Voguë, M. de. Le Comte Tolstoï // Revue des Deux Mondes. 1884. № 7.

⁷ См. также на русском языке: Вогюэ де. Современные русские писатели: Толстой. Тургенев. Достоевский. М.: Изд. Маракуева, 1887. 60 с. (Тираж 1000 экз.)

⁸ Набоков Владимир. Тень русской ветки: Стихотворения, проза, воспоминания. М., 2000. С. 371.

⁹ Венсан Сесиль, урожд. Буффе (ее муж Шарль-Эрнест Венсан) (1840–1908), литератор, критик, переводчик. Автор исторических монографий о XVII в., Людовике XIV и великой мадемуазель, историко-литературных этюдов о Франциске Ассиаском, Шарле Перро, Альфреде Мюссе. В 1891 г. опубликовала в издательстве *Nachette* биографию Бернардена де Сен-Пьера (эта книга сохранилась в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого. Книготорговая наклейка фирмы «W. G. Gautier libraire à Moscou» дает возможность предположить, что она была куплена в Москве). Получила премию Французской академии (1890). Кавалер ордена Почетного легиона.

¹⁰ Юнг Евгений (Eugène Yung) (1827–1887), окончил *Ecole normale*, журналист, редактор «*Journal de Lyon*», «*Journal des Débats*», затем редактор журнала «*Revue politique et littéraire: Revue bleue*». В 1882 г. опубликовал «Стихотворения в прозе» Тургенева в «*Revue bleue*».

¹¹ Bibliothèque nationale de France (BNF), département des Manuscrits. Le fonds des Nouvelles acquisitions (NAF) 18349: Arvède Barine: Lettres reçues. F. 278–279.

¹² Дюран (Durand-Gréville) Эдуард (псевдоним Дюран-Гревиль) (1838–1900), литератор и переводчик. До 1872 г. преподавал французский язык в Петербурге в Училище правоведения. После возвращения во Францию — сотрудник «*Journal de Saint-Petersbourg*». Переводчик Тургенева и автор очерков о нем.

¹³ *Journal de Saint-Petersbourg: Politique littéraire, commercial et industriel*. 1885. В № 222, 223, 226 и 228 печатался «*Le Retour du décembriste*» / Par Tolstoy и «Детство» во 2-й половине 1885 г. qui a été hors d'usage.

¹⁴ BNF, département des Manuscrits. NAF 18351: Arvède Barine: Lettres reçues. F. 71.

¹⁵ BNF, département des Manuscrits. NAF 18349: Arvède Barine: Lettres reçues. F. 283.

¹⁶ Форг (Forgue Emile Daurant), Эмиль Доран (1813–1883), французский писатель, переводчик с английского. Учился на юридическом факультете в Тулузе. В Париже отказался от карьеры адвоката. Писал под псевдонимом Old Nick. Пе-

чалася в *Revue de Paris*, *Revue britannique*, *Revue des Deux Mondes*. В 1854 г. смертельно больной мыслитель Ламенне завещал Форгу, своему секретарю, издать полное собрание его сочинений.

¹⁷ Forgues, Emile Daurant (pseud. Old Nick). *Scènes de la vie aristocratique en Angleterre et en Russie / Imitées par E. D. Forgues*. Austin Elliot. Nicolina. *Chasses dans L'Inde*. Paris: L. Hachette, 1866. P. 118.

¹⁸ BNF, département des Manuscrits. NAF 18349: Arvède Barine: *Lettres reçues*. F. 281–282.

¹⁹ Рамбо Альфред (1842–1905), французский историк.

²⁰ Ibid. F. 284.

²¹ Ibid. F. 285–286.

²² Сведений не имеется.

²³ Ibid. F. 288–289.

²⁴ Ibid. F. 290.

²⁵ Ibid. F. 292–293.

²⁶ Ibid. NAF 18351: Arvède Barine: *Lettres reçues*. F. 152–153.

²⁷ Ibid. NAF 18349: Arvède Barine: *Lettres reçues*. F. 296–297.

²⁸ Ibid. NAF 18344: Arvède Barine: *Lettres reçues*. F. 1.

²⁹ Ibid. NAF 18343: Arvède Barine: *Lettres reçues*. F. 69–70.

³⁰ Издательство Perrin поместило анонс издания «Детства» и «Отрочества» Толстого в переводе И. Д. Гальперина-Каминского.

³¹ Ibid. F. 71.

³² Ibid. F. 74–75.

³³ В 1883 г. Толстой предоставил доверенность жене на ведение издательских дел. В газете «Русские ведомости» за 1887 г. (7 марта, № 64) напечатано заявление редакции «Посредника», составленное В. Г. Чертковым, что «все изданные „Посредником“ произведения Л. Н. Толстого, на основании желания самого автора, составляют общее достояние и потому свободны от всякой литературной собственности». В 1891 г. в газете «Русские ведомости» (19 сент., № 258) напечатано отречение Толстого от авторского права на произведения, написанные им с 1881 г. 8 марта 1894 г. в *Journal des Débats* в переводе Шарля Саломона напечатано заявление Л. Н. Толстого, что он «предоставляет право без всякого исключения <...> всем желающим печатать, перепечатывать <...> вышедшие <...> с 1881 года сочинения в подлиннике или в переводах» (67, 42).

³⁴ BNF, département des Manuscrits. NAF 16943: Archives Hetzel: *Dossiers d'auteurs*. F. 342–344.

³⁵ Бенетт, Леон (Benett Léon, 1839–1917), французский художник-график. Во время служебных заграничных командировок во французские колонии (Алжир, Индокитай, Мартинику и Новую Каледонию) вел дневник и делал зарис-

совки с натуры. Они послужили материалом для иллюстраций романов Жюль Верна, Эркмана-Шатриана, Майн Рида, Элизе Реклю и др. Работал в тесном сотрудничестве с писателем и издателем П.-Ж. Этцелем.

Ру, Жорж (Roux, Georges), 1880—1929. Французский живописец и график. Прославился как иллюстратор произведений Жюль Верна, романа Жана Экара «Король Камарги», «Острова сокровищ» Стивенсона и др.

³⁶ Толстой Л. Н. Детство и отрочество: История моего детства. М.: Изд. журнала «Вокруг света», 1887.— 305 [2] с. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке. В 1905 г. эта книга вышла в Москве в издании И. Н. Кушнерев и К°.

³⁷ Бенсон Т. Вблизи Толстого // ЛН: Толстой и зарубежный мир. Т. 75. М., 1965. Кн. 2. С. 36.

³⁸ ЯЭ. Кн. 2. С. 384.

Т. Н. Архангельская

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О ВОЕННОЙ СУДЬБЕ гр. Ф. И. ТОЛСТОГО
В 1812 г.

В первой и пока единственной (с конца 1920-х гг.) биографии Ф. И. Толстого (Американца), написанной сыном Л. Толстого С. Л. Толстым по воспоминаниям и легендам современников, рассказам в исторических журналах, исследованиям историков литературы, его военной судьбе в дни Отечественной войны уделено лишь полстраницы. Рассказывая об увольнении Толстого из Преображенского полка в октябре 1811 г., автор, ссылаясь на «разные мемуары и семейное предание», предполагает, что «граф был разжалован в рядовые», хотя, возможно, был «вновь произведен в офицерский чин». Период войны 1812 г., как и некоторые другие периоды жизни Ф. И. Толстого, оказался освещенным полулегендарным светом: «В 1812 году он опять поступил на службу в качестве ратника московского ополчения. На войне он вернул себе чин и ордена и безумной храбростью заслужил Георгия 4-й степени. При Бородине он был тяжело ранен в ногу». Из мемуаров здесь приведены лишь приблизительные свидетельства И. П. Липранди о том, что Толстой был на Бородинском поле каким-то «начальником ополчения», а позднее, раненный в ногу, встретился ему в обозе раненых¹.

В основе этого биографического отрывка, содержащего, к сожалению, немало неточностей, очевидно, лежало свидетельство друга Ф. И. Толстого поэта П. А. Вяземского, написавшего в своих воспоминаниях о 1812 г., что Толстой, явившийся на Бородинское поле, оставив калужскую деревню, «надел <...> солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени»².

Впоследствии авторы, касавшиеся этой темы, отнюдь не уточняя, варьировали сказанное: так, в примечании к изданию «Записок Ф. П. Толстого» (художника-медальера) (2001 г.) читаем об Американце: «В 1812 г. в составе *Московского ополчения* (здесь и далее — курсив автора статьи.— Т. А.) при Бородино был тяжело ранен, награжден орденом Св. Георгия IV степени». С. Гришачев (статья в журнале «Родина», 2001, июнь) заключает: «Служил он в лейб-гвардии Преображенском полку, дважды был за проступки

разжалован в рядовые, но смелостью на поле брани возвращал себе чин офицера». О тяжелом ранении, награждении «Георгием» и возвращении Толстому офицерского чина читаем у А. Шамаро («Действие происходит в Москве», 1979). Писатель М. Вострышев в повести «Старомосковские жители» (1988) упомянул еще о его «безумной отваге» при Бородине. Костромской писатель-краевед В. Бочков (в книге «Скажи, которая Татьяна?», 1990) сообщил о том, что «для Толстого Отечественная война закончилась тяжелым ранением на Бородинском поле, где он сражался героически», и т. д.

Сомнений в сказанном могло бы и не возникнуть.

Однако все это, написанное не без легендарного налета, рано или поздно, естественно, побуждало к поиску документов для ответа хотя бы на самые простые вопросы: как возвратился Толстой на военную службу в 1812 г.? где и в каком чине служил в ту пору? что означает «вернул себе чин и ордена»?

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) сохранился «Формулярный список Лейб-Гвардии Преображенского полка капитана графа Толстого», датированный 19 сентября 1811 г. Здесь сообщается, что зачисленный в полк 1 января 1791 г. подпрапорщиком Толстой регулярно повышался в чинах. 12 декабря 1810 г., почти в 29 лет, он был произведен в капитаны. О его разжалованиях не сказано ничего. В графе «К повышению достоин или зачем не аттестуется» — краткая запись: «Достоин»³.

Отставной гвардии капитан Толстой в ополчение 1812 г. был принят не «ратником», не солдатом, а сразу — батальонным начальником в звании подполковника по армии, что соответствовало чину капитана гвардии. На строившейся центральной батарее Бородинского поля встретил Толстого накануне сражения И. П. Липранди, отметивший в воспоминаниях, что тот успел ему сказать, где и чем он командует. (Но этого мемуарист не сообщает.) Есть печатные источники, утверждающие, что на начало Бородинского сражения подполковник Толстой командовал батальоном 8-го пешего казачьего полка Московского ополчения (См., напр., в кн.: Васильев А. А., Елисеев А. А. «Русские соединенные армии при Бородине 24–26 августа 1812 г. Состав войск и их численность». М., 1997). Но следует рассмотреть еще одно обстоятельство. В книге «Московское дворянство в 1812 году» (М., 1912) приведены Списки Московской военной силы (без даты). В списке офицеров 1-го егерского полка вслед за фамилиями шефа полка и полкового командира записано: «подполковник гр. Толстой» (в полковых списках офицеров по 8-му пехотному полку Толстой не значится). Как разрешить эту дилемму?

Допустимо предположить, что в обстановке, когда не все полки имели оружие (судя по письму командовавшего ополчением генерал-лейтенанта И. И. Моркова Барклаю де Толли от 29 августа 1812 г., с ружьями были 1-й, 2-й и 3-й егерские полки и 1-й пехотный полк), Ф. И. Толстой мог перейти в 1-й егерский полк, чтобы непосредственно участвовать в боевых действиях с оружием в руках. Первый и четвертый батальоны 1-го егерского полка прибыли из московского ополчения в действующую армию уже 23-го и 24-го августа и были направлены во 2-й корпус. В воспоминаниях дежурного штаб-офицера VI корпуса Болговского отмечена немалая помощь в Бородинском сражении прибывшего на левый фланг 2-го корпуса. В его составе, возможно, были и батальоны 1-го егерского полка ополчения. (Один из его батальонных начальников майор Мацкой был представлен к награждению орденом Св. Владимира 4-й степени именно за участие в Бородинском сражении.) Это не исключает возможности службы Толстого в 8-м пехотном полку, о чем свидетельствует опубликованный в сборнике «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года» (М., 1962) «Список штаб- и обер-офицерам Московской военной силы, отличившимся в кампанию прошлого 1812 года». Но следует учитывать и то, что генералом Морковым в списке отличившихся не указано время прибытия Толстого в 8-й полк, более того, не говорится об участии его в Бородинском сражении, а перечень дат сражений, где он в составе 8-го полка «отличил себя мужеством», начинается лишь с 6 октября 1812 г., то есть примерно со времени, когда он мог вернуться после «излечения раны», полученной на Бородинском поле, к месту прежней службы — в 7-й корпус, к которому, судя по рапорту Кутузова Александру I от 23 сентября 1812 г., был прикомандирован 8-й полк.

Ценнейшим документом, отвечающим на вопрос, как, куда и когда вернулся граф Толстой на военную службу в 1812 году, можно считать обнаруженное в РГВИА письмо шефа 1-го егерского полка Н. Н. Демидова к «князю Василию Сергеевичу» — видимо, Трубецкому, генерал-адъютанту императора Александра I: «Милостивый государь Князь Василий Сергеевич. Небезизвестно вашему Сиятельству, что я взялся сформировать 1-й Егерский полк Московской Земской силы, то мне нужны офицеры, но хотя и являются многие из статских, но люди к службе не приобывшие и оную не знающие, прилагаю вам при сем письмо от Графа Толстого, известного вашему Сиятельству, опытного и славного по словам его товарищей офицера, желающего поступить ко мне. Благоволите доложить Государю Императору, прикажет ли его, Толстого в полк принять, с чином по сделанному положению, и прикажите о воле Его Императорского Величества мне дать знать, чем изволите одолжить пребывающего с истинным почтением,

Милостивый государь, Вашего Сиятельства покорнейшего слугу *Николай Демидов*».

В левом нижнем углу листа обозначена дата — «Июля 26 дня 1812 года» — и место: «Москва». Здесь же, выше — резолюция карандашом, возможно, рукой императора Александра I (?): «Принять». Ниже — рукой князя А. И. Горчакова 1-го — «получено 19 августа 812»⁴. Эта дата повторена на верхнем поле листа перед текстом письма. Видимо, ее можно условно считать датой возврата графа Толстого на военную службу. (В других документах, например в указе о его отставке из армии после Отечественной войны, назван лишь год принятия его подполковником по армии, без указания месяца и числа.)

Можно предположить, что служба графа Толстого именно в егерском полку оказалась косвенно отраженной в принадлежащих, по всей вероятности, П. А. Вяземскому застольных куплетах 1814—1815 гг.:

А вот и наш Американец!
В день славный под Бородиным
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим...

(Ранец и ружье со штыком — атрибуты егерской формы того времени. Отставленный из Преображенского полка «без мундира», граф Толстой должен был носить в 1812 г. общую армейскую форму.)

Строка из воспоминаний другого близкого Толстому человека — Д. В. Давыдова — ориентирует нас относительно его места пребывания: упомянуто, что в день сражения он находился «в числе стрелков при 26-й дивизии», входившей в корпус Н. Н. Раевского.

В момент сражения, когда, как отмечает Э. Ф. Сен-При, из-за значительных потерь в офицерском составе наступила «кратковременная дезорганизация большинства полков»⁵, Багратионом было сделано распоряжение, повлекшее за собой немаловажный поворот в военной судьбе ополченного офицера Ф. И. Толстого: подполковник был прикомандирован во время сражения 26-го августа к командованию пехотным полком.

Свидетельствуют об этом данные о графе Толстом в списке лиц, достойных награды за Бородино, направленном Н. Н. Раевским М. И. Кутузову при рапорте от 7 сентября 1812 г., где в графе: «Подвиги отличившихся» о нем сказано: «Командуя баталионом, отличною своею храбростью поощрял своих подчиненных, когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф полковник Савоини, то вступя в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских

колонн, причем ранен пулею в ногу». В графе о том, что для него испрашивается, рукой Раевского написано: «К чину»⁶.

В отправленном И. И. Морковым в Комитет по делам ополчений при рапорте от 31 марта 1813 г. «Списке штаб- и обер-офицерам Московской военной силы, отличившимся в кампанию прошлого 1812 года» есть, как уже было отмечено выше, строки о «8-го пехотного полка подполковнике графе Толстом»: «По назначении его батальонным командиром много содействовал к сформированию полка и, находясь безотлучно при оном 6 и 12 октября и 6 ноября, отличил себя мужеством». Ответ на вопрос «Чему достоин?» гласил: «Св. Владимира 4-й степени с бантом»⁷.

Процесс оформления награждений был длительным. В «Записках» А. П. Ермолова отмечено, например, что, когда армия располагалась в Вильно, по данному Кутузову праву награждать своей властью, были «доставлены фельдмаршалу по сделанным им представлениям назначенные награды за сражения, между прочим и за битву Бородинскую. Медленное последовало утверждение их по той причине, что многие весьма из частных начальников 2-й западной армии были убиты и ранены, временно заступившие места их присылали представления порознь, и надо было, рассматривая достоинство оказанных отличий, соразмерять вознаграждения»⁸.

Касающихся личной судьбы графа Толстого военных документов с осени 1812 г. вплоть до его отставки весной 1816 г. на сегодня в обиходе почти нет. В рапорте Кутузова Александру I от 21 ноября 1812 г. о дислокации частей ополчения находится одно из последних сообщений, относящихся к истории 8-го полка. Речь идет о расположении полков земского ополчения: «...по той линии, по которой будут препровождаться транспорты и пленные собственно для исполнения сих обязанностей, а именно: Московского — бригада полковника Свечина в Борисове, 8-й пеший полк в Орше»⁹.

Известно, что в архивах встречаются лишь отрывочные данные об отдельных частях Московского ополчения за январь-апрель 1813 г. и не сохранилось достаточных сведений о дальнейшей судьбе воинов. Ф. И. Толстой в этом отношении не исключение.

Графу Толстому, по представлению Раевского Кутузову, чин полковника мог быть назначен фельдмаршалом вскоре. В рапорте Кутузова императору Александру I от 31 октября 1812 г. («во всемиростивейшее воззрение» о представлении к награждению генералов Московского ополчения) сказано: «Прочие же награжденные мною по тому ополчению штаб- и обер-офицеры будут помещены в списке о других офицерах, коим по высочайше предоставляемой мне власти объявил я чины и дал ордена»¹⁰. Утверждать или опровергать факт

существования приказа Кутузова, касавшегося награждения чином Ф. Толстого, — пока нет достаточных оснований. Не располагая высочайшим приказом, Морков и в представлении от 31 марта 1813 г. именует Толстого подполковником.

Правда, к этому времени граф уже был произведен: высочайший приказ о производстве подполковника графа Толстого в полковники датирован 13 марта 1813 г. Здесь читаем: «За отличие, оказанное в сражении, производятся: прикомандированный к Ладожскому пехотному полку из Московского ополчения подполковник граф Толстой в полковники...» («Санктпетербургские ведомости». № 27. 4 апреля 1813 г. С. 288).

Немалый интерес представляет найденный в РГВИА текст доклада или служебной записки императору Александру I в связи с подачей графом Толстым прошения об отставке осенью 1815 г.

Это первый по времени документ (из известных на сегодня), содержащий некоторые сведения о военном пути графа Толстого после сражения под Красным и пребывания в Орше и сведения о его наградах. К недостаткам его следует отнести отсутствие в нескольких случаях дат и некоторые неточности.

Над текстом доклада надписаны даты: «3 генваря 815» (должно быть, описка, следует «816») и «Марта 9 1816». Заглавия документ не имеет, есть надпись «Дублекат»; должностные лица не обозначены, кроме подписи в конце документа. Часть его текста, относящуюся к 1812 году, имеет смысл привести полностью, так как документ проясняет отдельные моменты военной биографии графа Толстого, по некоторым вопросам допуская уточнения, а по другим — побуждая к дальнейшему исследованию:

«О увольнении от службы за раню на собственное пропитание числящегося по армии полковника графа Толстого, с награждением следующего чина.

Л. 48. Принятый покойным Генерал Фельдмаршалом князем Голенищевым-Кутузовым Смоленским из отставных Гвардии капитанов подполковником по армии, и произведенный за отличие в сражении в полковники Граф Толстой, по причине открывшейся в ноге раны, полученной им в достопамятной Бородинской баталии, всеподданнейше просит об увольнении его от службы на собственное пропитание, со все милостивейшим награждением следующим чином.

(Исключаем далее из текста раздел объемом около листа, повторяющий данные формулярного списка по графам „какими чинами происходил“ и „в которых именно полках и баталионах по переводам и произвождениям находился“. Раздел оканчивался строкой об отставке Толстого из Преображенского полка 1811 г. октября 12.)

Л. 48 об. <...> принят подполковником — 812 — по армии полковником — августа 26.

Всего в службе 25 лет 2 месяца

в офицерских чинах 17 [лет] 5 [месяцев] в настоящем чине 3 [года] 2 [месяца].

Л. 49. Находился в походах и сражениях в последнюю со шведами войну, и при покорении Аландских островов, и за оказанное им тогда отличие удостоился Монаршего благоволения (I), — к повышению аттестовался достойным, от рода ему 33 года, а минувшего 1811 г. октября 12 дня по прошению его за болезнями уволен от службы без чина и мундира, с жительством в Калужской губернии <...>

(Исключаем текст л. 49 об., повторяющий раздел формулярного списка о „штрафах“, т. е. наказаниях графа Толстого за время службы в Преображенском полку.)

Л. 50. <...> В 1812-м году в августе месяце по его желанию принят покойным Генерал Фельдмаршалом Князем Голенищевым-Кутузовым Смоленским по армии подполковником (II), и причислен для командования Полтавским пехотным полком (III), с коим находясь в Бородинской битве, ранен в левую ногу пулею навывлет (IV), и за отличие пожалован в полковники, о чем объявлено было в Приказе Главнокомандовавшего (V), по исцелении же раны был во многих других.

Л. 50 об. сражениях, и за отличие награжден за штурм Горна и Гами (VI) орденом С-го Владимира 4-й степени с бантом, а за экспедицию при Гамбурге на острове Виленсбурге орденом С-го Георгия 4-го класса. Из представленного графом Толстым свидетельства медицинских чиновников видно, что от полученной им вышеупомянутой раны болезненные припадки состоят: в повреждении сухой жилы, в судорогах поврежденного члена и в отеке, для пользования коих нужно употребление минеральных вод и спокойный образ жизни.

Доклад о сем представлен 31 октября 1815 г.

Л. 51. Полковник граф Толстой, хотя и пишет в своем прошении, что будто бы он по высочайшему повелению в августе месяце 812 года определен по армии (VII), но о сем высочайшего приказа не было, может быть, что он приказом Главнокомандующего определен и потому в штабском списке его совсем нет. За сражение при Бородине действительно назначен ему чин полковника, но не произведен потому, что в списке сказано: Ладогского пехотного полка прикомандированный из Полтавского пехотного полка (VIII) подполковник граф Толстой и как в то время не было известно, когда и откуда он в Полтавский пехотный полк поступил (IX), то о сем 19 ноября 812 г. писано было покойному Г. Фельдмаршалу князю Голенищеву-Кутузову

Смоленскому; но на оное ответа не получено (X). Надворный советник Пантюхин, 29 генваря 1815 года» [очевидно, ошибка, следует: 1816 года]¹¹.

Позволим себе несколько пояснений к документу в порядке примечаний: I. Доклад представляется основным источником сведений о награждениях Ф. Толстого.

Приведем пример типичной «обиходной» фразы о наградах Ф. Толстого: в книге В. Мещерякова «Жизнь и деяния Александра Грибоедова» (М., 1989) написано о Ф. Толстом, что во время шведской войны, «отличившись в нескольких сражениях, граф заработал кресты и медали». Орденом Св. Георгия пишущие о нем, не сомневаясь, обычно «награждают» Толстого за Бородино.

Документы о награждениях Толстого пока не обнаружены, даты их неизвестны, вопрос требует дальнейшего изучения. Предположительно, судя по дате представления в рапорте Моркова (31 марта 1813 г.), награжден Толстой мог быть не ранее апреля 1813 г. В докладе не отражено награждение графа медалью 1812 г., полученной им, возможно, позднее.

(В повести Л. Н. Толстого «Два гусара» в образе гусара Турбина-старшего современники безошибочно узнавали Ф. И. Толстого. Писатель мог знать о его наградах из рассказов родственников. Возможно, следуя реальной действительности, он представил своего героя награжденным орденом Св. Владимира и медалью 1812 г.)

II. Сведения о соответствующем документе не приведены.

III. Толстой командовал не Полтавским, а Ладожским полком. Происхождение этой неточности прояснено в заключительной части документа.

IV. Детали по факту ранения Ф. Толстого на Бородинском поле: «ранен в левую ногу пулею навывлет» — уточнены, видимо, по прилагавшимся медицинским свидетельствам.

V. Дата документа не указана.

VI. В Пашпорте, полученном Толстым при отставке в 1816 г., эти названия записаны несколько иначе: «Горма и Гани». Не выражены ли так (неточно) реальные названия мест сражений, а именно: у Торна и Гайнау?

VII. За основание для этого, вероятно, была принята резолюция на тексте письма Демидова В. С. Трубецкому, приведенная выше. Демидов испрашивал разрешения принять Толстого «с чином по сделанному положению», что соответствовало чину подполковника и «должности» на уровне батальонного начальника. Батальонные начальники в ополчении утверждались командующим генералом. Государем утверждались полковые начальники.

VIII. Полтавский полк состоял с Ладожским полком в одной бригаде, находившейся под командованием полковника Савоини. Возможно, этот факт стал на каком-то этапе прохождения документов поводом к «смещению» названий. Сведений о том, что граф Толстой состоял когда-либо в Полтавском полку, в документах не встречается.

IX. Может быть, эта частная деталь, ставшая одной из официальных причин задержки присвоения чина графу Толстому, помешала ему использовать какие-либо возможности по службе, представлявшиеся за прошедшие полгода ожидания.

X. В цитированном выше предоставленном Кутузову Раевским списке лиц, достойных наград за Бородино, назван «прикомандированный к Ладожскому пехотному полку для командования оным подполковник граф Толстой». Упоминания о Полтавском полку в Списке Раевского нет¹². Последняя фраза оставляла неясным вопрос о том, когда же Толстой был произведен.

В письме от 10 декабря 1812 г., отвечая, очевидно, на какой-то запрос дежурного генерала П. П. Коновницына, Н. Н. Раевский сообщал: «На отношение вашего превосходительства сим честь имею извести, что подполковник граф Толстой прикомандирован во время сражения 26-го августа к командованию Ладожским пехотным полком по причине перераненных того полка шефа и других штаб-офицеров покойным Главнокомандующим князем Багратионом из *Московского ополчения* (курсив мой. — Т. А.), состоящего под командою Генерал-лейтенанта графа Моркова...»¹³. Совпадения в текстах позволяют считать, что этот ответ Раевского наряду с другими документами стал основой высочайшего приказа о производстве подполковника Толстого в полковники. Странно, как мог быть не отражен в докладе этот высочайший приказ о производстве графа Толстого в полковники — от 13 марта 1813 г., опубликованный в «Санктпетербургских ведомостях» от 4 апреля 1813 г.

В Пашпорте 1816 г. граф Толстой именуется с первой строки полковником, но документ о его производстве и здесь не упоминается.

В заглавии приведенного выше доклада значится: «О увольнении <...> полковника графа Толстого, с награждением следующего чина». И в изложении прошения говорится, что граф Толстой «всеподданнейше просит» об увольнении «со всемилостивейшим награждением следующим чином». В резолюции над заглавием документа карандашом написано: «отставить тем же чином» и приписано чернилами: «с мундиром. 9 марта 1816». 16 марта 1816 г. полковник Ф. И. Толстой был, «по Высочайшему Его Императорского Величества повелению, за раню, уволен от службы с мундиром», как гласит запись в его Пашпорте.

¹ Толстой С. Л. Федор Толстой Американец. М., 1990. С. 22. В опубликованной в сборнике Материалов научной конференции Бородинского Военно-исторического музея в 2002 г. статье Т. Н. Архангельской «Участник Бородинского сражения граф Ф. И. Толстой» впервые была сделана попытка представить в общих чертах военную службу офицера Ф. И. Толстого в 1812 г. Материал данной работы развивает ту же тему, документально подтверждая предположения автора относительно отдельных моментов его военной судьбы.

² Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 388.

³ РГВИА. Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 495. Л. 673–675.

⁴ Там же. Ф. 29. Оп. 1/153-А. Св. 16. Д. 1932. Л. 41.

⁵ Сен - При Э. Ф. Замечания на Бородинское сражение и вызванные им события // Бородино. Документы, письма, воспоминания. М., 1962. С. 392.

⁶ РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. 0. Д. 4. Ч. 1. Л. 145 об.

⁷ Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962. С. 97.

⁸ Записки А. П. Ермолова. 1798–1826. М., 1991. С. 259.

⁹ М. И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. IV. Ч. 2. С. 436.

¹⁰ РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. 0. Д. 3. Л. 67.

¹¹ Там же. Ф. 29. Оп. 4. 154. Св. 85. Д. 55.

¹² Там же. Ф. 103. Оп. 1/208-А. Св. 0. Д. 4. Ч. 1. Л. 145 об.

¹³ Там же. Д. 1. Л. 264.

Александр Цагарейшвили

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

Перевод с грузинского
А. Л. Эбаноидзе

Александр Цагарейшвили (1886—1965) окончил историко-филологический факультет Московского университета. Преподавал русскую литературу в тбилисских вузах.

Посещение Ясной Поляны А. Цагарейшвили не осталось незамеченным. Д. П. Маковицкий 30 марта 1909 г. записал в дневнике, что «были два студента Московского университета: грузин А. Цагарейшвили и полуармянин Ценальянц. Первый — детски восторженный, наивный, простой, второй — занимающийся писательством (беллетристикой, критикой). Оба очень восхищались Л. Н-чем. Л. Н. им сказал, что очень жалко, что они в университете». Но, как видим из текста «Воспоминаний о Льве Толстом», автор не последовал совету знаменитого писателя и закончил Московский университет.

Имеется небольшое расхождение в датах посещения. Но Цагарейшвили писал воспоминания, а Маковицкий — дневник. Скорее всего, дата посещения у Маковицкого обозначена более точная.

Перевод осуществлен по публикации в журнале «Мнатоби», 1958, № 1 (г. Тбилиси).

1

Я закончил старейшее в России учебное заведение — Московский университет. Его выпускником был человек, сыгравший важную роль в моем воспитании и образовании, известный грузинский педагог Александр Александрович Гарсеванишвили. Он часто рассказывал о своем студенческом прошлом, и его рассказы побудили меня ехать учиться в Москву. Особенно настоятельным это желание сделала юношеская мечта хотя бы разок увидеть живущего неподалеку от Москвы великого Льва Николаевича Толстого.

В Москву я прибыл осенью 1908 года, в середине ноября.

Тогда ректором Московского университета был известный профессор Мануйлов. Поступить в университет оказалось непросто. В связи с тем, что студенческий контингент был уже заполнен, профессор Мануйлов посоветовал мне ехать в университеты юга России (Одесса, Харьков), но я не склонен был так легко отступить от своей мечты.

По совету земляков, обучающихся в Москве, я повидал Силована Габуния, своеобразного человека, «вечного студента», в трудных обстоятельствах приходившего на помощь своим землякам. Силован Габуния свел меня с профессором Александром Хаханашвили. Затем вдвоем они навестили ректора Мануйлова, и вопрос решился положительно. В конце ноября 1908 года меня зачислили в Московский университет вольнослушателем. Это было связано с тем, что, обучаясь в гимназии, я не проходил греческий, а без знания греческого на филологический факультет не зачисляли. Осенью 1909 года мы с Акакием Пагава (впоследствии профессором ТГУ) успешно сдали экзамен по греческому и были зачислены в Московский университет студентами.

Сразу же после этого я приступил к осуществлению своей заветной мечты: 18 февраля 1909 года отправился в Ясную Поляну.

При подходе к усадьбе я увидел выезжающие из ворот сани. В санях сидел хорошо одетый молодой мужчина. Я решил, что это один из сыновей Толстого, поскольку лицо мужчины показалось мне знакомым, наверное, по фотографии из газет. Сани, повернувшие было в сторону платформы Засека, стали, и молодой мужчина, не признав меня, спросил, кто я и куда держу путь.

Это и в самом деле был сын Толстого. Выслушав меня, он сказал, что Льву Николаевичу сегодня нездоровится и повидать его не удастся, поскольку он со вчерашнего дня не поднимается с постели. Сообщив это, мужчина предложил воспользоваться санями, подвезти меня до платформы Засека, но я поблагодарил, и сани поехали дальше. Я постоял у въезда в усадьбу, внимательно озираясь, стараясь увидеть и запомнить все, чего достигал глаз. Затем, огорченный, пошел к платформе. Часа через три сел в поезд и вернулся в Москву.

В те самые дни произошло событие, в какой-то мере встревожившее меня. Из Франции в Москву вернулся выдающийся русский ученый И. И. Мечников. Как известно, профессор Мечников был в конце девятнадцатого века выслан из России. Во Франции он работал в Пастеровском институте.

Живя в Париже, Мечников внимательно следил за деятельностью Толстого. Большой ученый восхищался творчеством гениального художника слова, но не меньше интересовала его личность Толстого, пытавшегося разрешить вечные вопросы, волнующие человечество. Еще до отъезда из Парижа в Москву Мечников связался с М. А. Стаховичем и попросил содействия в организации встречи с Толстым. Стахович передал просьбу и вскоре сообщил Мечникову о том, что Толстой его примет.

В апреле 1909 года Мечников прибыл в Москву. Московское студенчество торжественно приняло выдающегося соотечественника. Бе-

лорусский вокзал и подступы к нему были переполнены молодежью, приветствовавшей ученого букетами цветов и речами.

Вскоре по приезде Мечников отправился в Ясную Поляну, где провел с Л. Н. Толстым целый день. Впечатлениями от встречи он поделился с читателями газеты «Русское слово». Мечников, в частности, писал: «Когда мы со Львом Николаевичем поднялись в его рабочую комнату, он пронизательно посмотрел мне в глаза и спросил: „Скажите, наконец, зачем вы, собственно, приехали?“ Я несколько растерялся, — рассказывает далее Мечников. — Сказал, что хотел... выразить восхищение его художественным творчеством, которое ставлю выше его философских сочинений». Далее Мечников высказывался в том смысле, что Толстой не любит, когда ему противоречат.

Столь сдержанный, холодный прием выдающегося ученого с большими заслугами, каким был профессор Мечников, заставил меня призадуматься. Да кто я такой, чтобы Он принял меня и поговорил со мной?! И что я, собственно, могу Ему сказать?..

Так в сомнениях и тревогах прошел март и начало апреля 1909 года.

Наконец, 9-го апреля 1909 года, я все-таки решился и опять отправился по уже знакомому маршруту.

Переночевал в Туле, а 10-го из Тулы пошел пешком в сторону Ясной Поляны.

В пути меня застала ночь, я свернул в придорожное село и попросился на ночлег в крестьянскую избу. Меня впустили, но ту ночь я провел на сеновале, поскольку постель, которую предложили, была очень грязная.

Утром меня разбудил крик петуха.

Выходя из Тулы, я выбрал такой путь, чтобы пройти через село Телятинки, в котором жил В. Г. Чертков. Как известно, Чертков был выдающийся деятель, один из близких сподвижников Льва Толстого.

Мне хотелось услышать его совет относительно моего намерения повидать Толстого.

11 апреля часов в десять я был у Чертковых. Дверь открыла какая-то женщина. Она приняла у меня пальто и ввела в гостиную. Через некоторое время в ту же комнату в глубокой задумчивости вошел крупный мужчина, в котором я узнал Черткова. Он был настолько озабочен чем-то и говорил со мной так рассеянno и раздраженно, что, задетый, я поднялся в поисках своего пальто.

Чертков вскочил, подбежал ко мне, обнял за плечи и, извиняясь, стал объяснять, что у его поведения веские причины: он получил предписание немедленно покинуть Тульскую губернию, ему предстояли сборы и неблизкий путь. Он еще раз попросил прощения.

К этому времени женщина, открывшая мне дверь, подала завтрак. (К слову сказать, утро было пасхальное.) За завтраком Чертков много говорил о Толстом, говорил о трудностях и кознях, которые царское правительство чинило великому яснополянскому мудрецу. Он посоветовал не особенно задумываться по поводу сдержанного приема Толстым профессора Мечникова. Для Толстого чины и регалии не имеют значения. «Думаю, что вас Лев Николаевич примет хорошо и побеседует с удовольствием».

Я поблагодарил за обнадеживающие слова, попрощался и отправился дальше.

Примерно через час показалась Ясная Поляна, окруженная хвойным лесом. Я уже во второй раз подходил к этим местам, но при виде въездных башен сердце у меня забилося сильнее. Вот и просторная усадьба, знакомый пруд, несколько построек. На нижней веранде двухэтажного дома сидела женщина и занималась каким-то рукоделием. (Как позже мне сказал врач Льва Николаевича доктор Маковицкий, это была дочь Толстого — Александра.) Когда я приблизился к веранде, женщина подняла на меня взгляд и спросила, что мне угодно. Узнав о цели моего прихода, она сказала: «Лев Николаевич сейчас работает, и ему нельзя мешать. Вы подождите здесь, после работы он выйдет на прогулку».

В ожидании я сел на скамью перед домом.

Спустя немного времени ко мне подошел невысокий мужчина и представился: это оказался секретарь и врач Толстого — Душан Петрович Маковицкий. Маковицкий, словак родом из Венгрии, окончил медицинский факультет Пражского университета и с декабря 1904 года работал у Л. Н. Толстого.

Пожалуй, никого в своем окружении Лев Толстой не ценил так, как Маковицкого. В незабываемое утро 28-го октября 1910 года, покидая Ясную Поляну и навсегда уходя от семьи, Толстой взял в спутники одного только Маковицкого.

Пока Лев Николаевич не показывался из дома, Маковицкий присел рядышком со мной и много чего рассказал о жизни Толстого. К примеру, он поведал о том, как Синод отлучил Толстого от Церкви и какое письмо написала Синоду его супруга — Софья Андреевна. Показал просторную усадьбу и повел к любимому месту Толстого, где в детстве будущий писатель играл с братьями. «Он и сейчас, — сказал Маковицкий, — во время прогулок часто приходит сюда и сидит здесь в задумчивости. Домашние решили никогда не отлучать его от этого места», — со значением заключил Маковицкий.

Особенно настоятельно Д. П. Маковицкий задержался на одной просьбе. В последнее время, сказал он, Льва Николаевича мучает

мысль о смерти. Она занимает его с необычайной силой, как это свойственно только Толстому и как описано в «Исповеди» и в «Анне Карениной», в образе Левина, его alter ego. Он еще раз повторил свою просьбу не касаться в разговоре темы смерти. Беседуя, мы вернулись к скамейке, с которой началась наша прогулка и на которую я опять присел в ожидании Льва Николаевича.

Когда, думая о Толстом, я пытался мысленно представить его, он виделся мне высоким стариком с разделенной надвое седой бородой...

Погруженный в свои мысли, я не заметил, как открылась дверь нижнего этажа и ко мне направился невысокий старик в вытертом пальто с обтрепанными карманами и старой, заношенной шапке.

Поскольку направлявшийся ко мне человек никак не походил на того, кого я ждал, пока он не приблизился вплотную и не глянул из-под густых, нависших бровей, я не думал, что это Лев Толстой. Но узнав, вскочил, снял шапку, положил ее на скамью и обеими руками схватил протянутую мне сухую ладонь.

— Пойдемте на веранду, сегодня чудесный день, — проговорил Толстой, направляясь к веранде.

Я с волнением последовал за ним.

Вокруг еще лежал схваченный морозцем снег, дул колкий холодный ветер, но на припеке солнце грело по-весеннему.

— Вы студент Московского университета? — спросил он и, получив подтверждение, поинтересовался. — Какого факультета?

— Историко-филологического, — ответил я.

По поводу моего факультета он ничего не сказал, а заметил относительно юридического:

— На этом факультете учат оправдывать всяческое зло, ложь и бесчинство.

Наступило молчание, во время которого он смотрел в сторону въезда в усадьбу. Я тоже посмотрел туда и увидел двоих мужчин, которые направлялись к дому, о чем-то горячо споря. Они то останавливались, не прекращая спора, то опять шли дальше. После затянувшейся паузы Лев Толстой спросил:

— Какие настроения в университете? Как ваша революция?

— Сейчас в университете спокойно, — ответил я.

— Очень жаль. Разве можно жить в тех условиях, в какие поставлен народ! Я сочувствую революции, но не поддерживаю тех средств и приемов, к которым прибегают революционеры. Зло не исправить злом.

Как я отметил, доктор Маковицкий просил меня не заговаривать о смерти. Видимо, близкие заботились о его душевном настрое и старались оградить от всего, что могло вызвать тягостные мысли. Но

я не сумел выполнить просьбу доктора и простодушно спросил Льва Николаевича о его здоровье.

— Я скоро умру, — ответил Толстой. — Между моей и вашей смертью не такое уж большое расстояние. И у вас отрастет борода, вы поседеете... разница, в сущности, не так велика...

Он продолжил разговор о жизни и смерти и надолго задержался на этой теме. Пока он говорил, я внимательно смотрел на него; особенно приковывали внимание зоркие пронизательные глаза и старческие жестикулирующие руки. Мне хотелось навсегда запечатлеть в себе облик человека, к которому было обращено внимание всего мира и которого справедливо называли совестью России.

Он присмотрелся ко мне, спросил:

— Вы грузин? — Получив утвердительный ответ, продолжил. — Значит, мои мысли и там находят отклик. Это меня радует... Вы знакомы с Накашидзе?

— Знаком, но не близко, — сказал я.

— Когда вернетесь в Грузию, повидайте его и постарайтесь сблизиться. Он очень хороший человек.

Идущие через двор мужчины, одним из которых оказался пианист Гольденвейзер, подошли к веранде. Я встал и откланялся.

2

Лев Толстой прожил еще полтора года. Необычайной была смерть этого гиганта.

Еще в 80-е годы дало о себе знать непонимание, возникшее между Толстым и его семьей. Со временем это непонимание только нарастало. Дошло до того, что 28-го октября 1910 года Лев Толстой решил навсегда уйти из семьи и оставить Ясную Поляну. Уходя, он написал жене Софье Андреевне: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни» (84, 404).

Из Ясной Поляны этот глубокий старик взял с собой, как уже было сказано, единственного дорогого ему человека — Д. П. Маковицкого. Тем, кто знал Льва Толстого, всю жизнь стремившегося к самоограничению, а в последние годы в особенности старавшегося никого не обременять заботами о себе, совершенно очевидно, что он взял Маковицкого исключительно, чтобы успокоить домашних.

Куда направлялся Толстой со своим спутником? Маршрут окончательно определялся в поезде. Было решено добираться до Новочеркасска, а оттуда на Кавказ. Или же, задержавшись в Новочеркасске, выхлопотать паспорта и ехать в Болгарию.

В дороге, как известно, Лев Толстой заболел. 2-го ноября, в 7 часов вечера он сошел на станции Астапово, где начальник станции И. Озолин предоставил ему свой дом. В тот же день выяснилось, что у Толстого двустороннее воспаление легких; к вечеру температура поднялась под 39°. С каждым часом положение осложнялось, болезнь стремительно прогрессировала.

Весть об уходе Толстого и его болезни с моментальной быстротой облетела весь мир. Все с замиранием сердца следили за происходящим на станции Астапово, где великий писатель и страстотерпец, заступник обездоленных боролся со смертью.

4-го ноября он говорит Черткову и старшему сыну Сергею: «Кажется, умираю. Может быть... Я постараюсь...» Состояние его ухудшалось.

6-го ноября, почувствовав приближение смерти, Толстой сказал: «Вот и конец. И ничего...» Затем добавил: «На свете много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва». К вечеру он опять очнулся: «Кажется, кончина близка... Уйти, чтобы никто не мешал. Оставьте меня... Бежать, надо бежать...»

7-го ноября он был без сознания. В этот же день, в 5 часов 45 минут Лев Толстой скончался.

Что творилось на маленькой станции Астапово, какая там царила обстановка, видно из воспоминаний сына писателя — С. Л. Толстого: «В узкой станционной комнате вокруг большого стола постоянно толпились десятки людей, корреспонденты различных газет. Они пили водку, громко переговаривались и расспрашивали нас. Там же находились жандармы и „шпики“. По перрону прохаживался отец Варсонофий — настоятель Оптиного монастыря, прибывший с тайным поручением — попытаться исповедать и причастить Толстого.казалось, он ждал, когда его призовут»¹.

Москва особенно остро переживала эти горестные дни. Все были в смятении, только и говорили, что о Толстом; его имя не сходило с уст, взволнованно обменивались новостями, выискивая в них что-нибудь обнадеживающее.

8-го ноября утром я пришел в университет. В богословской аудитории — самой большой в университете — увидел будущего писателя и критика Али Арсенишвили. Закрыв лицо платком, он горько пла-

кал. При виде меня воскликнул: «Толстой умер», — и зарыдал еще горше. Аудитория была переполнена. На кафедре стоял известный профессор Г. Челпанов и говорил о роли и значении Льва Толстого.

Множество народа собиралось ехать на похороны. Группа писателей во главе с Сумбаташвили (Южиным) отправилась в Ясную Поляну на автомобиле.

Курский вокзал был переполнен. За порядком следил сам помощник московского градоначальника полковник Модль. Говорили, что руководство железной дороги выделит дополнительный поезд и билеты будут, но слухи не оправдались, и даже обычный поезд, регулярно отходивший от Курского вокзала в направлении Тулы, отправился полупустой.

Не достав билет, я сумел на ходу запрыгнуть в вагон и поехал зайцем. Как выяснилось позже, так же ехали братья Григол и Владимир Джапаридзе. В поезде все говорили о распоряжении министра внутренних дел Столыпина, запрещавшего поездку в Ясную Поляну.

9-го ноября рано утром наш поезд подошел к платформе Засека (ныне Ясная Поляна). Там я увидел нескольких студентов-грузин: Али Арсенишвили, Лазаре Шургаи, братьев Гришу и Ладو Джапаридзе. Часов в восемь во встречном направлении к платформе подошел поезд, в багажном вагоне которого на возвышении, обтянутом черным крепом, стоял гроб с телом Толстого. Вагон был украшен прибитыми крест-накрест еловыми ветками и завален многочисленными венками.

Вокруг платформы толпился народ, примерно до полутора тысяч человек. Среди них особенно много было студентов и местных крестьян.

Как только открылись двери вагона, все сняли шапки и запели «Вечную память». Гроб вынесли четверо сыновей Льва Толстого — Сергей, Илья, Андрей и Михаил. Процессия двинулась в сторону Ясной Поляны. Впереди шли крестьяне, несли растянутый на древках белый транспарант с надписью: «Лев Николаевич, Память о Твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». Братья Гриша и Ладو Джапаридзе помогали крестьянам нести транспарант, часто сменяя их. За ними несли гроб и ехали дроги с венками. Каждый старался подменить несущих гроб, помочь. По обе стороны дороги и позади люди шли пореже. Замыкала процессию конная полиция — стражники.

Так дошли до Ясной Поляны, где гроб установили в доме, в большой комнате. С 11-ти часов началось прощание. Люди заходили в одни двери, медленно шли мимо и выходили через другие (некоторые возвращались по несколько раз). Прощание длилось до 3-х часов.

Примерно в три часа стали готовиться к выносу тела. Как и на платформе Засака, из дома гроб вынесли четверо сыновей Толстого. Когда показался гроб, все встали на колени. Затем процессия с пением «Вечной памяти» медленно двинулась в сторону леса. (От дома до могилы расстояние около километра.)

Смеркалось, когда подошли к могиле. Ее вырыли на том самом месте, которое полтора года назад показал мне доктор Маковицкий. Когда гроб опускали в могилу, все, стоя на коленях, пели «Вечную память». Поодаль, спешившись со своих коней, стояли стражники и наблюдали эту картину. Раздались возгласы: «Полиция, на колени!» Одни из них опустились на колени, другие топтались в растерянности. Возгласы раздались громче и дружнее, пока вся полиция не встала на колени. Тогда народ смолк и под пение «Вечной памяти» гроб опустили в землю.

Тишину, наступившую после того, как смолкло пение и стук мерзлых комьев земли, нарушил друг Льва Толстого — Сулержицкий: «Великий Лев умер. Да будет легка ему родная земля!» Это были единственные слова, прозвучавшие над могилой. Как говорили в толпе, семья Толстого попросила не произносить речей. Их просьбу выполнили.

Таким образом, похороны Льва Толстого стали первыми гражданскими, без церковного обряда, похоронами в России. Это было сделано в соответствии с завещанием Льва Николаевича Толстого.

Так мы предали земле дорогого, любимого человека.

Наступила темная, холодная, осенняя ночь. С тяжелым чувством сиротства мы разъехались по домам.

¹ Толстой С. Л. Очерки былого. С. 272.

В. Н. Абросимова, Г. В. Краснов

МЛАДШАЯ ДОЧЬ Л. Н. ТОЛСТОГО И ЕГО ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТАРЬ

Из переписки А. Л. Толстой
и В. Ф. Булгакова

Представлять героев нашей публикации, вероятно, нет никакой необходимости, а вот дополнить представление о них на основании архивных документов всегда имеет смысл. Об Александре Львовне Толстой (1884—1979) один из ее племянников писал так: «...У этой женщины в ее долгой жизни было две любви. Первая — это отец, заветы которого о справедливости, истине и любви она воплотила в жизнь. Россия и ее народ были второй ее любовью. Она жила надеждой на то, что Россия сможет освободиться от ига коммунизма, и тогда она вновь обретет свои духовные ценности...»¹

С Валентином Федоровичем Булгаковым (1886—1966) у А. Л. Толстой отношения складывались совсем непросто. Она и ревновала к нему отца, и не всегда понимала позицию молодого человека, принципиально не желавшего вступать в семейный конфликт и открыто принять чью-то одну сторону. Характерна запись в дневнике В. Ф. Булгакова от 4 марта 1910 года: «...Приготовил Льву Николаевичу книжку „Суеверие государства“². В работе мне помогала уже почти выздоровевшая³ Александра Львовна: размечала „безответные“ письма, завязывала посылки, собирала книги и т. д. Хотя червячок ревности (растягивающийся иногда и в червячище) все еще копошится в ее душе, но все же, узнав меня поближе, она, кажется, убедилась, что не настолько уж я опасное для нее чудовище, и стала ко мне более снисходительна. В ревности своей она уже признавалась мне самому, а разве это не прямой признак, что ревность ослабела?»

Ненавижу Гуську⁴,
Не люблю Булгашку! —

напеваает она иногда, сидя за пишущей машинкой, в то время как „обер-секретарь“ (как она меня называет) восседает, разбирая важные бумаги и корректуры, за письменным столом. „Обер-секретарю“ остается, конечно, только посмеиваться...»⁵

Однако болезнь Александры Львовны приняла затяжной характер. 10 апреля 1910 года В. Ф. Булгаков записал в дневнике:



А. Н. Толстой с дочерью А. Л. Толстой.

Мещерское, 12–23 июля 1910 г.

Фотография В. Г. Черткова

«...В Ясной сегодня большое горе. У Александры Львовны открылся — правда, только-только открылся — туберкулез легких. Через два дня она едет вместе с В. Ф. Феокрытовой⁶ в Крым...»⁷

С этого момента и началась переписка А. Л. Толстой с В. Ф. Булгаковым. Первые письма носили сугубо деловой характер. Сначала из Ялты, где А. Л. Толстая пробыла до конца мая 1910 года, а потом из имения Сухотиных в Кочетах, куда А. Н. Толстой с женой и младшей дочерью уехал 16 августа 1910 года, отправлялись в Ясную Поляну и Телятинки конкретные поручения, просьбы, наставления. По мере того как сгущалась драматическая атмосфера вокруг Толстого, письма Александры Львовны из Кочетов становились более открытыми. В них преобладала доверительная интонация, позволяющая говорить о том, что своей деликатностью, исполнительностью и уважительным отношением ко всем участникам трагических событий В. Ф. Булгаков устранил тот холодок недоверия и ревности, который он явственно ощущал со стороны А. Л. Толстой в первые месяцы своего пребывания в доме Толстого.

После смерти писателя В. Ф. Булгаков ненадолго уехал в Томск, где решался вопрос о его отказе от воинской службы⁸. Он очень бо-

лезненно переживал случившееся, считал, что публичное обсуждение завещания Толстого не делает чести ни членам семьи Толстого, ни Владимиру Григорьевичу Черткову (1854–1936), с которым его связывали крепкие дружеские узы. Нет, он совсем не походил на Молчалина: открыто, деликатно и бескомпромиссно выражал свою точку зрения, независимо от того, нравилась она корреспонденту или нет. Вероятно, именно поэтому на время прервалось общение В. Ф. Булгакова с А. Л. Толстой осенью 1912 года.

Оно восстановилось само собой в разгар Первой мировой войны, убежденным противником которой был В. Ф. Булгаков. Уже 5 сентября 1914 года он закончил статью «О войне»⁹, а 28 сентября 1914 года — воззвание «Опомнитесь, люди-братья!». Месяц спустя, 28 октября 1914 года, В. Ф. Булгаков был арестован в Ясной Поляне, несмотря на активный протест С. А. Толстой¹⁰. Однако открытое судебное разбирательство дела «толстовцев»-непротивленцев 21–23 марта 1916 года в Москве привело к тому, что власти были *вынуждены* оправдать В. Ф. Булгакова и других, доказавших свое право *не участвовать* в тех событиях, которые не согласуются с их совестью и убеждениями¹¹. В условиях войны это был поступок, который дорогого стоил.

В конце ноября 1916 года В. Ф. Булгаков приехал в санитарный отряд А. Л. Толстой¹², где вскоре был назначен заведующим хозяйством базы. Первые его шаги на этом поприще приятно удивили А. Л. Толстую. 10 декабря 1916 года она писала Т. Л. Сухотиной-Толстой: «...Булгаков меня поражает. Как умный человек, он сразу приспособился... Вникает во все хозяйственные дела, тверд, сумел себя поставить среди команды и даже покрикивает и штрафует... А для меня этот человек близкий, с которым я вспоминаю и говорю об отце, о Ясной. До сих пор в отряде я об этом никогда не говорила. Здесь я не дочь своего отца, а уполномоченный Главного Комитета — и все, что было дорого и близко, жило где-то глубоко в душе...»¹³

Их разговор о Толстом, о судьбе его рукописей, о распространении его взглядов в других странах мира возобновится после высылки В. Ф. Булгакова из России в марте 1923 года¹⁴ и оборвется лишь с началом Второй мировой войны, но это тема отдельного разговора.

В настоящую публикацию мы включили первые восемь писем А. Л. Толстой 1910–1912 годов и сохранившиеся ответы В. Ф. Булгакова. Все документы хранятся в личном архиве В. Ф. Булгакова в Российском государственном архиве литературы и искусства (в дальнейшем — РГАЛИ) и публикуются с согласия дочери В. Ф. Булгакова Татьяны Валентиновны Романюк, которую мы благодарим за помощь в подготовке писем к печати.

А. Л. Толстая — В. Ф. Булгакову

I

Ялта, 29 апр[еля] 1910

Спасибо, Валентин Федорович, за ваши письма¹⁵. Я уже писала папá¹⁶, что вы можете мне сообщать самое интересное: что папá пишет, какие письма, что вы делаете и т. п. Теперь у меня к вам еще просьба... (о том, чтобы получить на станции посылку). Сейчас 9 ч[асов] вечера. Варя* лежит, п[отому] ч[то] у нее болит нога, она слишком много ходила по горам, а я пишу вам и грущу о доме и, главное, о канцелярии¹⁷. Ну, до свидания. Пишите, пожалуйста.

А. Толстая

РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 1114. Л. 1. Машинописная копия с примечаниями В. Ф. Булгакова.

II

Кочеты, 20 августа 1910

Валентин Федорович, обращаюсь к вам с просьбой послать книги по указанным адресам...¹⁸ Как ваше здоровье? Было беспокойно за вас, напишите, как теперь¹⁹.

У нас опять не очень хорошо. С[офья] А[ндреевна] сильно возбуждена, но тут ее держат рамки чужой жизни, чужих привычек²⁰. Л[ев] Н[иколаевич] нынче опять переделал Предисл[овие]**. ...²²

Всего вам лучшего.

А. Т[олстая]

Там же.

III

Кочеты, 23 августа 1910

Валентин Федорович,

Пожалуйста, пошлите эти книжечки по указанным адресам²³. Как вы поживаете? Что все Чертковы? Уехала ли бабушка***? Бываете ли вы в Ясной?

Нам, насколько это возможно, хорошо. Все-таки здесь легче, чем в Ясной²⁵.

Всего лучшего.

А. Т[олстая]

Там же. Л. 1—2.

* В. М. Феофанова. Здесь и далее подстрочные примеч. В. Ф. Булгакова.

** Предисловие к книге «Путь жизни»²¹.

*** Ел[изавета]. Ив[ановна] Черткова, мать В[ладимира] Г[ригорьевича]²⁴.

IV

Кочеты, 28 авг[уста] 1910

Посылаю вам этот лист*, хотя и еду сама в Ясную 30-го²⁶. ...Отец, слава Богу, здоров и бодр. Гостей никого нет²⁷. До свиданья!

А. Т[олстая]

Там же. Л. 2.

V

Кочеты, 17 сентября 1910

Здравствуйте, Валентин Федорович,

Посылаю вам пропасть дела, не браните меня. Во-первых — листок с адресами для посылки книг, во-вторых, заказы, присланные из Обновл[ения]**, — куча посылок, тоже надо исполнить, в-третьих, письмо, [на] кот[орое] вы должны ответить***, и четвертое — сопроводительный адрес, который надо переслать на Засеку²⁹.

О нас что же вам сообщить? Живем тихо, мирно, а как подумаешь о том, что ожидает нас, и сердце защежит. Но теперь, за это время, есть перемена, и перемена, по-моему, очень важная, в самом Л[ьве] Н[иколаевиче]³⁰. Он почувствовал и сам, и, отчасти, под влиянием писем добрых друзей, что нельзя дальше, в ущерб своей совести и делу, подставлять спину и этим самым, как ни странно это сказать, не умиротворять и вызывать любовные чувства, как бы это и должно бы быть, а, наоборот, разжигать, усиливать ненависть и злые дела. И пока отец стоит твердо на намерении не уступать и вести свою линию, дай Бог ему силы так продолжать. Это единственное средство установления возможной жизни между отцом и матерью.

Вчера отец писал не совсем верно Ч[ерткову] о том, что мне хочется домой³¹. Мне хочется, чтобы отец не уступал матери, а делал по-своему и как лучше. Перед отъездом матери Л[ев] Н[иколаевич] сказал С[офье] А[ндреевне]: когда ты хочешь, чтобы я приехал? Она сказала: завтра. — Нет, это невозможно. — Ну, к 17 сентября. — И это рано. — Ну, так, когда хочешь. И отец сказал: я приеду к 23-му. Так, если мы не выедем 23-го, будет скандал, пойдут упреки и всякая штука, и отец может не выдержать³². Понимаете, ему лучше

* С адресами для рассылки книг по поручению Л[ьва] Н[иколаевича].

** Из изд[ательства] «Обновление»²⁸.

*** По поручению Л[ьва] Н[иколаевича].

сделать *самому*, чем быть вызванным *по его воле*. Вот почему я хочу ехать. Объясните это Вл[адимиру] Гр[игорьевичу].

Вот и все. Всего лучшего.

А. Т[олстая]³³

Там же. Л. 2—3.

VI

Кочеты, 19 сент[ября] 1910

Посылаю вам последний заказ*, Валентин Федорович. Эти два письма Л[ев] Н[иколаевич] оставил без ответа. Пивоварову³⁴ не ответил, боясь смутить его, и Гиляку³⁵ — не знаю почему. По-моему, оба эти письма требуют ответа. Посылаю их на ваше усмотрение³⁶.

Л[ьву] Н[иколаевичу] вчера была радость:

1) Письмо от Николаева, сын кот[орого] собирается отказываться³⁷;

2) книга Купчинского против войны³⁸;

3) ваше письмо и намерение с Булыгиным отказываться³⁹;

4) воспоминания Кудрина⁴⁰. И все это с одной почтой! По письмам видишь, как сознание это все растет в людях в разных глухих концах России. Вчера утром жалела вас и Булыгина, а прочтя воспоминания Кудрина, перестала вас жалеть. Вспомнила первых христиан, и хотя вам и предстоят страдания телесные и мучения, зато как велика радость участия в этом великом деле.

Ну, прощайте. Всего лучшего. До свидания, вернее, я думаю, что это письмо, если нас ничто не задержит, придет вместе с нами.

А. Т[олстая]⁴¹

Там же. Л. 3—4.

VII

Телятинки, 15 марта 1911⁴²

Дорогой Валентин Федорович,

Желая сделать все, от меня зависящее, для того, чтобы достигнуть разрешения печального семейного спора о бумагах моего отца, не прибегая к таким мерам, которые мне очень претят, я обращаюсь к Вам с просьбой оказать мне Ваше посильное содействие в этой задаче.

Для моей цели очень важно собрать как можно больше подтверждений того, что отец мой никогда не дарил матери моей тех рукописей, которые она помещала в Московский Исторический музей для хранения⁴³. Если только удастся достаточно убедительно установить

* На высылку книг по указанным адресам.

этот факт, то большинство влиятельных, в глазах моей матери, лиц будут, разумеется, на стороне точного исполнения завещания моего отца, ибо единственный довод, выставляемый моей матерью против этого, заключается в ее утверждении, будто бумаги эти были ей подарены, и потому, составляя ее личную собственность, должны быть исключены из тех рукописей, о которых упоминается в завещании⁴⁴.

В виде образца, посылаю Вам два письма в желательном направлении, которыми мне уже удалось заручиться⁴⁵. Нет надобности, чтобы Вы писали так подробно, если не располагаете для того достаточными сведениями. Довольно было бы одного того, чтобы Вы просто, в виде частного ответного письма ко мне, заявили, что действительно слышали, как моя мать говорила, при жизни моего отца, что она не считает увозимых ею в Музей бумаг своей личной собственностью, но что помещает их там для большей сохранности. Так как она не уставала говорить и повторять это всем и каждому, то и я подумала, что очень вероятно, что и Вы также, в числе других, слышали от нее что-либо подобное.

Исполнив мою просьбу, Вы не только окажете мне существенную поддержку в моем трудном положении, но и окажете истинную услугу и моему отцу, содействуя, хотя бы в малой доле, осуществлению его посмертной воли. И я думаю, что Вы будете согласны со мной в том, что, если смело и откровенно высказать правду в интересах правого дела, то от этого может выйти одно только хорошее⁴⁶.

Всего лучшего. Пишите и нам о себе, мы все помним и любим Вас.

Александра Толстая

Там же. Л. 4—5. Как следует из примечания В. Ф. Булгакова, письмо А. Л. Толстой было отпечатано на ремингтоне. Две заключительные фразы и подпись — автограф. — Там же. Л. 5.

VIII

В. Ф. Булгаков — А. Л. Толстой

Томск, 15 марта 1911

Глубокоуважаемая и дорогая Александра Львовна,

Я очень рад исполнить Вашу просьбу. По поводу рукописей Л[ьва] Н[иколаевича], хранящихся в М[осковском] Историческом Музее, мне приходилось слышать от С[офьи] А[ндреевны] следующее.

В декабре прошлого года С[офья] А[ндреевна] говорила мне, в Вашем доме в Ясной Поляне⁴⁷.

Сейчас я больна и не могу ехать в Москву. Но 10-го января я вместе с Сашей (т. е. с Вами) поеду и все ей отдам, все рукописи. На что мне они? Раз они ей принадлежат по завещанию, пусть она делает с ними, что хочет.

Я помню, как еще раньше С[офья] А[ндреевна] неоднократно высказывала мнение, что рукописи Л[ьва] Н[иколаевича], как и все вообще рукописи выдающихся людей, не могут быть принадлежностью частных лиц, а должны составлять общественное достояние. Тогда я высказывал С[офье] А[ндреевне] свое полное согласие с этой мыслью.

Однажды я передал С[офье] А[ндреевне] для присоединения к хранящимся в И[сторическом] М[узее] матерьялам, касающимся Л[ьва] Н[иколаевича], принадлежавшую мне небольшую коллекцию посвященных 80-летию юбилею Л[ьва] Н[иколаевича] №№ русских газет и журналов. И С[офья] А[ндреевна] говорила по этому поводу:

Ведь вот думают, что я для себя все это собираю. Вовсе нет. Зачем мне это, шестидесятилетней старухе? Я сама скоро умру. Я для музея это собираю, для всех.

Ясно, что С[офья] А[ндреевна] не считала все содержимое «комнаты А. Н. Толстого» в И[сторическом] М[узее] своей собственностью.

И, напротив, я никогда не слышал, в течение своего пребывания в Ясной Поляне, ни от С[офьи] А[ндреевны], ни от Л[ьва] Н[иколаевича] или от кого-нибудь другого, что рукописи, хранящиеся в И[сторическом] М[узее], были подарены Л[ьво]м Н[иколаевичем] С[офье] А[ндреевне]. Услышать потом о таком утверждении было для меня совершенной неожиданностью.

Добавлю еще, что я очень люблю и уважаю С[офью] А[ндреевну]⁴⁸, но на ее теперешнюю позицию, занятую по отношению ко всему делу выполнения последней воли Л[ьва] Н[иколаевича], не могу смотреть иначе, как на следствие какого-то рокового, печального недоразумения. Если поведение С[офьи] и А[ндреевны], что весьма вероятно, стоит в связи с ее общим нервным расстройством, вызванным смертью Л[ьва] Н[иколаевича] и всеми семейными событиями, как предшествовавшими этой смерти, так и имевшими место после нее, — то я буду очень рад узнать, если душевное равновесие С[офьи] А[ндреевны] восстановится, и она сделает те самые естественные, верные шаги, содействующие осуществлению посмертной воли Л[ьва] Н[иколаевича], которых в праве ждать от нее все русское общество.

Душевно преданный Вам

Вал. Булгаков

Там же. Л. 6—7.

IX

А. Л. Толстая — В. Ф. Булгакову

Телятинки, 14 янв[аря] 1912

Дорогой Валентин Федорович,

Ввиду того, что София Андреевна, по имеющимся у нас сведениям, отказалась от третейского суда по вопросу о спорных рукописях Льва Николаевича, находящихся в Историческом Музее, мне остается только передать этот вопрос на суд общественного мнения⁴⁹. С этой целью я намерена в ближайшем будущем опубликовать имеющиеся у меня данные для правильного и беспристрастного решения этого вопроса. Задачей моей является то, чтобы оградить дорогие для всех нас рукописи моего отца, — главное, его дневники и переписку с друзьями — от возможности искажений и произвольных сокращений, каким они могут подвергнуться, если будут предоставлены в распоряжение Софии Андреевны, и возможно скорее выпустить их в свет в самой точной и тщательной редакции. Полагая, что Вы не откажетесь содействовать разрешению этого вопроса в интересах всей мыслящей части человечества, обращаюсь к Вам с просьбой разрешить мне напечатать Ваше письмо ко мне в ответ на мой запрос о том, что Вы знаете о рукописях Л[ьва] Н[иколаевича], хранящихся в Ист[орическом] Муз[ее]. Исполнением моей просьбы не только очень обяжете меня лично, но поможете скорейшему появлению в свет тех произведений Л[ьва] Н[иколаевича], обнародование которых задерживается исключительно тем обстоятельством, что воля моего отца относительно всех его писаний вообще до сих пор не исполнена теми, кто заявляет притязание на обладание рукописями, находящимися в Ист[орическом] Музее*.

Очень надеюсь, что Вы ответите мне утвердительно: Гусев, Хирьяков⁵⁰, Варя, Душан⁵¹ и Ольга Конст[антиновна]⁵² дали мне уже свое согласие на напечатание их писем⁵³.

Всего Вам хорошего.

Александра Толстая

Там же. Л. 7—8.

* Конец циркулярной части письма, написанной на ремингтоне.

X

Москва, 22 декабря 1912

Ах, Булгаша, Булгаша,

Как Вы могли присутствовать при этой мерзости, святотатстве, надругательстве над памятью и телом Льва Николаевича?^{*}

Объясняю себе это только Вашей молодостью и, простите меня, легкомыслием. Пишу Вам это только потому, что от Вас ведь ждешь большего, чем от Жули^{**} и других.

Эх, зря Вы поселились в этом гнезде^{***}.

Ну, простите меня. Мне ужасно больно от того, что произошло, потому пишу.

А. Толстая

Там же, Л. 9.

¹ Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 246.

² «Суеверие государства» вошло в состав книги Л. Н. Толстого «Путь жизни» (45, 255–276).

³ В начале февраля 1910 года А. Л. Толстая заболела корью, как первоначально решили доктора (См.: 81, 101). Однако болезнь прогрессировала. 9 апреля 1910 г. С. А. Толстая записала в ежедневнике: «Беспокойство о Саше. Она очень кашляет...» — См.: ДСТ. Т. 2. С. 313. См. также: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1989. С. 67.

⁴ Так А. Л. Толстая называла Николая Николаевича Гусева (1882–1967), бывшего секретарем Л. Н. Толстого в 1907–1909 гг.

⁵ Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 107–108.

⁶ Варвара Михайловна Феокритова (1875–1950) — переписчица у Толстых, с которой подружилась А. Л. Толстая.

⁷ Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 141–142.

⁸ См. об этом в нашей статье: Абросимова В. Н., Краснов Г. В. Последний секретарь Л. Н. Толстого (по материалам архива В. Ф. Булгакова) // Известия Академии наук. Серия ОЛЯ. 2002. Т. 61. № 3. С. 49–51.

⁹ Статья впервые была напечатана после Февральской революции. См.: Булгаков Вал. О войне // Жизнь для всех. Пг., май 1917 года, № 4.

^{*} Разумеется присутствие мое на православной службе, совершенной оставшимся обществу неизвестным священником на могиле Л. Н. Толстого в Ясной Поляне⁵⁴.

^{**} Ю. И. Игумновой, также присутствовавшей на панихиде⁵⁵.

^{***} В доме С. А. Толстой⁵⁶.

Стб. 507–522. См. также: *ДСТ*. Т. 2. С. 415; Булгаков Вал. Опомнитесь, люди-братья!: История воззвания единомышленников Л. Н. Толстого против мировой войны 1914–1918 гг. М.: Задруга, 1922. Т. 1. С. 20–23, 34–37. (Два других тома в печать не вышли.)

¹⁰ Толстая С. Из Ясной Поляны. Письмо в редакцию // *Русские ведомости*. М., 2 ноября 1914 года, № 253. С. 5. См. также: *ДСТ*. Т. 2. С. 415–417.

¹¹ Позднее, 5 октября 1925 года, в черновом наброске письма одному из своих швейцарских корреспондентов В. Ф. Булгаков оценил суд над «толстовцами»-непротивленцами так: «Это был незабываемый и единственный в своем роде процесс в России...» — *РГАЛИ*. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 27 об. Черновой автограф. См. также: Булгаков Вал. Опомнитесь, люди-братья!.. Т. 1. С. 226–228; Сухотина-Толстая Т. Л. *Дневник*. М., 1979. С. 480–484.

¹² Сохранилось письмо В. Ф. Булгакова к А. Л. Толстой от 1 декабря 1916 года, в котором он делится первыми впечатлениями от работы на новом месте: «Начальство наше и дела идут, в общем, вполне удовлетворительно. Непосредственное мое начальство, кажется, довольно мной. А я им — тоже. — Все ваши вклады вновь описаны. С 1-го декабря заводим идеальную (так собираемся) отчетность: начинаем вести так называемый журнал и ряд др[угих] книг. <...> Завтра я командируюсь в Полочаны — для осмотра складов Зем[ского] Союза, — глав[ным] образом, технического. <...> Искренно преданный Вам Вал[ентин] Булгаков». — *ОР ГМТ*. Архив А. Л. Толстой. П. 11, № 387. Л. 1 об. Автограф.

¹³ Цит. по кн.: Хечин Ю. Крутые дороги Александры Толстой. М., 1995. С. 164.

¹⁴ О высылке В. Ф. Булгакова и о ее причинах см. подробнее в нашей публикации: Абросимова В. Н., Краснов Г. В. Последний секретарь Л. Н. Толстого... // *Известия Академии наук. Серия ОЛЯ*. М., 2002. Т. 61, № 3. С. 55–57. К сожалению, весьма распространена иная точка зрения, согласно которой в первые же годы большевистского режима Булгаков был вынужден эмигрировать в Швейцарию. — См.: Хечин Ю. Крутые дороги Александры Толстой... С. 164.

¹⁵ Письма В. Ф. Булгакова А. Л. Толстой от 16 и 24 апреля 1910 года опубликованы в кн.: Александра Толстая: Каталог выставки. Тула, 2000. С. 15–16.

¹⁶ В течение всего времени вынужденной разлуки отец и дочь ежедневно обменивались письмами. См.: Толстая А. Л. *Дочь*. М., 2000. С. 148–149. В сохранившихся 19-ти письмах А. Л. Толстой из Ялты есть лишь одно упоминание о Булгакове (21 апреля 1910 года): «Рада, что Булгаков приятен тебе. У меня нет и тени прежней ревности к нему из-за твоей работы, а благодарность и радость тому, что у тебя такой хороший помощник...» — *ОР ГМТ*. Архив А. Л. Толстой, КП–19393/2, № 68511. Л. 2. Автограф.

¹⁷ Пребывание в Ялте А. Л. Толстая использовала не только на поправку здоровья, но и для обучения стенографии. Так, 10 мая 1910 года она писала

отцу: «Стенографически уже пишу 60 слов в минуту и очень этим счастлива. Приеду — будешь мне диктовать письма...» — Там же. КП-19393/12, № 68521. Л. 1. Автограф.

¹⁸ Пропуск в машинописи. В дневнике В. Ф. Булгаков 24 августа 1910 года отметил: «По письменному поручению Александры Львовны из Кочетов был в Ясной, собрал и отправил по присланному ею списку книги. Лев Николаевич прислал одно письмо для ответа. Кажется, он останется в Кочетах на довольно долгое время...» — См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 320.

¹⁹ Накануне отъезда Толстых из Ясной Поляны В. Ф. Булгаков заболел. См. его запись в дневнике от 15 августа 1910 года: «...Я неожиданно заболел ревматической лихорадкой (простудившись вечером в поле, где мне вздумалось полежать на сыром жнивье) и остаюсь в Телятинках...» — Там же. С. 319–320.

²⁰ Этот фрагмент В. Ф. Булгаков переписал в свой дневник. См.: Там же. С. 320. О том, что происходило в Кочетах, см. дневниковые записи М. С. Сухотина: Абрисимова В. Н. Уход Л. Н. Толстого: По дневниковым записям М. С. Сухотина 1910 г. и в переписке Т. Л. Сухотиной-Толстой с С. Л. Толстым 1930-х годов // Известия Академии наук. Серия ОЛЯ. М., 1996. Т. 55, № 2. С. 64–66.

²¹ Предисловие к сборнику «Путь жизни» Л. Н. Толстой многократно переделывал. Сохранилось около ста вариантов. См.: 45, 19; 524–526. См. также: Булгаков Вал. Толстой-моралист. Прага: Пламя, 1923. С. 79–88.

²² Пропуск в машинописи.

²³ В дневнике В. Ф. Булгаков 25 августа 1910 года отметил: «...При письме — снова список книг, которые нужно по приложенным адресам выслать, и, кроме того, три письма для ответа от Льва Николаевича. Его надписи на письмах: 1) «Не читай этого письма, я отвечу, пошли В. Ф.» (надпись по адресу Александры Львовны, письмо о половом пороке), 2) «Напиши, что не совсем здоров и переслать письмо Булгакову» (тоже по адресу Александры Львовны), 3) «Б. о, В. Ф.?» (то есть: «Без ответа, Валентин Федорович?») — См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 320.

Приближался день рождения Л. Н. Толстого, и В. Ф. Булгаков адресовал ему обстоятельное деловое и поздравительное письмо.

«Телятинки, 26 авг[уста 19]10

Лев Николаевич!

На одном из писем, присланных мне по Вашему поручению Александрой Львовной для ответа, стояла Ваша подпись: „Не читай этого письма, я отвечу, пошли В[алентину] Ф[едоровичу]“. Может быть, Вы сообщите мне через Александру Львовну, нужно ли мне отвечать на это письмо или только сохранить его до Вашего приезда? Письмо — от мальчика, страдающего половым пороком.

Посылаю Вам для просмотра мой ответ на письмо Пилецкого (Анания). Если ответ можно послать, то на этот случай я надписал на письме адрес Пилецкого.

Было еще письмо от Дикого, с возражениями против учения о самоотрече-

нии, с Вашей пометкой на конверте: „Б[ез] о[твета], В[алентин] Ф[едорович]?“ На письмо это, я думаю, едва ли нужно отвечать. Пока, по крайней мере, я не ответил: ничего не придумаю такого, что могло бы быть нужно Дикому. Кажется, что он как раз из тех глухих, которые не хотят слышать. Самые простые нравственные истины ему совсем непонятны и способны подвинуть его только на ряд странных казуистических вопросов и длинных, несладких возражений. К тому же он — из окончивших университет, естествовед. Спорить с ним трудно. У меня, по крайней мере, сердце не лежит.

Посылаю еще, по поручению Анны К[онстантинов]ны, три письма, которые она предлагает Вашему вниманию и просит затем, по прочтении, возвратить ей. Письма эти помечены номерами:

1) от отказавшегося Платонова, о котором, может быть, Вы сочтете возможным написать губернатору в Ярославль, чтобы его освободили от угрожающей его здоровью работы;

2) от Салиенко, приятное письмо, и 3) такое же, от него же.

Вот и все — деловое, — что побудило меня обратиться к Вам.

Я теперь почти выздоровел, болят только немного ноги (ревматизм). Жизнь в Телятинках идет своим порядком: потихоньку, в работе и во взаимном дружеском общении всех обитателей. Все мы рады за Вас и за Александру Львовну, что Вам хорошо в Кочетах и что Вы можете отдохнуть там. Послезавтра день Вашего рождения, будем все вспоминать Вас с любовью. Невольно думается, скольким все мы обязаны Вам! Обязаны возможностью осмысленного и радостного существования. И как много, много еще людей вне наших Телятинков, обязанных Вам тем же самым. Удивительно то, как та огромная работа мысли, которую Вы сделали для себя, оказалась такой плодотворной, так необходимой для других людей. Как это изумительно ярко, наглядно показывает общность духовной природы всех людей! Сознание же этой общности снова толкает нас всех друг к другу, к соединению между собой любовью.

Любящий Вас Вал. Булгаков». — *ОР ГМТ. БАН. М. п. 13-а. № 44989-а. Л. 1—2 об. Автограф.*

26 августа 1910 года *Ананий Пилецкий* из Конотопа прислал письмо о смысле жизни. Помета Л. Н. Толстого: «Написать, что не совсем здоров, и переслать письмо Булгакову» (82, 263).

О другом корреспонденте Л. Н. Толстого, Григории Петровиче Диком из Воронежской губернии, сведений совсем немного. Ранее он уже укорял Толстого за его учение непротивления злу.

«Глубокочитимый Лев Николаевич!

Я уважаю и почитаю Вас больше всех писателей земли Русской и люблю Вас за мысли Ваши и красоту Вашего слога, но с грустию читал то, что написано Вами по поводу „непротивления злу“, и никак этого учения Вашего не могу уразуметь, и думается мне, оно не согласно даже с самой Вашей жизнью, как учителя нравственности и последования Вашего духу Христову учения: ведь Вы христианин, и я полагал Вас даже лучшим христианином по существу Ваших слов, и вдруг „непротивление злу“!..» — *ОР ГМТ. БАН. № 47170. Л. 1. Автограф. Датируется условно на основании почтового штампа отправителя не позднее 6 августа 1910 года на конверте заказного письма. — Там же. Л. 3—3 об.*

Передавая письмо Г. П. Дикого своему секретарю, А. Н. Толстой продиктовал свою точку зрения: «В[алентину] Ф[едоровичу] ответ: указать на непротивле[ни]е насил[и]ем и вообще на значение непротивления». Поручение Толстого было выполнено. Помета В. Ф. Булгакова на конверте: «Дикий. Воронежская г[уберния]. О непротивлении. Отв[етил] и посл[ал] ки[и]ги 10 авг[уста] 1910 г. Бул[аков]». — Там же. Л. 3 об. См. также: 82, 259.

Однако ни сочинения Толстого, ни комментарий В. Ф. Булгакова не убедили корреспондента, о чем свидетельствует второе письмо Г. П. Дикого.

«17/VIII—10.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Примите душевную благодарность за полученную мною от Вас брошюру „Христианское учение“ и за ответ на мое письмо. <...>

Хочется сказать Вам в ответ, что я все же не удовлетворен Вашим ответом, а главное, названием „непротивление злу“ учения о долге человека „воздерживаться от делания зла даже тем людям, которые причиняют им зло“, как говорится в Вашем письме. <...>

Как естественник по образованию в Московском университете (1896—1900) и как страстный любитель природы и Творца ее, я глубоко не согласен с безграницным отречением и „убиванием“ плоти и потомства тем самым... „детей бо есть Царство Небесное“, по слову Христа...» — ОР ГМТ. БАН. № 47171. Л. 1—3.

На конверте заказного письма помета В. Ф. Булгакова: «Дикий. Воронежская г[уберния]. О самоотречении.

Б[ез] о[т]вета». — Там же. Л. 4 об.

Николай Дмитриевич Платонов (р. в 1886 г.), крестьянин Ярославской губернии, осенью 1906 года отказался от военной службы, за что был приговорен к трем годам арестантских отделений. Его освободили лишь по отбытии им срока наказания в 1913 году.

В. Г. Чертков посещал Н. Д. Платонова в тюрьме и переписывался с ним. Так, в письме от 6 августа 1910 года из Ярославской тюрьмы Н. Д. Платонов просил В. Г. Черткова прислать ему книги, т. к. «читать абсолютно нечего», сообщил, что его отправили на работу штукатуром, а в конце письма добавил: «Владимир Григорьевич, передайте мой привет нашим братьям и дедушке Льву Николаевичу. Я прошу Господа, чтобы Господь дал ему здоровья на многие годы...» — ОР ГМТ. Фонд В. Г. Черткова. КП—9314. Л. 1—2 об.

Реакция А. Н. Толстого на присланное ему письмо Н. Д. Платонова известна. 30 августа 1910 года он в письме А. К. Чертковой заметил: «...Письмо Платонова меня особенно тронуло» (89, 210—211). В тот же день А. Н. Толстой писал Н. Д. Платонову:

«Дорогой брат Николай,

Анна Константиновна переслала мне ваше письмо, глубоко тронувшее меня и порадовавшее меня, несмотря на ваше тяжелое положение...» (82, 128—129).

Позднее, 18 сентября 1910 года, Толстой написал и ярославскому губернатору графу Дмитрию Николаевичу Татищеву (р. в 1877 г.), но не отправил, т. к. к этому времени был получен отрицательный ответ Татищева на аналогичное обращение к нему Т. А. Сухотиной-Толстой (82, 157—158; 89, 217).

Письма Павла Салиенко этого периода не сохранились.

²⁴ Е. И. Черткова (1832–1922) собиралась 24 августа 1910 года покинуть Телятинки. См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого (Записи за пятнадцать лет): В 2 т. М.; Пг., 1923. [Т.] II. С. 272.

²⁵ Последняя фраза в дневнике В. Ф. Булгакова воспроизведена иначе: «...Все-таки здесь легче, много легче, чем в Ясной» (курсив наш.— В. А., Г. К.).— Там же.

²⁶ А. Л. Толстая вместе с матерью уехали из Кочетов 29 августа 1910 года. На следующий день они были уже в Ясной Поляне (58, 97); ДСТ. Т. 2. С. 193; ЯЗ. Кн. 4. С. 238–239.

²⁷ Этот отрывок приведен в дневнике В. Ф. Булгакова от 29 августа 1910 года. См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 321.

²⁸ Петербургское книгоиздательство, созданное последователями Л. Н. Толстого и выпускавшее в 1906–1907 годах его запрещенные сочинения.

²⁹ Этот отрывок не вошел в дневник В. Ф. Булгакова, куда 21 сентября 1910 года он занес текст письма А. Л. Толстой. См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 325.

³⁰ См. запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 15 сентября 1910 года (58, 102–105). См. также запись в «Дневнике для одного себя» (58, 136–137).

³¹ См.: 89, 217.

³² Л. Н. Толстой решил вернуться 22 сентября 1910 года (58, 106, 137). См. также: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 327; ЯЗ. Кн. 4. С. 356–357.

³³ Двух последних строк нет в дневнике В. Ф. Булгакова. Вместо них — комментарий: «Чертков принял это письмо к сведению, но должен сознаться, что мне далеко не все в нем понравилось. Чувствовался неукротимый характер Александры Львовны, ее стремление поставить отца на стезю борьбы с женой, как будто он сам не знал, что ему следует делать в том или ином случае». — См.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 326. Курсив В. Ф. Булгакова. 17 сентября — день именин Софьи Андреевны; 23 сентября — день венчания в 1862 году.

³⁴ Москвич Алексей Пивоваров в большом письме Л. Н. Толстому от 9 сентября 1910 года делился с ним своими сомнениями по целому ряду религиозно-философских вопросов жизни.

В частности, он писал: «Я иногда задумывался над вопросом, почему же только именно и спасаемся мы, православные...» — ОР ГМТ. Архив Л. Н. Толстого. № 53055. Л. 2.

³⁵ Ранее на письма чешского корреспондента Ивана Ивановича Гиляка отвечал по поручению Л. Н. Толстого Д. П. Маковицкий (78, 314, 317). 5 сентября 1910 г. И. И. Гиляк вновь обратился с вопросами, на которые он сам не нашел ответа: «Церковное учение о боге само плодит атеистов. <...> Сам я, хотя и атеист, но очень часто размышляю об этом братстве. Вот почему весьма отрадное впечатление произвела на меня Ваша статья относительно фальшивости на-

уки...» — *ОР ГМТ*. Архив Л. Н. Толстого. № 46306. Л. 2 об.—3. На конверте письма помета одного из помещиков Толстого: «Гиляк. Москва. О вере с[о] склонностью к атеизму. Б[ез] о[т]вета».

³⁶ Этот отрывок не вошел в дневник А. Б. Гольденвейзера. См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого... Т. II. С. 296—297.

³⁷ 10/23 сентября 1910 года Петр Петрович Николаев (1873—1928) писал Л. Н. Толстому из Ниццы, что его сыну Леониду (р. 1898) — в случае их возвращения в Россию — пришлось бы отказываться от воинской повинности (82, 160). См. также: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 328.

³⁸ 19—20 сентября 1910 года Л. Н. Толстой поблагодарил Филиппа Петровича Купчинского (р. 1844) за присланную ему конфискованную книгу «Проклятые войны» (58, 105; 82, 161—162).

³⁹ В. Ф. Булгаков решил в начале октября 1910 года выйти из Московского университета и отказаться от солдатчины. См.: *ДСТ*. Т. 2. С. 212; Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 377—378.

Сергей Михайлович Булыгин (1889—1946) — последователь Л. Н. Толстого, убежденный пацифист. См. также следующее примеч.

⁴⁰ Андрей Иванович Кудрин (1884—1916), крестьянин-молочанин, отказавшийся служить по религиозным убеждениям и посаженный в тюрьму за это, по выходе на свободу в начале сентября 1910 года приезжал — в отсутствие Л. Н. Толстого — в Ясную Поляну и беседовал с В. Ф. Булгаковым. О своих впечатлениях от этой встречи В. Ф. Булгаков написал Л. Н. Толстому в Кочеты.

Телятинки, 16 сент[ября] 1910

Лев Николаевич!

Посылаю Вам рассказ Кудрина об его отказе от воинской повинности, записанный мною со слов Кудрина. Рассказ этот, по своим подробностям, исключительно интересен, особенно в описании отношения к Кудрину после его отказа офицеров.

Тут же, кстати, прилагаю (не осудите за это) одну свою крошечную брошюрку издания 1909 года, остатки которой от продажи мне только что прислали из Москвы.

У нас жизнь течет своим порядком.

Теперь пасмурно и стоят холода. А с неделю тому назад мы могли наслаждаться, живо чувствуя всю прелесть, подаренную нам природой, которая свойственна времени конца лета и начала осени: яркое солнце, свежий-свежий воздух, осыпающиеся желтые листья...

Я сделал в эти дни прогулку верст за 35. Встречался, между прочим, с Сережей Булыгиным. Мы оба, и он, и я, готовимся к предстоящему нам в середине осени отказу от воинской повинности. Даже не готовимся, потому что можно думать, что мы уже готовы, — а просто все чаще вспоминаем об этом. И делается радостно.

Не могу судить о том, что Сережа переживает, а я чувствую, что в предстоящем мне испытании мои духовные силы очень укрепятся.

Прощайте, Лев Николаевич. Так привык к незаслуженной радости быть всегда с Вами, что теперь, за месяц Вашего отсутствия, сильно соскучился по Вас.

Любящий Вас

Вал[ентин] Булгаков». — *ОР ГМТ*. КП-8346. № 44990. Л. 1-2 об.

Брошюра, о которой идет речь: Булгаков В. Себе или Гоголю? По поводу празднования столетнего юбилея со дня рождения Н. В. Гоголя. М., 1909.

Ответ Л. Н. Толстого от 20 сентября 1910 года см.: 82, 162-163; Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни... С. 326. См. также: 58, 105, 263, 519.

⁴¹ Заключительный фрагмент не был воспроизведен А. Б. Гольденвейзером. См. выше примеч. 34.

⁴² Так в тексте машинописной копии. Вероятно, В. Ф. Булгаков ошибся и поставил дату получения письма. Ср. дату его ответного письма А. Л. Толстой, публикуемого ниже.

⁴³ О беседах С. А. Толстой в Историческом музее в Москве см. ее запись от 18 января 1904 года. *ДСТ*. Т. 2. С. 99-100.

⁴⁴ Согласно последней воле Л. Н. Толстого, его душеприкащицей была назначена А. Л. Толстая, хотя фактически все рукописи должны были перейти в руки В. Г. Черткова. С. А. Толстая категорически отказалась признать завещание Л. Н. Толстого 1910 года. См. запись в ее дневнике от 20 февраля 1911 года. *ДСТ*. Т. 2. С. 338.

О споре матери с младшей дочерью писали русские газеты. См.: Русское слово. 15 января 1911 г.; Голос Москвы. 26 января 1911 г.; Утро России. 9 февраля 1911 г.; Раннее утро. 9 февраля 1911 г.; Новое время. 10 февраля 1911 г.; Современное слово. 10 февраля 1911 г.; Киевские вести. 11 февраля 1911 г. и др.

⁴⁵ Тексты писем неизвестны.

⁴⁶ Тем не менее С. А. Толстая не изменила своей позиции. См. ее запись от 29 января 1912 года. *ДСТ*. Т. 2. С. 370, 563.

⁴⁷ 6-7 декабря 1910 года В. Ф. Булгаков был в Ясной Поляне. В ежедневнике С. А. Толстой тема разговора с дружески настроенным по отношению к ней молодым человеком не обозначена. См.: *ДСТ*. Т. 2. С. 336.

⁴⁸ В сохранившемся черновом наброске неотправленного письма В. Г. Черткову от 19 июня 1911 года В. Ф. Булгаков, уехавший в Томск, так мотивировал свой отказ вернуться в Ясную Поляну или Телятинки: «Прибавлю еще вот что. Я боюсь, что мне снова придется попасть в атмосферу взаимной досады людей друг на друга, взаимного недружелюбия, взаимных обвинений и взаимных оправданий. Я не разумею здесь отдельных лиц, а разумею две партии — „яснополянскую“ (вот там, кажется, одна С[офья] А[ндреевна]) и „телятинковскую“.

У меня сейчас такое настроение, что я хочу только спокойствия и мира и добрых, братских отношений со всеми положительно людьми, без всяких исключений. Я не могу никого не любить, а тем более ненавидеть. Я не могу принадлежать ни к какой партии.

За последние месяцы жизни моей у вас и в Ясной Поляне мне было очень тяжело. Положение мое было в высшей степени щекотливо, так как я был чуть ли не единственное лицо, одинаково свободно принимавшееся и пользовавшееся известной долей доверия в том и в другом доме. Я старался не принимать активного участия в разыгравшейся тяжелой борьбе. Мне не было никаких оснований принимать это участие (я не видел, чтобы от этого была польза Л[ьву] Н[иколаевичу]), и я воздерживался от него. Роль моя во всем происшедшем, конечно, могла быть и была самой незначительной, но тем не менее многое я мог делать, чего не делал. Цель моих стремлений к соблюдению своего рода „нейтралитета“, к счастью, была единственная: не дипломатического расчетливого или корыстного свойства, а вытекавшая только из любви, исключительно из нежелания становиться во враждебные отношения с людьми, которые не подавали мне к этому никаких поводов и которых я уважал или любил или жалел.

Если бы я приехал, я возобновил бы свое знакомство с С[офьей] А[ндреевной] (которую мне жаль, как одинокого, заброшенного человека, на плечах своих несущего большое горе и чуть не всеобщее презрение; да за некоторые качества ее характера — как прямота, любовь — хоть слепая, но любовь — ко Л[ьву] Н[иколаевичу], я ее и люблю и уважаю), и мне было бы тяжело жить в доме, где, как я могу предполагать, смотрели бы на меня в этом случае чуть не как на изменника. Я прошу тебя и теперь не смотреть так на меня, потому что я, конечно, знаю, что С[офья] А[ндреевна] совершенно несправедлива во всех своих притязаниях. Но только ей, по-видимому, не дано то, благодаря чему она могла бы понять и увидеть многое, чего не видит и не понимает. И тем не менее я никак не могу отделить ее от Л[ьва] Н[иколаевича], не могу забыть, как долго она была так близка ему. И если бы даже она была убийцей Л[ьва] Н[иколаевича], — как ее при мне как-то называли, не помню, кто, — все-таки я не считаю себя в праве и не хочу мстить ей за это. Вот тут как нельзя более уместно сказать: „Мне отмщение и Аз воздам“. Тем более не могу я ненавидеть ее за Л[ьва] Н[иколаевича], что недоброе отношение ее к нему не могло быть — как я все-таки думаю — сознательным, оно было слепым, бессознательным. Поэтому я только готов сказать о ней, как Христос сказал на кресте о распявших его начальниках и солдатах: „Прости им, потому что не ведают, что творят“.

Я думаю, что *всем* нужно объединяться после смерти Л[ьва] Н[иколаевича]...» — РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 1200. Л. 18–25. Машинопись. Курсив В. Ф. Булгакова. Посланный ответ от 28 июня 1911 года, по словам В. Ф. Булгакова, был «много мягче». — Там же. Л. 26–28.

⁴⁹ Сохранившиеся документы свидетельствуют об обратном. В необходимости третейского суда С. А. Толстую в Москве 20 февраля 1911 года убеждали давние друзья семьи, приехавшие из Петербурга специально для этого, — Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) и Михаил Александрович Стахович (1861–1923). — См.: ДСТ. Т. 2. С. 337.

Однако А. Л. Толстая через несколько дней прислала матери письмо, в котором мотивировала свой отказ решать спорные вопросы таким образом.

«24 февр[аля] 1911 г.

Телятинки.

Милая мамá,

Не ответила тебе тотчас же потому, что только вчера ночью вернулась из Москвы.

От твоего предложения отдать наше дело на решение третейского суда я решительно отказываюсь.

Мне кажется очень странным и совершенно ненужным, чтобы дело это решали чужие люди, когда оно настолько просто и ясно, что о нем не может быть двух мнений. Нужно только последовать воле того, кто один имел право так, а не иначе распорядиться своими бумагами и передать их мне. А третейский суд между матерью и дочерью, когда дело так просто и неоспоримо, мне кажется совершенно неуместным и нет основания прибегать к нему.

Я просила тебя дать мне окончательный ответ о том, согласна ли ты мне выдать рукописи, хранящиеся в Историческом музее, как ты мне раньше обещала, в воскресенье, но ты мне не ответила, и теперь я считаю себя свободной. Но еще раньше, чем что-либо посылать в газету, я пришлю тебе составленную бумагу на прочтение, а затем пошлю в печать.

Очень, очень жалею, что ты не желаешь сойтись на том, чтобы просто и честно исполнить волю отца.

На меня очень тяжелое впечатление произвело то, что в своем издании ты поместила некоторые *неизданные* сочинения отца, как „Н[еизбежный] п[ерево-рот]“; „Кто прав“; или „№ газеты“. Это и есть новое нарушение воли отца.

Дочь Саша». — *ОР ГМТ*. Архив С. А. Толстой. П. 92. № 12501. Л. 1–2 об.

Статья «*Неизбежный переворот*» (1909) действительно впервые напечатана в новом издании собрания сочинений, которое готовилось еще при жизни Толстого, но вышло после смерти. См.: Сочинения графа Л. Н. Толстого: В 20-ти томах. 12-е изд. М., 1911. Т. XIX. С. 689–708.

Рассказ «Кто прав? Отрывок неизданного и неоконченного сочинения» (1901) см.: Там же. Т. XVI. С. 459–480. Рассказ не 1901, а 1891 года.

Статья «Номер газеты» (1909) см.: Там же. Т. XIX. С. 751–759.

Позднее, когда дело зашло в тупик, уже А. Л. Толстая настаивала на третейском суде. Об этом она писала С. А. Толстой 3 октября 1911 г.: «Согласна ли ты и когда на третейский суд?..» — *ОР ГМТ*. Архив С. А. Толстой. П. 92. № 12506. Л. 1. И в другом письме, отправленном в тот же день матери, А. Л. Толстая вновь вернулась к этому вопросу, но в иной форме: «Мне кажется, что твое предложение о третейском суде, о кот[ором] ты писала мне зимою, действительно даст нам этот выход...» — Там же. № 12507. Л. 1. Однако теперь С. А. Толстая, уверенная в поддержке властей и части русского общества, никак не реагировала на эти обращения младшей дочери. 14 декабря 1911 года А. Л. Толстая писала матери: «Не зашла я к тебе в Ясную потому, что не знала, желаешь ли ты меня видеть. На последние мои письма ты не ответила, а на предложение третейского суда — ты все молчишь...» — Там же. № 12510.

⁵⁰ Александр Модестович Хирьяков (1863–1946), литератор, сотрудник издательства «Посредник», посетитель, корреспондент и адресат Толстого.

⁵¹ Душан Петрович Маковицкий (Makovický; 1866—1921), словацкий единомышленник и преданный друг Толстого, его домашний врач, секретарь, меуарист.

⁵² О. К. Толстая (урожд. Дитерихс; 1872—1951), невестка Л. Н. Толстого; сестра А. К. Чертовой.

⁵³ Действительно, месяц спустя полемика в русской печати возобновилась с новой силой. Противоборствующие стороны искали поддержки у своих сторонников. См.: Письмо в редакцию // Речь. СПб. 21 февраля 1912 года. Письмо подписали Ю. Айхенвальд, И. Гинцбург, Л. Гуревич, Б. Модзалевский, Д. Овсянко-Куликовский, О. Срезневская, В. Срезневский, С. Шорох-Троцкий.

Одновременно письмо появилось в московских газетах. См.: Наследство Л. Н. Толстого. (Письмо в редакцию) // Русское слово. М., 21 февраля 1912 года. На следующий день были напечатаны обвинения С. А. Толстой в адрес младшей дочери и В. Г. Чертова. См.: Вечернее время. СПб., 22 февраля 1912 года. Обе точки зрения нашли свое место на страницах «Русских ведомостей» и «Русского слова» 22 февраля 1912 года.

В публичной полемике В. Ф. Булгаков не участвовал.

⁵⁴ 12 декабря 1912 года первая православная служба — отпевание — была совершена на могиле Л. Н. Толстого священником Григорием Лаврентьевичем Каликовским, имя которого держали в тайне все обитатели Ясной Поляны, т. к. молодому человеку грозили неприятности со стороны иерархов русской православной церкви. В тот же день Г. А. Каликовский служил панихиду в спальне Л. Н. Толстого. См.: ДСТ. Т. 2. С. 383. А. Л. Толстая узнала о службах на могиле отца и в доме из сообщений прессы. Первые сведения в русской печати об этом событии появились лишь неделю спустя. См.: Панкратов А. На могиле Толстого // Русское слово. М., 21 декабря 1912 года., № 294. С. 3; Православная служба на могиле Л. Н. Толстого (От нашего корреспондента) // Там же, 22 декабря 1912 года, № 295. С. 7.

В этой публикации были перечислены все присутствующие, в том числе и В. Ф. Булгаков.

Свою позицию он изложил в письме в редакцию «Русского слова» 4 января 1913 года. Оно приведено в ст.: Филосов Д. Опять о событии в Ясной Поляне // Русское слово. М., 11 января 1913 года, № 9. С. 2.

Сам Г. А. Каликовский 24 января 1913 года в открытом письме в «Русское слово», которое он прислал В. Ф. Булгакову для передачи в печать, так объяснял свое участие в службе на могиле Л. Н. Толстого: «Прочитав все, что касается молитвы на могиле и в доме Л. Н. Толстого, я с своей стороны, как главный виновник этого события, скажу несколько слов. Я никогда не думал, что это событие породит столько противоречивых толков и писаний во всех органах печати. По моему убеждению, молиться за кого бы то ни было никому не запрещено и никто запретить не может. <...> Я глубоко верю в искупительную жертву мира — Христа и потому поехал на могилу Льва Николаевича и помолился Господу Богу, и просил в своих грешных молитвах простить грехи его вольные и невольные <...>

Религиозных убеждений Л[ьва] Н[иколаевича] я никогда не разделял и не разделяю, потому что он, по моим убеждениям, заблуждается, а о прощении

у Того, пред Кем он заблуждался, я помолился и молюсь. Совершая молитву, у меня не было и нет никаких целей, а только чистая молитва грешника за грешника, и я доволен уж тем, что доставил духовное утешение гр[афине] Софии Андреевне, которой тяжело было, как глубоко верующей христианке, переносить „отвержение“ своего любимого мужа...» — *РГАЛИ*. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 712. Л. 4–5. Машинописная копия с пометами В. Ф. Булгакова. См. также подробное описание этих служб в поздней публикации участника событий: Булгаков В. В осиротелой Ясной Поляне. (Заметки из дневников 1912–1919 гг.) // *Голос минувшего на чужой стороне: Журнал истории и истории литературы*. Под ред. С. П. Мельгунова, В. А. Мякотина и Т. И. Полнера. Париж, 1926, № 3. С. 118–119.

Готовя дневниковые записи к печати, В. Ф. Булгаков еще раз уточнил свою позицию, которая существенно расходилась с точкой зрения А. Л. Толстой: «У меня было такое чувство, что я участвую в акте „соединения церквей“: православной и „толстовской“...» — Там же. С. 119.

⁵⁵ Действительно, служба проходила только в присутствии С. А. Толстой и тех, кому она особенно доверяла: В. Ф. Булгакова и Юлии Ивановны Игуновой (1871–1940).

⁵⁶ 3 декабря 1912 года В. Ф. Булгаков в Ясной Поляне окончательно договорился с С. А. Толстой о том, что он будет составлять научное описание библиотеки Л. Н. Толстого, а затем, получив согласие В. Г. Черткова, у которого он в течение пяти месяцев работал над «Сводом мыслей Л. Н. Толстого», 11 декабря 1912 года он поселился в Ясной Поляне и приступил к исполнению своих обязанностей по библиотеке. — *ДСТ*. Т. 2. С. 383. Более подробно об этом периоде жизни — в опубликованных записях В. Ф. Булгакова. См.: Булгаков В. В осиротелой Ясной Поляне... // *Голос минувшего на чужой стороне*... Париж, 1926. № 3. С. 107–108, 118.

«ТРУДНОЕ ПЕРЕЖИВАЕМ МЫ ВРЕМЯ, МИЛАЯ МАРУСЯ...»

(из писем С. А. Толстой к М. А. Маклаковой
1901–1902, 1903 и 1909 гг.)

Публикация Н. И. Бурнашевой

Мария Алексеевна Маклакова (р. 1877) — дочь известного окулиста, профессора Московского университета А. Н. Маклакова, близкая знакомая семьи Толстых, часто гостила в Ясной Поляне и в московском доме в Хамовниках. Находясь в Гаспре во время тяжелой болезни Толстого, С. А. Толстая поддерживала постоянную переписку с Маклаковой, только ей одной поверяя многочисленные невзгоды, которые обрушились на семью. Письма передают ту напряженную эмоциональную атмосферу, которая царил в это время в доме Толстых. Подлинники хранятся в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея. Фонд 31 (Маклаковы). Ед. хр. 169.

30 июня 1901 г.

Милая Маруся, вы всегда так трогательно просите писем, что я не могу не написать вам, хотя в настоящую минуту у меня все сердце истомилось, глядя на Льва Николаевича. Я уезжала на 1 1/2 дня на именины и рождение Сережи¹, туда приехала и Таня² с Гольденвейзером³, и Илюша⁴ со всей семьей и гувернантками (8 человек), и Варенька⁵, и гости, и мы весело провели время. Но в Ясной в тот же день, как я уехала, ко Льву Николаевичу вернулась лихорадка, и два вечера сильного жара произвели такое ослабление мускулов сердца, что сделались сильные боли в груди; рано утром Илюша поехал в Тулу за доктором, привез его сюда; доктор нашел сердце очень плохим, дал кофеин, потом хинин, говорит, что если жар будет повторяться, то плохо будет. Мы все в большом отчаянии, трудно бодриться, чтоб ходить за больным и не показывать ему это отчаяние сердца.

Если лихорадка сразу оставит Льва Николаевича, то он еще может и вовсе справиться. Ревматизмы его прошли, и печень в хорошем порядке, но худ он ужасно. Вчера, без меня, он было пошел пройтись, но сегодня и из постели не вставал. Живется грустно, милая Маруся, только и веришь еще в возможность жить, когда видишь, как сегодня внуки принесли огромную корзину грибов и с сияющими лицами показывали их всем.

Соня⁶ теперь семь-восемь <дней>⁷ будет гостить у меня. Саша⁷ с Анной⁸ уехали с Таней в Кочеты⁹, послезавтра вернутся.

Я только что продала Сашино имение¹⁰ и должна ехать теперь в Москву с ней, получать и помещать ее капиталы.

Кончаю письмо, очень некогда, надеюсь вас увидеть в Ясной и молю Бога, чтоб к тому времени мы все были с более спокойными сердцами. Все просишь у Бога отсрочки своему несчастью, а в конце концов когда-нибудь оно свершится! И эта мысль ужасна, и никогда к ней не привыкнешь.

Целую вас, моя голубка, пожалуйста искренно любящую вас

С. Толстую.

19 июля 1901 г. Ясная Поляна.

Милая Маруся, сейчас получила ваше письмо, в котором вы описываете, как украшали бюст Льва Николаевича венками¹¹, как хорошо и красиво там, где вы живете. Вы не упоминаете, получили ли вы мои два письма, которые я вам написала уже в St-Blasien¹². Я очень часто о вас думаю и люблю вас, и дорожу всякими отношениями с вами, моя милая подруга. К сожалению, опять придется жить врознь. Все 4 доктора, которые лечили Льва Николаевича, посылают его на осень в Крым. И вот мы все в конце сентября едем в Симеиз¹³.

Кроме нашей маленькой семьи: Льва Николаевича, Саши и меня — едут и Маша, и Таня с мужьями¹⁴ и детьми¹⁵, а может быть, и семья Андрюши¹⁶. Это будет интересно и может быть и не скучно, если все будут здоровы. А жаль и Хамовников¹⁷, и друзей!

У меня теперь одна мысль, одна цель — сохранить жизнь Льва Николаевича на сколько возможно. Очень трудно я пережила мысль о его смерти, о возможности остаться без него. Ведь моя личная жизнь, мои способности, желания — всё это во всю мою жизнь понемногу замирало и уничтожалось во имя служения Льву Николаевичу и семье. Чем мне доживать жизнь? Я совсем этого не могу себе представить. Глаза мои очень пострадали за это время от бессонниц и слез, и я должна кончать и это письмо.

Теперь мы одни; все разъехались. Сегодня Сережа, Жули¹⁸, Андрюша и проч. едут на именины Ильи. Очень жалею, что и я не могу ехать. Но теперь никуда ни за что не двинусь, разве денька на два в Москву по делам и покупкам к отъезду в Крым. Целую вас, моя милая Маруся, желаю здоровья, сил и бодрости духа. На это мы с вами способны, и не будем унывать. Любящая вас нежно и твердо С. Толстая. Таврической губернии почтовая станция «Кореиз»¹⁹.



М. А. Маклакова. Москва, 1895 г.
Фотография фирмы «К. А. Фишер и К°».
Публикуется впервые

Гаспра²⁰. 13 сентября 1901 г.

Так вот, милая Маруся, пишу я вам с своей великолепной вышки, высоко над морем, которое все перед моими глазами, блестит на ярком солнце, гудит, колышется и бесконечно изменяется. Комната моя наверху, с огромными окнами, светлая, чистая; из нее прямо можно выходить на огромную роскошную террасу с подзорной трубой, в которую мы смотрим на проходящие пароходы и катеры. Я пришлю вам на днях фотографию нашего дома, похожего на средневековый замок. Чувствую себя отрезанной от всего мира, далеко от людей, от всего, что мне дорого, что я привыкла любить и чем жила до сих пор. Первые дни, когда я устроилась, что случилось очень быстро, я все плакала, сегодня же решила, что так можно дойти или до безумия, или до желанья броситься в это самое великолепное море. И вот я принялась опять за Веберовскую сонату, за фотографии, за работу; бежали мы с Сашей в сад и рвали виноград «Изабелла», и прямо с кустов ели. Потом я пошла с Львом Николаевичем в Кореиз на почту. Это ближайшая деревушка с школой, народной чайной и читальней, с церковью и лавочками, перед которыми сидят татары, греки, турки в чал-

мах. Все это живописно, ново, разнообразно и интересно. Природа тоже своеобразна: преобладают камни, и много недоступных лесов. Гулять можно только по шоссе, огороженному каменными низкими стежками; а дальше или обрыв вниз, покрытый деревьями, или круча вверх, тоже поросшая деревьями. Дома настроены, как пришлось: внизу у моря,верху приткнутые к горам; над обрывами, на скале, или в долинке. Архитектура их очень разнообразна и чрезвычайно живописна. Ехали мы из Севастополя в двух колясках, день был ясный, и мы очень всем любовались. Но красивее и лучше всего пока — это Байдары²¹. И море, и, главное, скалы, да и вся местность поразительно красива. Ехать было весело. Лев Николаевич чувствовал себя хорошо и на всё радовался. Когда мы выехали из Тулы, у Льва Николаевича оказался жар, и на другой день опять, и мы ехали в большом унынии, хотя удобства были царские, но в Севастополе ему уже было лучше, он гулял и искал знакомые по войне места²². Все изменилось: в бывшем Дворянском собрании, где был во время войны перевязочный пункт, теперь Морской клуб, и был назначен концерт нашей Святловской²³. Вот нашли кого тут слушать. Ходили мы и в Музей Севастопольской войны²⁴, но музей жалкий.

Здесь мы ежедневно катаемся: были в Алушке, в Ялте, спустились к морю. В Гаспре большой недостаток, что море далеко. Идти вниз — полчаса, но вверх — и круто, и трудно; а хорошо у моря, серьезно, сурово, и думать сидеть можно долго и хорошо, Лев Николаевич уехал сейчас верхом на тихой лошадке управлявшего немца²⁵. Мы тут много едим винограда, а Оболенские²⁶ вообще весь день едят.

Ох, Маруся, как трудно с ними, и как скучно, скучно! Лев Николаевич со мной необычайно ласков, и это очень облегчает мне жизнь. Саша на все ахает, все бегают, ездит, плескается в волнах, но тоже боится целой зимы. Вчера был у нас милый, тихий, болезненный Чехов и противный Сергеевко²⁷. Сегодня приходила Цебрикова²⁸, написавшая когда-то письмо государю и за это сосланная, забыла еще написать, что в Харькове нас ждала огромная толпа²⁹, тысячи три. Лев Николаевич им кланялся в окно, а толпа кричала «ура!».

За мое длинное письмо, милая Маруся, напишите и вы мне. <...> Целую вас нежно, моя милая. Любящая вас С. Толстая.

16 сентября 1901 г. Таврической губ. почт. станция *Кореиз*.
Гаспра.

Что вы мне не напишете, моя милая Маруся? С тех пор, как мы расстались, я ничего о вас не знаю, и писем ни от кого не получаю, точно весь мир нас забыл. Посылаю вам вид нашей дачи, с моря она

гораздо красивее, с своими террасами, лестницей мраморной и фонтанами. Но снять невозможно, сразу круто вниз. Погода чудесная, ясно, жарко, ночи лунные красоты удивительной. Лев Николаевич наслаждается очень, и поправляется. Но начинает уже смело ходить по горам, и я за него боюсь. Целую вас нежно. Ваша С. Толстая.

3 октября 1901 г. Гаспра. Таврич. губ. почт. станция *Кореиз*.

Милая Маруся, я совсем соскучилась без общения с вами, и не имея возможности сейчас иметь от вас письмо, я должна успокоить свои чувства тем, что сама напишу вам, и все время буду видеть перед собой ваше миленькое лицо, которое я в эту минуту себе представляю таким, каким оно бывает или в умиленном или в огорченном выражении. Как живете, начали ли уроки, здоровы ли, как поживают ваши братья? Марусю Нарышкину³⁰ поцелуйте от меня за ее память обо мне.

Мы эти дни опять были встревожены: Лев Николаевич три дня лежал и не выходил из дому. Опять его сложная болезнь проявила свои симптомы: боль в коленках, в пальцах рук, стеснение в груди, перебои в сердце, плохое пищеварение и очень угнетенное состояние духа. Опять бессонные ночи, во время которых прислушиваешься к его дыханию и боишься, что оно остановится. Доктора он ни за что не хотел, как-то брюзгливо-зло протестовал, говорил, что лекарств принимать ни за что не будет, а вместе с тем поминутно сам считал и щупал пульс, или это делала Маша, пугался и приходил в мрачное настроение, нас, окружающих, он ставил в безвыходное состояние; но я так настрадалась в прошлую болезнь этой борьбой, этим непосильным напряжением энергий спасти его жизнь помимо его протестов, что не чувствую больше сил бороться, и на этот раз только дала ему обманом кофеин, и больше ничего.

К счастью, сегодня стало лучше; Лев Николаевич уже гулял и спал хорошо. Начинаю я привыкать к здешней жизни, хотя неожиданностей настроения очень много. Например, сегодня принесли вновь созревшую землянику; я ее ем, и сейчас же меня переносит в июньское настроение: жара, комары, длинные дни, сейчас надо идти купаться... и все исчезает; день короткий, море шумит, листья падают, но окно открыто, тепло, как летом, темно, как осенью.

Около нас две татарские деревни с лавочками, кофейными и самым пестрым населением. На улице, в канавке течет светлый ручей из ключа горного в виде фонтана. В этом ручье турки, татары, дети полощутся целый день: моют руки, посуду, сапоги. У лавочек и кофейных сидят спокойно в созерцательном состоянии все эти восточ-

ные и южные люди. А у нас на дворе большой каменный бассейн; и там тоже весь день лопочут по-своему, или молча сидят, или ногами моют белье — татарки, никто никуда не спешит. И я начинаю заражаться этим юго-восточным настроением, и я теперь часто сижу в этой роскошной, красивой обстановке, окруженная чудными, огромными, всех сортов розами, каннами, анемонами и всевозможными цветами; передо мной всяких сортов и цветов виноград в изобилии, солнце греет и светит все время, и сижу я без мысли, без желаний, ленивая и почти спокойная. И так можно жить изо дня в день. Держим мы коляску и пару лошадей. И если не дома, то едешь в покойной коляске по чудесным дорогам то в Алупку, то в Ореанду, в Ялту и другие места, одно красивее другого, и опять смотришь, созерцаешь природу, идешь к морю, которое своим вечным утомительным движением обливает брызгами прибрежные большие камни или катает взад и вперед волнами более мелкие камешки, — и на это море опять-таки можно долго сидеть и смотреть.

Были у нас разные гости: граф Гайди с женой, рожд. Дундуковой³¹, старые знакомые, 41 год тому назад бывшие с Львом Николаевичем в Брюсселе. Потом Самарина³² с кн. Оболенским³³ (товарищ министра внутренних дел). Приезжал еще граф Ностиц³⁴, Гриша, стал важным полковником, агент в Берлине. Сегодня был Кашкин³⁵, рассказывал, как у них жил в имении великий князь Константин Константинович³⁶. Еще Митя Капнист³⁷ был; потом приходили две дамы, занимающиеся социальным и рабочим вопросом.

Мы с Сашей в Ялте отдавали визиты, обедали у Самариной и вечером были на прекрасном концерте талантливого Ауэра³⁸ и бездарного пианиста Миклашевского, оба профессора Петербургской консерватории. Насколько наш Гольденвейзер лучше играет этого Миклашевского³⁹.

Поставила и я пианино во флигель и теперь буду опять серьезно заниматься музыкой. На днях я как-то играла, думая, что никого дома нет, а Лев Николаевич был дома, и когда я ахнула, что мешала ему, то он мне сказал, что моя игра ему доставила даже удовольствие в исполнении некоторых вещей и что я сделала большие успехи. Вы можете себе представить, милая Маруся, как я была рада.

В Ясной Поляне был пожар; сгорела рига, молотилка, три стога сена, солома — одним словом, весь корм для скота. Я писала Илюше, прося съездить туда. Опять мне убытки и расходы, такая линия вышла. И очень досадно, не могу преодолеть это чувство, особенно если поджог.

Саша ездит одна верхом, а иногда с татаринцом, кучером нашим пожилым. Она переписывает по вечерам отцу его статью «О религии»⁴⁰, купила себе кур, но иногда, как и я, очень тоскует.

Оболенские всё хотят переехать в Ялту лечиться. По вечерам Коля читает нам вслух.

Однако я так много написала, что совестно. Целую вас, моя милая Маруся, очень нежно. Братьям вашим поклон, если скоро мне напишете, буду очень вам благодарна. Если Масловы⁴¹ в Москве и поинтересуются нами, прочтите им это письмо и сердечно поклонитесь им. Ничего о них не знаю, хотя писала Варваре Ивановне. Прощайте же. Любящая вас С. Толстая.

23 октября 1901 г. Гаспра. Таврич. губ. почт. станция *Кореиз*.

Милая моя Маруся, давно я вам не писала и соскучилась по вас. Жизнь наша так тиха и однообразна, что боишься в письмах повторяться, тем более с моей плохой памятью.

Кажется, я вам не писала с тех пор, как у нас Таня. Ее привез ее муж, побыл тут дней 8—9 и уехал обратно в Кочеты, с намерением привезти сюда детей и поселиться около 15-го ноября во флигеле.

Теперь же во флигеле живет Ольга с Сонюшкой⁴², ее тоже привез Андрюша и уехал. Танечка очень жалка и мила, сидит молча с своим брюшком и вяжет. Ей уже тяжело и трудно, и забота ее мучает, как ее эгоист муж помирится с здешней жизнью и холодом, который очень силен и неприятен все это время. С утра 2 градуса только, а ночью на точке замерзания. Хотя розы и хризантемы здесь цветут вовсю, но в доме сыро и свежо, никак не натопишь этот огромный каменный замок. И чего это здесь стоит!

Вечером сидим всегда в огромной гостиной с большими картинами, копиями с Мурильо, в золотых рамах, с старинным роялем, японскими вазами и большим камином, который горел и трещал, мешая чтению вслух. А читали мы записки декабриста Волконского⁴³, которые мне поднес Петух Волконский⁴⁴. Он был у нас два раза, и мы с этим юношей всегда отлично болтаем. Читала нам Лиза Оболенская⁴⁵, Лев Николаевич лежал на диване, Сережа грелся у огня; мы с Таней и Олей работали, а Саша переписывала для отца наверху. Она все, бедная, хворает. У ней сильная желтуха и насморк, и это ее угнетает. Лев Николаевич тоже хуже себя чувствует, руки болят, по ночам пот, и желудок стал хуже. Это все от холода и верховой езды, которую он ни за что не хочет оставить.

С приездом Тани участь наша решилась, и мы до весны остаемся в Крыму, после чего поедem прямо в Ясную. Не смею жаловаться, а что у меня на душе... Это умолчать лучше.

Целую вас нежно, мой дружок, и часто мне грустно, что не могу приласкать вас, проехаться с вами на Лире⁴⁶ и поболтать по душе. Прощайте и не забывайте нежно любящую вас С. Толстую.

2 ноября 1901 г. *Кореиз*. Тавр. губ. в Гаспру.

Спасибо, милая Маруся, что пишете мне; я так привыкла общаться с вами, что без писем вовсе бы о вас стосковалась.

Вот уж скоро два месяца, что мы уехали! К здешней жизни я теперь привыкла, хотя чувствую себя здесь более животным, чем где-либо. Вся обстановка роскошная, красивая и удобная, балуешься этим очень, и тело стало полнеть, а душа засыпать. Я этого не люблю и никогда не избрала бы этой жизни. Присутствие Тани, Ольги с Сонюшкой и Сережи — мне очень приятно. Но Таня часто сидит и вздыхает молча, видно, забота ее берет о своем Михайлушке и его семье; а еще о том, как сложится здесь жизнь зимой и будет ли тепло во флигеле.

Оля что-то захворала, и боюсь за ее беременность. Сережа же, которого я чувствовала своей опорой, теперь уезжает сначала к себе, в Никольское⁴⁷, а потом на некоторое время в Москву.

Вы спрашиваете, мой дружок, что думает Лев Николаевич о речи М. Стаховича⁴⁸? Он сказал, что, разумеется, речь прекрасная, другого ничего нельзя сказать, но что он считает бесполезным «метать бисер перед с...». Сережа и я, мы написали Мише Стаховичу восхищенные им письма, и я все время горжусь за своего любимца, как гордилась и за другого любимца⁴⁹, во время истории с Конюсом⁵⁰. Отчего он кисел, и как идет лечение его ноги электричеством?

Стали нас разные гости одолевать: очень скучная одна старая знакомая Ширкова⁵¹ все ездит, два раза был вел. князь Николай Михайлович⁵², великолепный на вид. Вчера Капнисты супруги и Гриша Раевский⁵³, потом одна Квитко⁵⁴, Танина римская, очень нарядная дама; и еще темные какие-то. Ждем на днях Чехова, этот очень мил и прост. Всё катаемся, гуляем, вчера бегала в горы, в татарскую деревню смотреть свадьбу, очень здесь пестрое население и путаница большая, не чувствуешь своеобразного ничего, а все неожиданно.

Ну вот и написала листок, и опять должна только мысленно вас поцеловать. Как пенье, кого выдаете, кого любите? Напишите всё о себе как бы настоящей мамаше. Я очень вас люблю, жалею и интересуюсь вами!

С. Толстая.

9 ноября 1901 г.

Милая Маруся, так как я не знаю, приехал ли Сережа в Москву, то прошу вас сообщить и ему, и всем, кого это интересует, сведения о нас. Вы — наш ближайший друг, все знают, что я с вами в переписке, и будут к вам обращаться.

Самое грустное у нас то, что бедная Таня опять носит мертвого ребенка, и мы с этим тяжелым горем на душе и страхом за нее, ждем каждую минуту ее преждевременных родов. Мужа ее выписали, и он придет, вероятно, завтра.

Таня, бедная, серьезна, молчалива, и мы избегаем глядеть друг на друга, чтоб обеим опять не расплакаться, что уже было.

Лев Николаевич лежал пять дней в жару и с болью местного воспаления, случившегося, по словам доктора, вероятно, от ушиба о седло. Теперь воспаление прошло, но вернулась старая малярия, вчера была температура вечером 37 и 8, а сегодня утром 35 и 8. Он очень слаб, но похаживает по комнате. У Маши в Ялте инфлуэнца, и она тоже лежит. Была у нас Лиза Оболенская, спала с Таней ночи три, но сегодня уезжает к Маше. Мы с Сашей весь день и часть ночи бегаем сверху вниз и обратно, от Тани к Льву Николаевичу, ужасно много было дела и труда, и очень мы устали, особенно потому, что и прислуги мало.

Лев Николаевич, конечно, как всегда, упрямится и не хочет лечиться, а необходимо. Чем все это кончится — Бог знает, а жутко и одиноко здесь. Я пока держусь и Саша тоже. Ольга с Сонюшкой здоровы. Солнце ярко светит, тепло, ветер южный волнует блестящее море, розы, еще не убитые морозом цветут, и также огромные, пышные хризантемы. Но все это грустно, грустно...

Прощайте, моя душа, напишите мне пооткровеннее о себе, я совсем вас не чувствую в ваших письмах, и меня, по старой привычке материнской, взятой за эти годы, тревожит ваша внутренняя жизнь и хочется в нее заглянуть, хотя, увы, ничего теперь не могу вам сделать, даже поговорить не могу! Целую вас нежно. Любящая вас С. Толстая.

14 ноября 1901 г.

Пишу вам два слова, милый дружок Маруся, чтоб сообщить вам, что Таня, бедная, родила 12-го в ночь мертвого мальчика. Конечно, она и все мы очень огорчены. Тотчас после родов сделался жар, который нас напугал, так как боялись заражения крови, но потом жар прошел, и сегодня вечером немного ее лихорадило от прилива молока. Лев Николаевич пролежал дней пять совсем больной, теперь он встал, немного выходит, и всё болят то руки, то ноги. Здешний доктор убедил его делать впрыскивание мышьяка, и сегодня начали. Собрались у нас сегодня: Чехов, Горький и Бальмонт, очень было интересно. Мы все здоровы, Сухотин тут уже 5 дней с Алей⁵⁵ и учителем; уедет в декабре, а за ним и Таня, и вся наша зима будет скучная и одинокая. Ужасно! Целую вас, моя дорогая, напишите грустной и любящей вас С. Толстой.

3 декабря 1901 г.

Милая Маруся <...>

Приехали Андрияша, Илюша, внесли много оживления и нарушили нашу спокойную жизнь. Сегодня в два стола играли в карты, так я отвыкла от всего этого. Таня с ними тоже играла в «винт» и «тетки», еще новая игра какая-то. Всё это мне не весело. Но одно хорошо, что и Таня, и Лев Николаевич себя чувствуют лучше. Мы с Сашей толстеем <...> Живем однообразно, дожди льют, всё здешнее начинает сильно надоедать. А долго, долго тянуть еще эту жизнь! <...> Любящая вас С. Толстая.

13 декабря 1901 г.

Милая Маруся, вы меня спрашиваете, когда я буду в Москве? Не раньше 20-го января, если, конечно, все у нас будет благополучно.

Я заеду прежде в Ясную, на обратном пути к моим калужским сыновьям⁵⁶.

Получила я из Москвы известие, что очень больна Софья Ивановна Маслова. Что с ней? Мы тоже волновались опять в это время. Лев Николаевич бегал по горам, ездил верхом, утомлялся безумно, и наконец свалился совсем больной, в Ялте, куда поехал к Маше. Перебои в сердце испугали даже доктора, который его очень внимательно лечит.

Меня вызвали по телефону, и вот мы прожили в Ялте несколько дней, и я только сегодня привезла Льва Николаевича обратно сюда, в Гаспру; еще Лиза Оболенская нас сопровождала. И опять я очень утомилась, особенно глазами от бессонных ночей, и теперь едва пишу, почти не глядя.

Таня моя тоже очень расстроена: у ее любимого пасынка, Сережи⁵⁷, тиф в Петербурге в Морском корпусе, и он опасно болен; Михаил Сергеевич едет 20-го в Петербург; а Таня опять плачет и ропщет на свою горькую судьбу. Чего же было ждать, когда вышла за старого вдовца с 6-ю детьми. Так всё не весело, Маруся, ужас! А ясное, летнее солнце так и светит, и греет, точно лето. Совсем все спуталось здесь: декабрь, а жарко, и вновь зацветают розы, фиалки и белые подснежники. На днях была отчаянная буря: переколотила все стекла, вырвала целые рамы, море было свирепо, и все перепугались даже.

<...> Приехали бы к нам, то-то бы было хорошо. Целую вас нежно. Ваша С. Толстая

1 января 1902 г.

Милая Маруся, сейчас получила письмо ваше, и мне стало совестно, что я так давно не писала вам.

Начинаю год с того, что первой пишу вам из наших теплых стран. Кладу в конверт фиалки, которые цветут в нашем парке, в Гаспре. Сегодня теплый, летний день, гуляли в одних платьях с Ольгой и Таней к морю, которое шумело и волновалось, переливая всевозможные оттенки голубого и зеленого цвета. У моря ждали нас Сережа, Андрюша, Гольденвейзер и Горький с женой⁵⁸. Посидели там немного, домой приехали в коляске. Дома застали доктора, который все время лечил Льва Николаевича; милейший, способный, красивый еврей Альтшулер⁵⁹, который умел внушить к себе доверие Льва Николаевича и всех нас, и действительно идеально хорошо действовал при родах Тани, и хорошо поправил здоровье Льва Николаевича. Сейчас вечер. Лев Николаевич, Сережа, Гольденвейзер и здешний управляющий немец Карл Христианович играют в винт, Ольга и Саша переписывают для отца, Таня чикает что-то на ремингтоне, а Андрюша уехал с доктором в Ялту, к Дьяковым⁶⁰. Приходили все наши люди ряженные и дико плясали, топая ногами под трепак, который играли Саша и Таня на рояле. Поднимается буря, гудит ветер и шумит море.

Гольденвейзер дает в Ялте концерт 7-го января, и мы очень стараемся, чтоб был успех.

3-го у меня он будет играть с скрипкой, и будут гости. На праздниках мы ходили все в здешний народный дом, где чайная и читальня, и смотрели на танцы здешних жителей: прачек, мастеровых, почтовых чиновников и телеграфистов, поваров, торговцев и проч. Играли 4 странствующих чеха и большая гармония. Сначала плясали польку, вальс, даже *pas de quatre*. Потом два татарина по-татарски, два грузина — лезгинку, и русские — трепак, даже Саша с доктором, с управляющим и Наташей Оболенской⁶¹ прошла польку и вальс. Саша играет здесь для народа в том же доме 10-го января; она взяла роль старой экономки в пьесе «Не всё коту масленица»⁶².

<...> Любящая вас С. Толстая.

19 января 1902 г.

Милая Маруся моя, вот я не еду и не еду, а все стремлюсь и собираюсь. Лев Николаевич был плох все время: желудок, печень, перебои в сердце, все вместе. И опять ему сегодня лучше. Но едут к нам два доктора: Бертенсон⁶³ из Петербурга, Щуровский⁶⁴ из Москвы, надо их принимать и провожать. Вот удивление, что пожелал их обоих сам Лев Николаевич!

Теперь опять я назначаю день выезда моего через 10 дней, т. е. 29-го, и опять Бог знает, что еще будет!

Большое осложнение составляет положение Ольги. Ребенок в ней мертвый, а роды всё не наступают. Мрачна, утомительна и безумно скучна наша жизнь здесь теперь. Как ни храбрись, а вдруг отчаяние берет, лягу на диван и лежу часа три молча, как мертвая. Нервы устали, Лев Николаевич стал очень мнителен, легко раздражается, точно все виноваты, что ему 74-й год и организм изнашивается и нельзя жить прежней бодрой жизнью, а надо беречься и жить стариком. Таню вы, вероятно, увидите в Москве, куда она поедет с мужем, чтоб советоваться с доктором. Маша с Колей хотя и переехали в Гаспру, но мы их мало видим, от них ни помощи, ни радости, живут они во флигеле. Сухотиным я буду, конечно, больше рада. Лизанька Оболенская мне помогает, она очень приятна пока, и меня заменит при Льве Николаевиче, когда я уеду.

Саша сегодня играла на Народном театре на генеральной репетиции, но я ее не видала, говорят, недурно. Завтра спектакль, и я пойду ее посмотреть. Сережа все тут, собирается в Москву в начале февраля; он спит рядом с отцом и трогательно ухаживает за ним по ночам. Андрюша хворает и скучает. Вот и всё, что у нас делается. <...> Целую вас нежно, очень спешу. Лев Николаевич внизу один, надо бежать.

Любящая вас сердечная, если не настоящая, мать С. Толстая.

26 января. Ночью. 1902 г.

Милая Маруся, до вас, вероятно, дошли слухи, что Лев Николаевич опасно заболел. Сажу у его комнаты, стоны его уже третий день надрывают мое сердце; ему впрыскивают под кожу морфин, чтоб он спал и не страдал, так как боли в левом боку и спине очень острые.

Приезжали 23 Бертенсон из Петербурга и Щуровский из Москвы — два хороших доктора, пожелавших полечить Льва Николаевича. Они нашли его в довольно хорошем состоянии и уехали 24-го утром. Но в тот же вечер вдруг неожиданно сделался припадок грудной жабы, сердце пришло в ужасное состояние, поднялась температура до 39-ти. Мы спешно вернули Щуровского; делали впрыскивания камфары, всячески поднимали силы Льва Николаевича. Но утром оказался плеврит, и это привело докторов в большое уныние.

Вся левая сторона легкого воспалена, боли острые измучили бедного больного.

Мы все за ним ходим, ночи напролет приходится сидеть у его двери, следить за дыханием. Вчера дежурил один доктор всю ночь, сего-

дня два, не считая Лизы, Сережи и меня. Ах, Маруся, не могу вам ничего еще рассказать, я точно вся окаменела. Напряженное внимание, как бы облегчить страдания Льва Николаевича, — это цель всех нас. А потом — как жить без него, возможно ли мое одиночество для меня, после, без малого, сорока лет жизни с любимым человеком, — я ничего не сознаю, не понимаю. *Может ли* он еще встать и поправиться, этого никто не говорит. «Положение серьезное, — отвечают доктора. — Почва давно подготовлена, сердце надорвано».

Сообщите о нашем горе всем, кому можете. В газетах запрещено печатать, и мне странно, что подчиняются такому грубому насилию. Все газеты должны бы сделать стачку и взбунтоваться.

Ждем в понедельник Таню, как я ей буду рада! Бедная Оля всё еще носит своего мертвого младенца. Ох, Маруся, как все переживается, Бог знает! Какая мучительная боль в сердце, какой ряд тяжелых событий, сил нет, прямо сама точно умираю.

Целую вас, моя душенька.

С. Толстая.

2 февраля 1902 г.

С удовольствием исполняю вашу просьбу, милая Маруся, и пишу вам. Сегодня утром в первый раз температура у Льва Николаевича упала и восстановился пульс. Но к вечеру опять небольшой жар. Воспаление еще не прошло, ставили опять мушку, впрыскивали морфий. Очень он слаб и жалок.

Вы предлагаете приехать помочь, мой милый дружок, но я не могу звать вас, увы! Помогать около больного вы не можете потому, что он не допустил бы вас ходить за собой. Из женщин допускает он до себя меня, Лизу и Машу. Таня только слегка что-то делает, подаст пить, почешет щеткой голову.

Что касается сердечной помощи лично мне, то это большая слишком роскошь. Конечно, чувствовать вашу близость, ваше участие, поговорить с вами — всё это было бы мне привычно-радостно. Когда все поразъедутся и я почувствую себя одинокой, то я вам кликну свой сердечный клич и вы, может быть, приедете.

У нас опять непосильно много народу. При малой прислуге я измучилась и этим. Все флигеля полны, обедают и завтракают 19 человек. На непривычном месте, с большими осложнениями — мне хозяйство чрезвычайно трудно и утомительно.

Приехали все 8 детей (Лева⁶⁵ сегодня уехал, и вчера Дунаев⁶⁶). Приехала Соня, жена Ильи, вся семья Оболенских живет у нас в доме, Буланже⁶⁷, дядя Костя⁶⁸, Жули, два доктора, Андрюшина

семья — все едят и пьют у нас, в хозяйстве же я одна на всех. Ежедневно до 4-х ночи я *сизжу* у больного Льва Николаевича — лечь боюсь, чтоб не заспать и не услышать слабого голоса, когда он зовет. После 4-х сменяет меня Лиза Оболенская. Она удивительно хорошо помогает, я бы без нее пропала. Утром, от 9 часов, приходит Маша, и ее специальность — кормить и поить больного. Она тихими движеньями, спокойно и равнодушно ухаживает очень хорошо тоже. Мужчины все поднимают. Каждую ночь дежурит Буланже с доктором до 5-ти утра, а потом с 5-ти Сережа. Мужчин и доктора Лиза Оболенская и я зовем только, когда нужна физическая сила.

Измучены мы все. Щуровский удивительно умный доктор. И какое самопожертвование, жить здесь, теряя громадные доходы практики, и не брать ни гроша. Все доктора лечат и дежурят безвозмездно.

Сухотины меня радуют, все ласковы и простодушны.

О своем душевном состоянии еще ничего не могу рассказать. Пережила *очень много*. Страх остаться одинокой, раскаяние за все свои слабости и проступки перед мужем в течение почти 40 лет супружества — воспоминания молодых лет — все нахлынуло с страшной ясностью и болью, теперь вся живу, чтоб облегчать всё мужу в его болезни. Целую вас нежно, моя голубка. Ваша С. Толстая.

19 февраля 1902.

Милая Маруся. <...>

У нас все плохо еще. Лежит и лежит бедный Лев Николаевич, слабый, худой. Всякий день его лихорадит: утром 36 и 1, вечером 37 и 5. Впрыскивают камфару, а завтра начнут опять впрыскивать мышьяк.

Говорят доктора, что еще в правом легком не всё разрешилось и что лихорадка может быть и самостоятельно.

Измучились мы все ужасно. Я ложусь спать ежедневно в 5 час. утра, а всю ночь *сизжу*. Потом меня сменяет Лиза Оболенская. Спасибо ей, она очень помогает. <...>

Целую вас. Ваша любящая София Толстая.

27 февраля 1902 г.

Милая Маруся, если б вы знали, как мы все опять измучены и перепуганы. Вчера у Льва Николаевича опять поднялся жар, 38 и 3, пульс стал ужасен, частый, около 108 ударов в минуту, с перебоями. Доктора нашли, что воспаление пошло опять дальше в правом легком

и захватило плевру, и сегодня жар спал, стало 36 и 1, явился сон и аппетит, стал он пободрей. Но сердце, сердце совсем начинает отказываться. Дают дигиталис, впрыскивают камфару, а пульс все около 96-ти, да еще с переборами. Один доктор говорит, что дело плохо, другой говорит, что наверное выздоровеет, третий все молчит и энергично лечит.

Какую мы сегодня с Сережей вдвоем ночь провели! Ужас! Сережа все сидел; даже не прилег до 7 час. утра. Я дежурила до 6-ти час. утра. Раньше половины пятого утра я никогда не ложусь спать. Потом меня сменяет Лиза Оболенская или Таня. Они чередуются через ночь, я же ежедневно сижу. Это физическое утомление притупило во мне даже горе. Являются минутами только желания или согреться, дрожишь и от нервности и от холода, или хоть на минуту положить голову на подушку, или прислонить наболевшую от поднимания больного Льва Николаевича спину. А иногда нападает отчаяние, плачешь, плачешь, пока тут же заснешь с кошмарами.

Трудное переживаем мы время, милая Маруся. Не горевать, не думать о самом страшном — невозможно. А распусться тоже нельзя, надо бодро ходить за больным и не показывать ему ни усталости, ни горя.

<...> У Михаила Сергеевича Сухотина умерла сестра. Везде горе. Насчет арестов⁶⁹ тоже печально. Мне пишет из Парижа М. Н. Муромцева⁷⁰, что там речь говорил кто-то, и о России такого мнения во Франции, что русское правительство очень слабо и если б общественное мнение было сильнее, то оно не допустило бы, например, такого отношения к Толстому, который составляет явление вековое, как гений, мыслитель и пророк. Беспокойство по случаю грубого произвола правительственных лиц чувствуется и здесь, и везде. Но зато недовольство растет во всех классах такое сильное, что страшно делается. Узнала я, что нашего тульского губернатора Зиновьева⁷¹ назначили товарищем министра внутренних дел, и порадовалась: он честный и умный человек.

Приехал из Ялты доктор, иду вниз. Ах, Маруся, как всё страшно, как уж не хочется ничего расспрашивать у этих докторов. Вчера положили мушку, сегодня компресс. Но главное сердце и сердце; ведь уже 73 1/2 года. И какая энергия все-таки. Сегодня спросил газеты; просмотрел их сам, но скоро устал. Сам просит лекарство, сам смотрит градусник. Сегодня говорит: «Я все ждал, теперь решил ничего не ждать, что есть сейчас, то и есть». А хочется ему жить ужасно, и от этого бессилия дать ему жизнь — еще тяжелее.

Целую вас, моя милая, нежно.

Ваша всей душой С. Толстая. <...>

7 марта 1902 г. Таврической губ. почт. ст. *Кореиз*. Гаспра.

Милая Маруся, сегодня пишу вам письмо с большой просьбой. Послезавтра уезжает от нас Иван Моисеич⁷², доктор, который раньше жил у Сухотиных, а теперь приезжал по нашей просьбе из Харькова походить за больным Львом Николаевичем. Лиза Оболенская, которая так много помогала мне и дежурила после 4-х часов ночи, — тоже уезжает. Остаемся мы вдвоем с Сережей, что совершенно непосильно. Мои силы совсем истощились; я больна, измучена, исхудала, не меньше того, как после *своей* болезни, нервно, и просто хожу и шатаюсь. Вы ахнете, когда меня увидите; сразу на 10 лет постарела.

Но это всё лишние жалостные слова, чтоб подбодрить вас исполнить мою просьбу. А она состоит в том, чтобы найти нам доктора для постоянного житья у нас, хотя бы до осени. Доктор этот должен быть приятный человек, порядочный и любящий Льва Николаевича, т. е. не противник его взглядам. Цена — 100 рублей в месяц. Это платит Чичерина⁷³, Самарины⁷⁴ и многие другие.

Просили мы Дунаева и Буланже, но они очень занятые люди, и я чувствую, что ничего не сделают. Слышала я, что Анна Александровна Горяинова⁷⁵ всякий год берет земского врача, это Татариновы⁷⁶ говорили; так спросите ее пути для поисков врача. Обязанность врача будет состоять в том, чтобы ночью поднимать Льва Николаевича, следить за его пульсом, температурой, за тем, нет ли пролежней и пр. Класть компрессы, ставить клизмы, следить за пищей. Все это делал живший теперь врач.

Дорога сюда на наш счет, но прежде чем посылать, надо нам написать и с Дунаевым переговорить, а то двух сразу пришлете.

Надеюсь, что вы вернулись из деревни. Теперь и у вас весной запахнет. А здесь ясно, но холодно, 2 градуса тепла, а то всё было около 4-х гр. мороза. Я, впрочем, никуда *никогда* не хожу, времени нет и охоты нет, да и нездорова. Здесь вообще все время все больны. Теперь Таня и Маша — обе нездоровы. То кишечные расстройства, то адские головные боли; даже прислуга вся больна. Приедем ли живые в Россию, неизвестно. Лев Николаевич все лежит, все еще хрипы в легких, температура держится от 35 и 8, до 36 и 7 за эти дни. Но сердце легко возбудимо, и сегодня мы очень испугались, вдруг пульс дошел до 108 ударов в минуту. Но после сна это прошло и стало опять 88—90. Долго ли пролежит Лев Николаевич, неизвестно; он очень слаб и ночи не спит, и это мучительно и для него и для нас. Я два месяца не раздеваюсь уже почти, все члены болят от подъемов тяжелого больного, а голова ошалелая, уж ничего не сознаешь, не думаешь, точно машина.

Простите за унылое письмо, которое пишу ночью. Слышу про-
снулся Лев Николаевич. Целую вас, моя милая, напишите о себе
и друзьях. Нежно любящая вас С. Толстая.

25 марта 1902 г. Таврич. губ. почт. ст. *Кореиз*. Гаспра.

Милая Маруся, я что-то давно вам не писала и мне стало скуч-
но. Приехал вчера вечером Андрюша, но мало мне про вас расска-
зал. <...> У нас жизнь тянется однообразная и трудная, и не предви-
дится конца того положения, в котором мы живем теперь. Болезнь,
воспаление легких, прошла, но прежние недуги желудочно-кишечные и
ослабление сердца остались и стали хуже, и потому поправление идет
крайне медленно. Несколько дней сажали Льва Николаевича в катаю-
щееся кресло и возили из одной комнаты в другую. Но сегодня он опять
не хочет оставлять постель, лежит слабый от бессонницы. Не спал же
оттого, что вчера неводержно (старая привычка) ел, заказал себе греч-
невую кашу, и всю ночь болел живот и ноги. Я терла, терла ему ноги, до
дурноты. Ведь 3-й месяц я не сплю до 5-го часа и так ошалела, что ни
мысли, ни желаний — ничего во мне не осталось. Вся, и физически,
и морально, — я выдохлась; вы удивитесь, на что я стала похожа. <...>

Боюсь, что мы и в мае не уедем: это будет ужасно, если придется
жить здесь долго; а всё может быть: с слабым сердцем не повезешь
большого, опасно. <...>

Вчера Саша и все ездили большой кавалькадой и в 5-ти экипа-
жах — в Алупку: Мартыновы, Дьяков, Мансуров, 2-е Кочубей, Не-
хлюдов, Шереметевы⁷⁷, Сухотины и пр. Потом пили чай у Тани.
Я стараюсь Сашу развлекать, но это трудно. Целую вас нежно, ми-
лая Маруся <...> Любящая вас С. Толстая.

11 апреля 1902 г.⁷⁸

Моя милая Маруся, желаю вам радостно и здорово провести
праздники. <...> Лев Николаевич потихоньку поправляется, сидит
в кресле, но раньше самого конца мая мы отсюда не выедем, по сло-
вам докторов. Целую вас нежно. У нас больны Саша, Коля, Маша.
Погода холодная, хуже России. Прощайте. Любящая вас С. Толстая.

18 апреля 1902 г.

Милая Маруся, получила два письма от вас, и мне стало совест-
но, что я вам не написала подлиннее письмо. <...> Я о вас слыша-
ла от Мити Олсуфьева, который говорил, что вы ему давали мои

письма читать и он ими восхищался. Сережа очень рад приезду двух Олсуфьевых⁷⁹ и Всеволожского⁸⁰ и с ними почти не расстается. Вчера мы все были в концерте Гольденвейзера в Ялте, но я стала так слаба и нервна от утомления, что устала страшно от этой поездки. Но Гольденвейзер играл хорошо, и ему очистилось 200 рублей, чему он очень рад.

Приехал и Количка Ге⁸¹, и теперь опять меня посылают в Москву по делам, и Количка, Сережа, Маша, Коля, Саша, Наташа и Жули будут без меня ходить за Львом Николаевичем, а молодой врач Никитин⁸² следить за здоровьем. <...> Лев Николаевич поправляется, ходит с палочкой по комнатам, и только ждем тепла, чтоб его вывести на воздух, на солнце. Но у нас всё холод, было 4, а теперь 6 гр. тепла, 8 дней была буря, дул северный ветер, я думала, что с ума сойду от этого ветра и шума. По случаю холода и Андрюша с семьей не уехал, и теперь собирается послезавтра, 20-го числа. Саша часто хвораёт, больше всё кишками; теперь у ней невралгия руки и плеча. Она и Наташа затосковали совсем последнее время по России и даже ревут иногда. Жули тоже скучна, видно, весна, которую, впрочем, здесь не чувствуешь, на всех грусть нагнала. Я утешаюсь тем, что в свободные часы играю; учу теперь второй скерцо Шопена, чудо как хорош, точно мне всю мою душу иллюстрирует звуками этот прелестный композитор — Chopin.

Хорошо бы вас повидать, Марусенька, и приласкать вас. Целую вас крепко. Любящая вас С. Толстая.

8 мая вечер. 1902 г.

Милая Маруся, у нас очень, очень плохо. Вернулась я 1-го мая, а 3-го Лев Николаевич опять захворал. У него сделалась инфлуэнца и осложнилось кишечным заболеванием, т. е. сильным поносом. Сейчас жар 39, пульс 100 с перебоями, силы падают, и мы все в ужасной тревоге. Трудно вынести еще тяжкую болезнь после уже перенесенной долгой и тяжелой болезни. Пожаайте о нас и помолитесь.

Спасибо вам, моя милая подружка, за помощь в Москве, за вашу любовь и участие.

Любящая вас С. Толстая.

8 июня 1902. Гаспра.

Ну вот, милая Маруся, назначили мы день отъезда нашего отсюда на 15 июня. Едем до Севастополя пароходом, оттуда в вагоне-салоне, специально присланном по распоряжению министра путей сообщения для Льва Николаевича. Приедет за нами Буланже, потом сопутствует

доктор Никитин и управляющий здешний до Севастополя. Затем Саша, Жули и я. Приведет ли Бог уехать, а пора, хотя теперь здесь удивительно хорошо. Погода жаркая, светлая, ночи меня приводят в восторг своей красотой. Вот и сейчас сижу наверху пишу, а в окно видно далекое светлое небо с полной луной, которая так щедро разлила свой голубовато-белый свет и по небу, и по морю, которое блестит, как посеребренное. Тихо, красиво и так везде картинно, что я эти дни расхрабрилась и всё езжу верхом. Ездила в Орианду — 14 верст взад и вперед; сегодня с Сашей в Алупку по чудесным, очень покойным дорогам, так что и усталости не чувствую. Хочу покупаться эти дни в море, чтоб и это испытать. Вечером завтра у нас здесь, в читальне, концерт.

Был и в Алупке концерт, пела Цветкова⁸³ при луне на большой Львиной террасе⁸⁴. Странное это производило впечатление; только публика какая-то дикая, кричала и шумела неистово и портила поэтическое настроение концерта. Саше здесь стало нравиться и не хочется уезжать, а чувствуется, что надо ехать, не все же тут жить.

Как живете вы, милые две сестрицы — Саша⁸⁵ и Маруся? <...> Кто же были ваши гости? Вы не писали, а только радовались, что они уехали.

Я тоже чуждых мне гостей не люблю, их здесь, к счастью, мало. Дома, в России, это скучно — чуждые посетители. Вообще жизнь будет серой и трудной с хозяйством, делами и проч. Но надо же когда-нибудь домой. Лев Николаевич поправляется быстро, и ехать ему разрешено.

Целую вас двух и деток и прошу не забывать любящую вас

С. Толстую.

17 июня 1902. Гаспра.

Милая Маруся <...> Мы все еще в Крыму, задержались сначала по случаю холодов в России, а теперь больна Саша инфлуэнцей, до 40 гр. жар. Сегодня ей лучше, и надеемся в конце этой недели все-таки выехать. Но и в Ясной не весело: у Маши опять в животе мертвый ребенок, которого она должна родить в Ясной Поляне, что и Льву Николаевичу и всем нам не очень весело. Потом черви съели все сады, хозяйство идет без нас Бог знает как, издание надо печатать⁸⁶, дел набралось ужас! И дорога теперь предстоит для всех нас тяжелая. <...> Лев Николаевич поправляется, но худ и слаб еще. Целую вас, милая Маруся. <...>

Любящая вас С. Толстая.

3 июля 1902 г. (Ясная Поляна)

Милая Маруся, вчера хотела вам писать, но не успела. <...> Скорблю, что вас долго не увижу, всё уехать боюсь от своих немощных. <...>

Лев Николаевич все слаб, худ, пьет кумыс и слишком много пьет. Боюсь ужасно за его здоровье, так как наше русское лето оказалось еще хуже крымского.

Вообще на душе тревожно, неустойчиво, так как всего боишься и не знаешь, что будешь делать не только через два месяца, но через два дня. Боюсь, что нас опять угонят доктора-дураки куда-нибудь умирать.

А Лев Николаевич дома скучает, он привык гулять, кататься, двигаться, что можно было в Крыму и невозможно теперь в России. <...>

До свиданья. Любящая вас С. А. Толстая.

7 октября 1902.

<...> У нас живет четверо Оболенских, и по вечерам все, включая Сашу и доктора, играют по переменкам с Львом Николаевичем в винт. А я в это время ухожу вниз и играю на фортепиано.

Часто бывают гости. Сегодня был Горький и его приятель издатель Пятницкий⁸⁷. А то был редактор «Журнала для всех» — Мировлюбов⁸⁸.

Завтра ждем Гольденвейзера. <...> Лев Николаевич совсем здоров, все мы здесь пополнили и поздоровели, несмотря на дурную погоду.

С. Толстая.

5 ноября 1902 г.

Милая Маруся!

Что же Шаляпин, Гольденвейзер и Горький? Мы их ждем.

У Льва Николаевича все время болела печень, но со вчерашнего дня ему лучше. Холод такой, без снега; грохот колес по мерзлой земле, тяжесть лошадям и сухость воздуха для легких. Но мы не унываем, расчистили каток на пруду и катаемся все (и я) на коньках. Доктор наш учится и очень увлекается. Наташа Оболенская, Саша, все ее ученицы, девочки, и пропасть ребят, которым мы купили коньки. Саша говорит, что ей хорошо пока живется и потому в Москву ехать не хочется, она сильными руками таскает ведрами воду из проруби — и с наслаждением поливает каток. По утрам с Наташей учит девочек, а по вечерам переписывает отцу. Я много опять играю и вообще не вижу, как идет время. <...> С. Толстая.

14 января 1903 г.

Милая Маруся, получила я ваше письмо и рада, что вы немножко рассеялись, съездив в Тамбов. <...>

У нас всё без перемен: день лучше, день хуже. Сегодня Льву Николаевичу получше, он вышел в соседнюю комнату и много работал, диктовал и Маше, и Саше. А я в гостиной, рядом, разбирала и приводила в порядок его старые рукописи, написанные и не посланные им письма, письма и статьи чужие и прочие бумаги. Какое богатство людской мысли, сколько матерьялов! А жизнь близится к концу, и жаль такой жизни, и некому продолжать это богатое умственное существование... Все это я думала, приводя в порядок бумаги... <...>

Не знаю, когда попаду в Москву, а нужно мне по разным делам — и даже очень необходимо: и по новому изданию, и по денежным делам. Жду приезда Сережи, и жду, когда Лев Николаевич окрепнет немного. Теперь всё еще ночи сидим, ходим за ним по очереди. Я никуда не выхожу, даже гулять нет времени. То делами, то Львом Николаевичем занята, и столько писем приходится писать. Деятельна я очень: держу последнюю корректуру нового издания; хозяйничаю по Ясной и по дому. Связала два одеяльца внукам; скопировала акварелью три старинных портрета, разобрала рукописи и письма; убирала и записывала огромное количество вновь поступивших в библиотеку книг, — а главное, выхаживала больного Льва Николаевича.

Вчера села немного поиграть, и музыкальные звуки вызвали уж не успокоение, как раньше, а что-то больное, уязвленное и грустное. <...>

Ну и прощайте, моя милая Маруся, мой дорогой друг. Храни Бог вашу молодую жизнь. Целую вас нежно, София Толстая.

24 января 1903 г. Ясная Поляна.

Милая Маруся, мне тоже слишком мало было вас. Но на этот раз в Москве мне все не удавалось; надо было спешить с типографиями, с делами; а вместе с тем я была как-то и нервна, и бестолкова.

Музыка мне доставила большое успокоение и удовольствие на этот раз. Прекрасный был концерт филармонический, и вещи Аренского прямо взволновали и очень понравились. Ведь я на субботу осталась, мне только в субботу должны были дать ответы из типографий: пришлось отдать «Войну и мир» Мамонтову⁸⁹. И вот перед концертом состоялся и ожидаемый разговор, и привез мне ответ управляющий типографии Мамонтова. Тогда я, успокоенная отчасти, уехала в концерт, а оттуда на железную дорогу.

Льва Николаевича застала здоровым, настолько, что доктор выпустил его гулять. Но вместо одного раза он тихонько от меня и доктора вышел после завтрака гулять вторично (с ним был Коля) и, вероятно, и простудился, и переутомился. Вчера я, сама уже больная, у меня невралгия виска и все тело разломило, поехала с доктором навестить Андриюшу, он так трогательно был рад и благодарен, и Ольга тоже, и, вернувшись, застала, что у Льва Николаевича опять жар, 38 и 2; грипп ли это, как у всех в доме, или опять желудочно-кишечные задержки, Бог знает. Но ночь я с ним провела ужасную: он стонал, потом пот, тоска. До 6 часов утра я просидела, потом Сашу позвала. Уже перед этой ночью пришлось всю продежурить одной, но тогда он все-таки засыпал, а сегодня я прямо думала, что упаду, т. к. сама нездорова.

Какой жалкий, дряхленький стал Лев Николаевич! Просто сердце сжимается от боли и умиленного, нежного сожаленья, так всегда хочется, чтоб всем близким было хорошо, чтоб все были здоровы и счастливы! <...>

Целую вас, мой милый друг. Любящая вас С. Толстая.

4 марта 1903 г.

Милая Маруся, мне стало здесь дома очень совестно, что вы усмотрели случайно мои слезы и мое нервное состояние. Здесь я не плачу, а очень опять деятельна и не даю себе ни отдыха, ни размышления. То хозяйничаю, постройки затеваю, то фотографией занимаюсь, то книги убираю, то играю по 2 и по 4 часа подряд, и когда ночью или утрам остаюсь одна, то все молюсь. Давно я так хорошо, долго, горячо не молилась, как эти дни; я как-то одно время утратила эту способность уходить в высший, духовный мир всем своим существом; и теперь я иногда точно совсем ухожу от земли, потому что является полное забвение всего земного на один, два часа; и я все молюсь; и когда опомнюсь, то точно я где-то была, где удивительно хорошо и спокойно... Иногда мне кажется, что я схожу с ума или что просто скоро вся уйду туда, куда ухожу на короткое время душой.

Погода у нас удивительная. Солнце греет, блестит, радует, отражается в больших гладких ледяных зеркалах, образовавшихся везде в лощинах и низах на прежде растаявшей, а теперь замерзшей вновь воде. Птицы весенние прилетают и поют, небо голубое, тишина и неподвижность в чистом морозном и солнечном воздухе. Лев Николаевич, я, все домашние и гости — ежедневно катаются в двух, трех санях по прекрасным лесным дорожкам, и Льву Николаевичу, и всем это очень весело. Но сегодня он что-то захворал немного, язб, и боле-

ла печень. Я вечером нагнулась зачем-то к нему, а он поднял свою худую руку и так нежно, осторожно стал гладить меня по щекам, как ласкают детей. А вчера, когда мы катались, он выходил из своих санок и подходил к моим и спрашивал, хорошо ли мне, нравится ли катанье? Потом, на обратном пути, я села в его санки, он правил, заехал в яму и вывалил меня. Но я падаю легко, и все обошлось.

Целую вас крепко, нежно, по-матерински, а не как подружка. Так лучше. С. Толстая.

14 июня 1903 г.

Милая Маруся, я просто в отчаянии, что мое письмо к вам пропало. <...> Придется повторить всё, а именно: что Лев Николаевич очень здоров, даже слишком, потому что начались мои тревоги о его безумном поведении: он сегодня странствовал по лесам, и страшная гроза⁹⁰ его настигла и ливень. Он спаслся в какой-то избушке, поздно вернулся, его ездили искать и не нашли. Саша верхом с кучером ездил, и все были в большой тревоге.

А то взял Оничку Денисенко⁹⁰ гулять, заблудился в Засеке и проходил часа четыре. И я и беспокоюсь и злюсь иногда. <...>

Гостей бывает много, но мало приятных, и вообще я не могу всей душой радоваться, как бы то следовало, на жизнь. <...>

Любящая вас сердечно С. Толстая.

31 августа 1903 г.

Милая Маруся, и мне было очень, очень жаль, что вы не были с нами 28 августа. Съехались все мои дети, и кроме Сони, Лины⁹¹ и Михаила Сергеевича вся семья была в сборе. Попросите Илью дать вам группу, снятую им в этот день со всех, очень хорошая. Были и навязчивые гости, испортившие семейный праздник, как например, явился чужой корреспондент Орлов⁹²: ему Лев Николаевич сказал, чтоб он позавтракал и уезжал, а он до ночи остался. Явился и Сергеенко, и Мария Ник. Муромцева, и Семенов⁹³, писатель-мужик, — и все эти господа были очень лишние.

Все-таки Лев Николаевич был очень весел и рад, что приехали все дети, шутил, смеялся; вечером сначала были гитары и балалайки, а Мар. Ник. громко и развязно подражала цыганкам — а я этого жанра не люблю, и мне стало грустно. Потом отдохнула на сонате Бетховена, балладе и Impromptu Шопена, сыгранных Гольденвейзером. Обедало в этот день более 30 человек, ночевало около 20-ти.

Сейчас у нас Таня, Маша с Колей, Вера Кузминская⁹⁴, Дора⁹⁵ с детьми, Абрикосов⁹⁶ и Юлия Ивановна. Много занимаюсь хозяйством, сажаю и подсаживаю всякие деревья; но сегодня ночью с погреба украли 2 1/2 пуда масла, и это досадно. Погода дивная, красиво, и я целыми часами бы жила в лесу, если бы могла оставить больных. А больны Дора и сегодня и вчера слег Лев Николаевич от ноги. Поехали верхами целое общество 29-го, и лошадь наступила Льву Николаевичу на ногу, и теперь ранка и опухоль и ступить нельзя; но ничего серьезного. <...>

Целую вас крепко, мой дружок.

Ваша С. Толстая.

27 декабря 1903 г.

Милая Маруся, или вы не получили моего письма? Сегодня получила ваше, и порадовалась, что вы здоровы. <...>

Сереза сегодня уехал в Петербург зачем-то, а я собираюсь в Москву с Сашей к первому представлению оперы Аренского⁹⁷; кажется, это будет 9-го января.

Вот было большое нам удовольствие: приезжала на сутки к нам Оленина-д'Альгейм⁹⁸ с мужем. Пела прелестно целый вечер, много, выразительно и художественно. И такая она сама милая, чуткая, умная женщина. С ней было и легко, и приятно, и содержательно. Аккомпанировал ей Гольденвейзер прекрасно, а на другой вечер и сам нам поиграл, но мало и вяло.

К нам, милая Маруся, приезжайте, когда хотите, всегда буду рада. Целую вас нежно и жду.

Ваш старый, усталый, но горячо любящий вас друг С. Толстая.

18 июня 1909 г.

Милая Маруся, вам Лева, верно, написал, что я была у Тани в Кочетах и потому не отвечала на ваше письмо так долго. Мы гостили у Сухотиных с Львом Николаевичем вместе девять дней; теперь он остался еще на неделю или больше, а я вчера вернулась. Тут и Лева, который скоро и надолго уезжает; тут и хозяйство, и дела, да и не умею я долго жить праздно, привыкла быть деятельна. Обе Тани прелестны, ласковы, милы и теперь здоровы. А сколько страха и огорчения пережили мы с дифтеритом маленькой Танюшки⁹⁹! Теперь она цветуща и мила в своей прелестной обстановке. Таня ей всю комнату отделала вновь: всё белое: и пол, и шкапы, и вся мебель; только кое-где синие узоры.

Ничем я не занимаюсь, что люблю: ни музыкой, ни писаньем моих записок, занимаюсь ненавистным хозяйством, вырубаю пропасть лишних кустов и ветвей, которые глушат, держат сырость и затемняют вид со всех сторон. Какое скучное, дождливое и темное лето! Солнца нет, купаться не начинали, везде болото, посевы огородные три раза смывало.

Были у нас интересные посетители: Мечников¹⁰⁰, Генри Джордж-сын¹⁰¹, балалаечник Трояновский. Всякий по-своему интересен. <...> А музыку они нам доставили очень приятную. Жена Пастернака¹⁰² играла разные сонаты с скрипачом Могилевским¹⁰³ и было очень хорошо и интересно. Но это уже давно; а недавно нас прельстил своей игрой балалаечник Трояновский. Играет на балалайке удивительно.

<...> Желаю вам большего счастья и целую вас нежно впредь до нашего свиданья. Буду вас ждать с радостью и нетерпением.

Ваша С. Толстая.

16 августа 1909 г.

Получила я от своей милой Маруси письмо, полное добрых чувств, и сейчас же мне хочется вам отозваться и заочно поцеловать вас. Очень жаль было, что вы уехали, и я почувствовала себя более одинокой и без той постоянной заботы, которую вы мне оказывали.

Сейчас гостила у нас Зося Стахович¹⁰⁴. Вот человек, любящий все радости жизни и умеющий ими пользоваться. Ездит почти всякий день с Львом Николаевичем верхом; по вечерам устраивает винт; просила Гольденвейзера ей поиграть из «Карнавала» Шумана, и сегодня он обещал ей играть. Весела, игрива и мила, несмотря на свои 46 лет. Прямо завидно. А я опять вдалась в тоску, все думаю о смерти, ничего не мило, всё беспокойно, грустно и тревожно, и все хочется плакать. <...>

Погода сухая, жаркая и тихая, ночи лунные прелестны, Лев Николаевич здоров и тоже весел и даже игрив. Неприятности, которые ему хотели делать, — его не коснулись, а точно еще подбодрили. Да, я часто думаю, что гнетущее влияние Черткова¹⁰⁵ и его окружающих — подавляли настроение Льва Николаевича, хотя и безотчетно. Саша с Варварой Михайловной¹⁰⁶ и Парасей Ге¹⁰⁷ все ходят за грибами и стараются помогать отцу. От Гусева с дороги письма; в Туле с ним обратились ужасно. Посадили в темный карцер, ругались над ним всячески; а про его ссылку прокричали всюду, даже за границей. <...>

Любящая вас С. Толстая.

- ¹ Сергей Львович Толстой (1863—1947), старший сын Толстого.
- ² Татьяна Львовна Толстая (1864—1950), старшая дочь Толстого.
- ³ Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), пианист, профессор Московской консерватории, друг семьи Толстых.
- ⁴ Илья Львович Толстой (1866—1933), сын Толстого.
- ⁵ Варвара Валериановна Нагорнова (урожд. Толстая; 1850—1922), племянница Толстого.
- ⁶ Софья Николаевна Толстая (урожд. Философова; 1867—1934), жена И. Л. Толстого.
- ⁷ Александра Львовна Толстая (1884—1979), младшая дочь Толстого.
- ⁸ Анна Ильинична Толстая (1888—1954), дочь И. Л. Толстого, внучка Толстого.
- ⁹ Кочеты — имение Сухотиных М. С. и Т. Л. в Тульской губернии.
- ¹⁰ Имение Телятинки в трех верстах от Ясной Поляны.
- ¹¹ В письме от 14 июля 1901 г. из Сан-Блазьена М. А. Маклакова передавала рассказ своей знакомой О. А. Талызиной, которая видела в Дармштадте «выставку всемирную, где выставлен бюст Л. Н. работы Трубецкого. Студенты из Карлсруэ, Дармштадта и Мюнхена, русские студенты, попросив разрешение у дармштадтского герцога, украсили бюст венками и лентами с трогательными подписями, из которых одна, которую она запомнила, была следующая: „Великому борцу за гуманность и свободу духа“. Смешно то, что герцог позволил оставить венки только до приезда русского царя, а там чтобы их убрали».
- ¹² Saint-Blasien — курортное местечко на юго-западе Германии, в Шварцвальде.
- ¹³ Симеиз — селение на южном берегу Крыма, курортное место.
- ¹⁴ Мария Львовна Оболенская (урожд. Толстая; 1871—1906), дочь Толстого, с мужем Николаем Леонидовичем Оболенским (1872—1934) и Татьяна Львовна Сухотина с мужем Михаилом Сергеевичем Сухотиным (1850—1914).
- ¹⁵ С детьми М. С. Сухотина от первого брака.
- ¹⁶ Андрей Львович Толстой (1877—1916), сын Толстого.
- ¹⁷ Московский дом Толстых в Долго-Хамовническом переулке (наст. вр. — ул. Льва Толстого, д. 21). Хамовники — в прошлом окраинный район Москвы.
- ¹⁸ Игумнова Юлия Ивановна (1871—1940), друг семьи Толстых, подруга Т. Л. Толстой, художница.
- ¹⁹ Кореиз — курортное местечко на южном берегу Крыма в Ялтинском уезде.
- ²⁰ Гаспра — татарская деревня на южном берегу Крыма в 12 верстах от Ялты; то же название носило имение графини С. В. Паниной рядом с этой деревней.

²¹ Байдары — Байдарские ворота, на перевале через горы по дороге из Севастополя в Ялту; отсюда открывается великолепный вид на южный берег Крыма и на море.

²² Л. Н. Толстой принимал участие в Крымской войне (1853—1856) и находился в Севастополе и его ближайших окрестностях с ноября 1854 г. по ноябрь 1855 г.

²³ Святловская Александра Владимировна (1855—1919), певица, педагог, в 1876—1887 гг. артистка Большого театра.

²⁴ Музей Севастопольской обороны, учрежден в 1895 г.

²⁵ Классен Карл Христианович, управляющий имением С. В. Паниной в Гаспре.

²⁶ Оболенские — Мария Львовна и Николай Леонидович.

²⁷ Сергеевко Петр Алексеевич (1854—1930), литератор, частый гость в доме Толстых.

²⁸ Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница, критик, публицист.

²⁹ 6 сентября 1901 г. в Харькове на вокзале была устроена манифестация в честь Толстого.

³⁰ Нарышкина Мария Антоновна, подруга М. А. Маклаковой, знакомая Толстых.

³¹ Речь идет о супругах Гейден Михаиле Федоровиче и Софье Михайловне.

³² Самарина Софья Дмитриевна, приятельница Т. Л. Толстой, дочь публициста Д. Ф. Самарина, по выражению Л. Н. Толстого, «светская барышня».

³³ Оболенский Алексей Дмитриевич (1855—1933), товарищ министра внутренних дел в 1897—1901 гг.; в 1902—1905 гг. — товарищ министра финансов; в 1905—1906 гг. — обер-прокурор Святейшего Синода; член Государственного Совета.

³⁴ Ностиц Григорий Иванович (р. 1868), знакомый Толстого; офицер кавалергардского полка, окончил Академию Генерального штаба.

³⁵ Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), музыкальный критик, педагог, учитель музыки С. Л. Толстого.

³⁶ Великий князь Константин Константинович Романов (1858—1915), поэт, печатавший свои сочинения под инициалами К. Р.; внук Николая I.

³⁷ Капнист Дмитрий Павлович (1879—1926), граф, знакомый Толстых; сын попечителя Московского учебного округа П. А. Капниста.

³⁸ Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930), скрипач, дирижер.

³⁹ Миклашевский <Н. А.?, пианист.

⁴⁰ Статья Л. Н. Толстого «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1901—1902).

⁴¹ Масловы Федор Иванович (1840—1915), юрист, и его сестры Анна, Варвара и Софья Ивановны, московские знакомые Толстых.

⁴² Ольга Константиновна Толстая (урожд. Дитерихс; 1872—1951), жена сына Толстых А. Л. Толстого с дочерью Софьей Андреевной Толстой (1900—1957).

⁴³ Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), князь, декабрист, троюродный дядя Толстого. Толстой был знаком с С. Г. Волконским, его книга «Записки декабриста» (изд. 2-е, 1902) сохранилась в личной библиотеке Толстого в Ясной Поляне.

⁴⁴ Волконский Петр Петрович (1872—1957), светл. князь, знакомый Толстых.

⁴⁵ Оболенская Елизавета Валериановна (урожд. Толстая; 1852—1935), племянница Толстого, дочь М. Н. Толстой.

⁴⁶ Лошадь М. А. Маклаковой.

⁴⁷ Никольское-Вяземское, имение С. Л. Толстого в 100 верстах от Ясной Поляны.

⁴⁸ Стахович Михаил Александрович (1861—1923), друг семьи Толстых, депутат I Государственной думы, член Государственного совета; орловский помещик, земский деятель. Имеется в виду речь М. А. Стаховича в Государственной думе.

⁴⁹ Речь идет о композиторе С. И. Танееве (1856—1915).

⁵⁰ Конюс Георгий Эдуардович (1862—1933), композитор, музыковед, педагог; ученик С. И. Танеева. В конце января 1899 г. Г. Э. Конюс, преподаватель Московской консерватории, на подписном листе для поднесения подарка директору консерватории В. И. Сафонову написал: «Ввиду таких-то статей закона (выписка о запрещении подносить начальству подарки) не могу принять участие в подписке» (цит. по: Т а н е е в С. И. Дневники. М., 1982. Т. 2. С. 13). В этой конфликтной ситуации (дело дошло почти до дуэли Конюса с одним из преподавателей) С. И. Танеев одобрил протест Конюса.

⁵¹ Ширкова, знакомая Толстых (вероятно, из семьи богатых харьковских помещиков Ширковых).

⁵² Николай Михайлович Романов (1859—1918), великий князь, историк, знакомый Толстого.

⁵³ Раевский Григорий Иванович (1875—1905), сын приятеля Толстого И. И. Раевского.

⁵⁴ Квитко, подруга Т. Л. Толстой.

⁵⁵ Сухотин Алексей Михайлович («Аля»; 1888—1942), сын М. С. Сухотиной от первого брака.

- ⁵⁶ Речь идет об И. Л. и А. Л. Толстых, имения которых находились в Калужской губернии.
- ⁵⁷ Сергей Михайлович Сухотин (1887—1926), сын М. С. Сухотина от первого брака.
- ⁵⁸ Пешкова Екатерина Павловна (1867—1965), жена А. М. Горького.
- ⁵⁹ Альтшуллер Исаак Наумович (1870—1943), ялтинский врач.
- ⁶⁰ Дьяковы Алексей и Дмитрий Дмитриевичи, приятели сыновей Толстых.
- ⁶¹ Наталия Леонидовна Оболенская (р. 1881), внучатая племянница Толстого.
- ⁶² Пьеса А. Н. Островского (1823—1886).
- ⁶³ Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929), петербургский врач.
- ⁶⁴ Щуровский Владимир Андреевич (1852—1939), московский врач.
- ⁶⁵ Лев Львович Толстой (1869—1945), сын Толстого.
- ⁶⁶ Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), последователь и близкий знакомый Толстого.
- ⁶⁷ Буланже Павел Александрович (1865—1925), единомышленник Толстого; автор книги «Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах».
- ⁶⁸ Константин Александрович Иславин (1827—1903), дядя С. А. Толстой.
- ⁶⁹ Сообщения в газетах.
- ⁷⁰ Климентова-Муромцева Мария Николаевна (1857—1946), певица, в 1880—1889 гг. артистка Большого театра; знакомая С. А. Толстой.
- ⁷¹ Зиновьев Николай Алексеевич (1839—1917), тульский губернатор в 1887—1893 гг., позднее сенатор, член Государственного совета.
- ⁷² Сивицкий Иван Моисеевич (р. 1866), земский врач Новосильского уезда Тульской губернии и домашний врач Сухотиных.
- ⁷³ Чичерина Александра Алексеевна (1845—1920), жена Б. Н. Чичерина, близкого знакомого Толстого.
- ⁷⁴ Самарины — семья Самарина Дмитрия Федоровича, знакомого Толстого.
- ^{75, 76} А. А. Горяинова, Татариновы — знакомые Толстых.
- ⁷⁷ Приятели и знакомые сыновей и дочерей Толстых.
- ⁷⁸ Поздравительная открытка с праздником Пасхи.
- ⁷⁹ Олсуфьевы Дмитрий Адамович («Митя»; 1862—1930) и Михаил Адамович (1860—1918), приятели С. Л. Толстого, сыновья А. В. Олсуфьева, близкого знакомого Л. Н. Толстого.
- ⁸⁰ Всеволожский Михаил Владимирович (1860—1909), приятель С. Л. Толстого.

⁸¹ Ге Николай Николаевич («Количка»; 1857—1940), сын художника Н. Н. Ге, друг семьи Толстых.

⁸² Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960), первый домашний врач Толстого.

⁸³ Цветкова Елена Яковлевна (1872—1929), певица, артистка Московской русской частной оперы.

⁸⁴ Одна из террас Большого Алушкинского дворца графов Воронцовых, украшенная мраморными фигурами лежащих львов.

⁸⁵ Маклакова Александра Алексеевна, сестра М. А. Маклаковой.

⁸⁶ С. А. Толстая готовила к печати новое, 11-е собрание сочинений Л. Н. Толстого (последнее прижизненное издание).

⁸⁷ Пятницкий Константин Петрович (1864—1938), литератор, основатель и один из руководителей издательства «Знание».

⁸⁸ Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939), литератор, редактор и издатель «Журнала для всех».

⁸⁹ Мамонтов Анатолий Иванович (1840—1905), владелец заведений книжной торговли и типографии в Москве; здесь печатались сочинения Толстого.

⁹⁰ Денисенко Онисим Иванович («Оничка»; 1894—1918), сын Е. С. Денисенко, племянницы Толстого.

⁹¹ Александра Владимировна Толстая (урожд. Глебова; 1880—1967), с 1901 г. жена М. А. Толстого.

⁹² Орлов Константин Владимирович (ум. 1921), корреспондент газеты «Русское слово».

⁹³ Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922), крестьянский писатель, частый посетитель Ясной Поляны.

⁹⁴ Кузминская Вера Александровна (1871—1940), дочь Т. А. Кузминской, племянница С. А. Толстой.

⁹⁵ Толстая Дора Федоровна (урожд. Вестерлунд; 1878—1933), жена Л. А. Толстого.

⁹⁶ Абрикосов Хрисанф Николаевич (1877—1957), муж Н. Л. Абрикосовой, внучатой племянницы Толстого; единомышленник Толстого.

⁹⁷ Опера А. С. Аренского «Наль и Дамаянти».

⁹⁸ Оленина-д'Альгейм Мария Алексеевна (1869—1970), камерная певица.

⁹⁹ Сухотина Татьяна Михайловна (в замуж. Альбертини; 1905—1995), дочь Т. А. Толстой, внучка Толстого.

¹⁰⁰ Мечников Илья Ильич (1845—1916), ученый, биолог, профессор, почетный член Петербургской Академии наук; знакомый Толстого.

¹⁰¹ Джордж Генри-сын (1862—1916), сын Джорджа Генри, американский журналист.

¹⁰² Пастернак Роза Исидоровна (урожд. Кауфман; 1867–1940), жена художника Л. О. Пастернака, пианистка.

¹⁰³ Могилевский Александр Яковлевич (1885–1955), скрипач, педагог; гостил в Ясной Поляне.

¹⁰⁴ Стахович Софья Александровна («Зося»; 1862–1942), близкая знакомая семьи Толстых, сестра М. А. Стаховича.

¹⁰⁵ Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), друг и последователь Толстого.

¹⁰⁶ Феокритова Варвара Михайловна (1875–1950), подруга А. Л. Толстой, переписчица Толстого.

¹⁰⁷ Ге Прасковья Николаевна («Парася»; 1878–1959), дочь Н. Н. Ге-сына.

ВОСПОМИНАНИЯ Н. И. ЦВЕТКОВА

Публикация А. М. Кураковой

Николай Илларионович Цветков (1904–1993) — родился и вырос в Ясной Поляне, учился в деревенской церковноприходской школе, затем в школе-мастерской, организованной А. Л. Толстой для подростков, работал столяром-краснодеревщиком, учился на рабфаке, закончил Ростовский архитектурно-строительный институт. Почти всю жизнь Н. И. Цветков посвятил педагогической деятельности: 35 лет он проработал в яснополянской средней школе им. Л. Н. Толстого учителем черчения и рисования и параллельно преподавал в Тульском горном техникуме, школе рабочей молодежи, техническом училище. Будучи на пенсии, Николай Илларионович восемь лет был машинистом насосной подстанции в Ясной Поляне.

Н. И. Цветков писал свои воспоминания в 1960-е — начале 1970-х годов. Это четыре небольшие рукописные тетради, на одной из которых посвящение: «Для внуков и правнуков». Несмотря на личный и несколько отрывочный характер воспоминаний, в них содержится много любопытных деталей и подробностей яснополянской жизни 1910–1920-х годов. Рассказывая о своем детстве и юности, о первых жизненных впечатлениях, чувствах, переживаниях, автор одновременно размышляет о прожитой жизни. Воспоминания о прошлом иногда перемежаются с дневниковыми записями конца 1960-х — начала 1970-х годов, где Н. И. Цветков пишет о своих детях, внуках, о повседневных делах и заботах.

Публикуемые воспоминания являются наиболее полными*. Однако текст приводится с небольшими сокращениями: выпущены отдельные отрывки, имеющие сугубо личный характер. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и автор публикации выражают благодарность сыну Н. И. Цветкова — Евгению Николаевичу Цветкову — и его семье за предоставленные материалы.

Начиная с пятилетнего возраста я помню все происшествия. Помню, как родился брат Миша, он с 1907 г., мне было 3 года. Помню свою хорошую бабушку по матери — Прасковью Ивановну¹. Она мне много говорила о прошлом. Жили они на мельнице, которая стояла на Воронке, за музейным полем. <Рассказывала> как ее отца на конюшне секли розгами (25 ударов) за 5 яблок,

* Отрывок из воспоминаний Н. И. Цветкова был опубликован в щекинской газете «Знамя коммунизма», № 174 от 8 сентября 1984 г.



Н. И. Цветков. Тула.
Фотография 1963 г.

которые он взял в барском саду, когда сторожил его. Фамилию я носил матери — Цветков. Фамилия отца была Попов, а т. к. мой отец² вошел в дом матери (в зятя) из Ясенков, то так и закрепилась фамилия матери за нами всеми — Цветковы. Я спрашивал у бабушки своей Прасковьи, как произошла наша фамилия. Она рассказала: ее дедушка часто пел песню «Мой аленький цветочек лазоревый, голубой», и его так и прозвали — Цветочек, уж после за ним это закрепилось — Цветков.

На усадьбе в доме Кузминской Татьяны Андреевны³ Толстые устраивали елку на Рождество и всегда приглашали крестьянских детей, для чего отводили специально один какой-то вечер. Помню, и я был на елке.

В 1909 г. мать⁴ повела меня на «елку». Подошли мы к дому Кузминских — никого нет. Все дети уже вошли в дом и были у наряженной елки, которая стояла... на 2-ом этаже дома. Взрослых людей в дом не пускали, они ожидали в поварской дома Волконского⁵. Мама говорила мне: «Иди, Коля. По лестнице вверх — там увидишь». Я же не шел, т. к. боялся — тогда мне было 5 лет. В этот момент вышел из дома Л. Н. и спросил у мамы: «А этот мальчик почему не идет?» Мама ответила: «Он, ваше сиятельство, боится». Тогда

Л. Н. подошел ко мне, нагнулся и сказал: «Ну, чего ты боишься, садись ко мне на спину». Я обхватил руками шею Льва Николаевича, повис на спине, а Л. Н. подложил под меня свои руки и понес меня в дом на второй этаж по лестнице. Принеся меня к елке, вокруг которой стояли крестьянские дети, одетые в разноцветные рубашки и платья, Л. Н. спросил: «Куда тебя поставить?» — я указал соседскую девочку — Сашу Цветкову⁶. Он поставил меня в круг детей, взял за руки стоящих рядом с ним. Мы стали петь какую-то новогоднюю песенку, прохаживаясь вокруг красиво наряженной елки.

А в стороне, у входа в другую комнату, стояли гости и семейные Л. Н., смотрели на нас, разных ребятшек. Мы поиграли какое-то время у елки, посмотрели на зажженные на ней фонарики... и стали расходиться по домам. На прощанье нам, детям, Л. Н. Толстой давал каждому подарки. Помню, мне подарили снегурки-коньки и гостинцы: пастилу, жамки, конфеты, золоченые грецкие орехи и яблоки. Платочек, в который завертывались гостинцы, был с рисунками: петушками, зайцами, обезьянами, барабанчиками и др.

В детстве мне не раз приходилось встречаться с Л. Н. Толстым. Помню, как ходили в лес по ягоды или грибы, особенно под Грумонты⁷, в Толстовские елочки, за рыжиками. ...Затем ходили за ягодами за Воронку. Однажды набрали мы ягод и зашли на толстовскую купальню, которая стояла посредине реки Воронки. Подход к ней был из длинных досок с перилами. Тесовая, с полом и лавочками, внутри она имела отделение — ящик из теса с деревянным полом — для купания малышам — и мы там купались. А когда... пошли домой, нам повстречался Лев Никол. Толстой. Он шел купаться. Он был одет в длинную белую рубашку, босиком, без шапки, с полотенцем на плече и мылом в руке. Мы подошли к нему, поздоровались. Он нас спросил, чьи мы и как нас зовут. Мы ему ответили. Он сказал: «Знаю, знаю».

Как-то раз мать пошла (как она говорила) на барский двор продать грибы и взяла меня с собой. Когда мы подошли к большому дому, где стояло «дерево бедных», то увидели на площадке — люди играют в крокет. Среди них — Лев Николаевич. Поскольку я уже знал Л. Н., то, естественно, заинтересовался им. Хотелось знать, что это за игра и как Лев Ник. играет... Принцип игры напоминал принцип игры в бильярды. Л. Н. был в серой толстовке, сапогах. Мне казалось, что он среднего роста, подвижный и играет хорошо. Мать продала грибы на «белой кухне»... и мы пошли домой.

Однажды я пошел к отцу за огороды, где он пахал поле, и видел Л. Н. и его врача Душана Петровича Маковицкого⁸. Они ехали верхом на лошадях, с ними была белая небольшая собака со стоячи-

ми ушками и хвостом, закрученным кверху. Она бросилась бежать с лаем ко мне. Я напугался и закричал, а Л. Н. мне сказал: «Не бойся, мальчик, она тебя не тронет». Я... помню... был недоволен его ответом и подумал: ...крикнул бы на собаку, чтоб она сразу вернулась, тогда бы хорошо было... А еще барин.

Л. Н. до самой смерти был бодрым и жизнерадостным. Помню, как-то незадолго до смерти он ехал верхом на своем Делире по деревне. День был пасмурный, и дорога была грязная. Я стоял у своего дома и видел Л. Н.... и... еще подумал: старый, а как бодро сидит, барин — а одет, как крестьянин: серая поддевка, шапочка, похожая на поварскую, сапоги. Очень мне понравилась его лошадка Делир: стройная, головка маленькая, как точеная, ушки острые, сама кругленькая, ножки тонкие и хвост жиденький, идет — гарцует.

В детстве, когда мне было 6 лет, врач Толстого... сшивал мне иглой на правой щеке... сквозной прокол. Я кричал, а моя тетка Настя держала мою голову, это было без всякой заморозки. Операция проводилась в доме Л. Н. Толстого, в комнате справа у входа⁹.

Помню, когда хоронили Л. Н., был небольшой снег, погода пасмурная. Дома, кроме нас с бабушкой, из семейных никого не было, наши уезжали на свадьбу в деревню Ясенки. К нам пришли и попросились ночевать шесть барышень из Москвы... Бабушка их пустила. С ними была белая собака, которую они впрягли в салазки и посадили меня, шестилетнего мальчишку.

До революции Ясная Поляна была небольшой деревней. Начиналась она от сельской церковноприходской школы. В ней занимались в одно время 3 класса. Первый, второй и третий с одним учителем — Кудрявцевым Алексеем Афанасьевичем. Учитель был очень строгий. Помню, когда мы — ученики — приходили в школу утром к 8 часам, нам бросалась в глаза чистота класса. Полы чистые, парты длинные на 10 человек в два ряда, у иконы Спасителя всегда горела лампада, на стене портрет царя Николая. Круглая, обитая железом печка была горячей в зимний период. По приходе учителя в класс дети вставали, здоровствовались, или, вернее, приветствовали учителя, затем читали молитву стоя, обращаясь лицом к иконе. Затем задавались уроки всем по-особому: первому классу, средней группе и старшей... Приезжал иногда церковный священник на лошади, заходил к нам, а из нас человек восемь, в том числе и я, стояли столбом около печки за провинность или за невыполнение уроков. Учитель жил при школе через коридор, в маленьких комнатках, теперь на этом месте правление совхоза «Яснополянский»¹⁰.

По деревне дорога была немощеная, а поэтому весной и осенью всегда было грязно. Внизу, в конце деревни, от Ореховых¹¹, начинался овраг... до конца деревни... ближе к Толстовскому въезду. Его

надо было объезжать стороной. (Теперь это все сровнялось. Только дома, построенные далеко от дороги, напоминают об этом.) Дома... были больше деревянные и частично кирпичные, почти все крытые соломой за небольшим исключением. Надворные постройки плетневые, защищенные от холода и снега соломой. Ходили у самых окон. Около домов завалено было кучами хвороста и всегда стояли шалаши-погреба. В хозяйстве почти у каждого было по лошади, а у некоторых по две, корова, овцы, куры и пр. Воду брали из глубоких колодцев, теперь из многих сохранился один «кислый»¹². С 1923—1924 гг. деревня заметно стала преобразовываться. В 1924 г. подвели электроэнергию... в 1927 г. провели радио... в 1928 г. по деревне проложили шлаковую дорогу, постепенно убрали все соломенные крыши, у домов стали делать палисадники...

Крестьяне зимой занимались в Туле извозом. У нас в семье дедушка Яков Васильевич¹³ всегда работал извозчиком круглый год, а отец — Илларион Максимович — только зимой. Отец мой и дедушка ездили, как тогда говорили, на бирже легковыми извозчиками. Они имели: отец — двух лошадей выездных, а дед — свою упряжь, экипаж-пролетку и сани. Лошади и пролетки у них были хорошие. Я часто с отцом ездил в Тулу и жил там по несколько дней, ...дедушка всегда работал днем и стоял у Ряжского вокзала, а отец всегда ночью стоял на Посольской улице¹⁴, у соборного трактира, около колбасной Шамина. Помню, как в 1912 г. в трактире всегда пили чай, и как там обслуживали половые, как почтальоны предлагали газету «Правда». Помню, что ночью горели газовые фонари. По рельсам пассажиров возила конка, в гору по Киевской¹⁵ тянула тройка. В баню с дедушкой ездили в пролетке, а лошадь он путал во дворе на ул. Пятницкой¹⁶. Из Тулы в Ясную Поляну лошади всегда бежали с охотой и быстро. Особенно помню... красивого молодого жеребца Сынка, который не отставал от рысаков. Отец его продал за 4 сторублевки.

В 1914 г. началась Германская война. Мужчин призывали в армию. На призыв возили в Крапивну. Призывали и нашего отца, но он болел. После войны началась революция 1917 года и очень долго продолжалась. Жить стало тяжело, не хватало хлеба, соли, картофеля. Приходилось собирать дрова и возить в Тулу, чтоб обменять на соль. Воз березовых дров стоил фунт¹⁷ соли. Свободно дрова провезти в Тулу было нельзя, их отбирали... Тогда мы собирались человека три-четыре и на лошадях в два часа ночи ехали в Тулу по старой дороге (это через станцию Ясная Поляна)¹⁸, а там — кто куда. Мы с матерью больше возили в монастырь. С нами познакомились две молодые монашенки, они жили в одной маленькой келии. У них было чисто и тепло. Всегда они нас чем-нибудь угощали: либо чаем с хлебом, либо

еще чем, а мы им всегда оставляли 3—4 полена березовых дров. Через них мы находили покупателей. Помню, они мне подарили Евангелие.

Время тогда было очень голодное, а семья состояла из 8 человек: отец, мать, бабушка, нас 4 брата и сестра¹⁹. Собирали в лесу желуди и на своей мельнице, в простенке за печкой, мололи. Молоть открыто боялись. (Отбирали мельницу и штрафовали хозяина или забирали.) ...Вот так жили с 1917 по 1923 год.

Осенью 1922 г. из деревни Мясново (около Тулы) приехали два учителя — Иван Сергеевич Мельников²⁰ и Иван Дмитриевич Щепакин²¹. Они создали яснополянских ребятишек и предложили нам учиться. Была организована... в доме Волконского школа с ремесленным обучением на базе 5—7-х классов. Обучали столярному, слесарному, переплетному делу, резной обработке дерева, а позже кройке и шитью. Вначале нас было человек 13—14, затем количество выросло до 25—30. В 1923 г. мы, работая в мастерских, изготавливали разные поделки и устраивали выставки своих изделий. Выставки были и в Туле, в помещении Дома Красной Армии²². Я, помню, сделал на выставку резные рамки для портретов. Одну из них, с портретом (фото) Л. Н. Толстого, подарили в Губисполком Тулы.

Днем (с 9 часов до 2-х) мы занимались трудом, а после обеда занимались общим образованием. В доме Волконского в 1922 г. мы заняли помещение, где теперь помещается бухгалтерия, а затем прибавили еще левую половину. В правой половине находились коровы. В центре дома жили пастух с женой (его звали Иван Васильевич «пуля в лоб», ее — Ольга-скотница). У них же готовили корм скоту: пороссятам, телятам, коровам. Около входа лежало много коровьего навоза. Наверху, где теперь директорская, был амбар для хранения зерна.

Нам, учащимся, и учителям в мастерских бесплатно выдавался завтрак, обед и чай. Обед был больше из супа с мясом или грибами и каши, чай с сахаром или какао... Мы были очень довольны. Столярному делу обучал Мельников Иван Сергеевич, рисованию — Щепакин Иван Дмитриевич, затем Калачев Евгений Александрович²³, математику вели Змеева Мария Ивановна и Мельникова Варвара Викторовна²⁴, русский язык — Булгаков Вениамин Федорович²⁵, биологию — жена Е. А. Калачева — Мария Викторовна, зав. учебной частью был Хмелинин Александр Полиектович²⁶. Занятия проходили в Доме Волконского и бывшей чайной...²⁷, затем из чайной для общеобразовательных занятий мы перешли в бывший дом Ивана Лохмачева²⁸. В доме был клуб вечером, а днем занимались мы.

В 1922 г. А. Л. Толстая заключила с крестьянами договор по уходу за садами — 45 десятин на 3 года, на условиях — огородить колючей

проволоккой, сделать обрезку сучьев и побелку стволов, а также весной и осенью — окопку... Во время уборки урожая сад охраняли. Дежурство назначалось в разные уголки сада через три дня — на сутки. Убирали яблоки в два отдельных вороха, затем бросался жребий: какой ворох крестьянам, какой — Толстой. Урожаи были хорошие. Помню, что официально было выдано на дом по сто литров (в литре 16 кг), т. е. по 1600 кг. В деревне тогда было 100 домов... Деревня тогда получила 160 000 кг, и столько же Толстая. В один год! А в три?

В 1923 г. на собрании в деревне Ясная Поляна, в доме, где теперь почта, собрали крестьян и ставился вопрос насчет дороги от шоссе к башням музея. Мы возили с Косогорского завода шлак для дороги от шоссе до столбов. За работу нам выдали фураж для лошадей, по 5 фунтов на душу ландрину и по столько же яблочного повидла. На собрании выступал Петр Алексеевич Сергеевко и сама Александра Львовна Толстая. Ставился тогда же вопрос об отводе земли для школы на Кабацкой горе. Крестьяне долго спорили и не соглашались отводить одну десятину, как просили Сергеевко и Толстая, но потом уступили. И вот в 1923 г. на Кабацкой горе построили небольшую деревянную школу и назвали ее «Американкой». В ней мы занимались уже в 7 классе. ...Вскоре после этого правительство отпустило большие средства для постройки большой красивой двухэтажной школы. Ее открыли к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого в 1928 г.²⁹

Очень памятна была 13-я годовщина со дня смерти Л. Н. Толстого в «Американке». Как мы с увлечением убирали елками-гирляндами помещение... смотрели постановки и концертные выступления... Помню один интересный случай, когда мы учились в Доме Волконского, с нами часто на прогулку или на каток на Среднем пруду ходили Александра Львовна Толстая, врач Мария Александровна Абакумова³⁰, Иван Сергеевич Мельников, завуч Александр Полиектович Хмелинин. И мы, ребята, смело, ничуть не стеснясь присутствующих, катались и обращались друг к другу по-простому. Вот помню, я оскользнулся и присел крепко сиденьем на лед и сказал товарищу: «Ой, задницу больно». Толстая услышала и поправила меня, сказала, что это неприлично так говорить при других.

Были у нас салазки с рулевым управлением. И мы катались от кучерской по косогору прямо в пруд. Скорость была большая, часто сбивались с тропинки и падали на ходу. Иногда мы катались с А. Л. Толстой.

Опишу мои встречи с Кузминской Татьяной Андреевной³¹. Когда мы, дети, учились по художественной обработке дерева, нам предлагала дополнительные занятия Елена Сергеевна Денисенко³². Она

жила в большом доме Л. Н. Толстого с северной стороны, по соседству с парком и выходом из комнаты на балкон. Комнатка была маленькой и вся увешана мелкими фотографиями. Мы приходили с товарищем два раза в неделю, и нам с большим, как нам чувствовалось, удовольствием объясняла милая пожилая добрая женщина — Елена Сергеевна Денисенко. Рядом, через перегородку, в комнате жила и Татьяна Андреевна. Живая худощавая энергичная старушка. Она как-то спросила нас: «Кто из вас Никовка Цветков?» Я ответил ей, что это я. Тогда она спросила у меня, есть ли у меня дедушка и как его зовут. Я ответил, что моего дедушку звали Яков Васильевич, а брата моего дедушки — Николай Васильевич³³, но они умерли в 1917 г. Тогда она рассказала мне о дедушке Николае, который всегда ездил с ними на охоту, которую и описал Л. Н. Толстой в «Войне и мире», и которого они звали «Никовкой». Мы встречались с ней часто, но в этот раз Татьяна Андреевна почему-то обратилась ко мне с просьбой, чтоб я сделал ей несколько этикеток на грядки овощей, на которых написал бы: «лук», «морковь», «салат», «огурцы» и др. Я с удовольствием выполнил ее просьбу... затем она попросила построгать в ее комнате пол, где она разлила керосин (букву «р» она не выговаривала, и у нее получалось «кевосин», вместо «керосин»). Мы пошли с товарищем на занятия и прихватили с собой рубанок, а когда пришли к ней — увидели висевшую на двери круглую этикетку с надписью «я сплю». Я сказал товарищу, что пришли не вовремя, а он быстро, ничего не говоря, перевернул обратной стороной этикетку и тут же постучал, чему я удивился и даже ругнул его. После этого открылась дверь и навстречу нам вышла Татьяна Андреевна, посмотрела этикетку и, видя, что на ней ничего не написано, сказала: «А, это вы пришли, ну заходите».

Комната ее более просторная, чем Елены Сергеевны. Я обратил внимание на стол, где лежала тетрадь и ручка, видимо, она не спала, а что-то писала. Мы быстро постругали рубанком черное пятно пола — она поблагодарила нас. Сказав ей «до свидания», мы пошли домой. Следующий раз мы пришли с товарищем на занятия. Татьяна Андреевна вышла и позвала меня к себе, приподнесла мне три рубля денег, пять яблок и кусков пять-шесть сахару. Я отказался от ее подарка. Она спросила меня: почему я отказываюсь. Я ей ответил: «Я для Вас делал ради удовольствия помощи и никогда за это не беру вознаграждений, кроме того, Вы старенькие». Видимо, мои слова затронули ее благородные чувства, и она особенно просила меня взять от нее этот подарок. Тогда я предложил ей, что возьму только яблоки, потому, что «у Вас большой сад и это для Вас ничего не составляет». Но она опять мне говорит: «Возьми все, а то я заплачу. Я зарабатываю большие деньги. Переписываю произведения

А. Н. Толстого и пишу свои воспоминания, и мне платят большие деньги». Пришлось согласиться и взять от нее предложенное. На второй день Татьяна Андреевна прислала ко мне домой свою прислугу Нюру Домбровскую с пакетом конфет. Меня дома не было, а когда я пришел... мне родители рассказали, что хорошенькая девушка от Татьяны Андреевны Кузминской передала... этот пакет.

Молодежь тогда делилась на три группы: старшие — от 18 лет, средние — 14—18 лет и младшие — 10—14 лет. Старшие занимали вечерами здание клуба — Лохмачевой избы, т. е. сегодняшнее почтовое отделение Ясной Поляны. Вечера проходили весело: с гармоникой, плясками, танцами, поцелуями. Так было во всех группах: и средней, и младшей. У нас, младших, была балалайка. Дом для проведения вечера мы на 3 часа снимали у частных домохозяев. Для этого мы, мальчики, собирали с каждого по 2 или 3 копейки. Девочки от этого освобождались. Порядок проведения вечера был такой же, как у старших. Когда мне было лет 19—20 (после революции) в Ясной Поляне был построен Народный дом³⁴, где мы проводили все вечера и собрания. Помню, на одном из молодежных собраний присутствовала А. Л. Толстая и выступала с предложением провести каменную шоссеиную дорогу по деревне. Предложили доставать камень за деревней Грумонт, в карьере, и чтоб крестьяне привозили камень в деревню. Но не договорились, так как не у каждого была лошадь, а у кого была — не хотели работать как бы за других. Толстая выслушала и хотела было убедить людей, но больше было молодежи, и кто-то ей возразил: «Это Вам не прежнее время». Ей это показалось оскорбительным, и я помню, как она стукнула костылем о пол, повернулась и ушла.

Нардом находился за «кислым» колодцем*. Помещение было просторное, со сценой и комнатами для уборных артистов. Простоял он около 20 лет, а затем его сломали и построили уже на другом месте современный клуб.

В 1924 г. я окончил с некоторыми товарищами 7 классов в школе-американке. Нас сфотографировали у этой школы с учителем И. С. Мельниковым. Всю нашу группу определили в Тулу на мебельную фабрику, там проработал 6 лет. Работая, я учился на рабфаке, вскоре преобразованном в рабочий университет им. Бухарина, который находился против Красноармейской улицы. Окончил его в 1930 г. и тогда же поступил на работу в Яснополянскую опытно-показательную станцию (это Яснополянская школа и филиал — Теля-

* Т. е. за колодцем, который находился в Кислом переулке.

тинская семилетняя), где преподавал труд, черчение, а затем рисование. Каждую важную дату, связанную с Л. Н. Толстым, торжественно отмечали в школьном красивом актовом зале. В 1935 г. особенно готовились отметить 25-летие со дня смерти Л. Н. Толстого. Помню, в Ясную Поляну приезжали 140 человек писателей, и тогда я видел молодого, подвижного Михаила Шолохова... В нашей школе проводилось очень много конференций и других мероприятий. ...Во время Великой Отечественной войны школа была отдана под госпиталь. В период оккупации гитлеровцы превратили школу в казармы, наставили в классах временок, все загрозили, а при отступлении зажгли. В 1948 г. вновь открыли школу, которая до сего дня стоит красивой и служит памятником нашему любимому Льву Николаевичу.

¹ Цветкова Прасковья Ивановна (урожд. Воробьева; 1849 — после 1924) — яснополянская крестьянка, бабушка Н. И. Цветкова, одна из лучших деревенских певуний. (Здесь и далее сведения о Цветковых взяты из неопубликованной родословной крестьян Цветковых, составленной Н. И. Шинкарью.)

² Цветков (Панов) Илларион Максимович (1878 — после 1924) — отец Н. И. Цветкова, крестьянин деревни Ясенки Крапивенского уезда; после жеманщины был принят в дом тестя и взял фамилию Цветков.

³ Флигель Кузминских — усадебная постройка начала XIX в., летом в доме часто жила со своей семьей сестра С. А. Толстой Т. А. Кузминская.

⁴ Цветкова Мария Яковлевна (1879 — после 1924) — мать Н. И. Цветкова, яснополянская крестьянка

⁵ Дом Волконского — усадебная постройка конца XVIII — нач. XIX в., предположительно построенная дедом Л. Н. Толстого, князем Н. С. Волконским.

⁶ Цветкова Александра Васильевна (р. 1900) — дальняя родственница Н. И. Цветкова, их прадеды были родными братьями.

⁷ Грумант — деревня Крапивенского уезда, находится в нескольких километрах от Ясной Поляны.

⁸ Маковицкий Душан Петрович (1866–1921) — врач, близкий друг Л. Н. Толстого, с 1904 г. жил в Ясной Поляне в качестве домашнего врача семьи Толстых.

⁹ Вероятно, в комнате слуги И. В. Сидоркова.

¹⁰ В настоящее время в здании располагается поселковая администрация.

¹¹ Сейчас дом № 33.

¹² Колодец, находящийся в Кислом переулке, на одной из старых деревенских улиц.

¹³ Цветков Яков Васильевич (1848 — между 1916–1924) — дедушка меуариста, яснополянский крестьянин, один из учеников школы Л. Н. Толстого в 1860-х гг., часто бывал с Л. Н. Толстым на охоте. По Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. имел два надела земли в 5,04 десятины, 2 лоша-

ди, корову, подтелка, теленка, десять овец, поросенка, семья состояла из девяти душ, из которых двое были работниками.

¹⁴ Посольская улица — ул. Советская.

¹⁵ Киевская улица — проспект Ленина.

¹⁶ Пятницкая улица — ул. Металлистов.

¹⁷ Фунт — 400 граммов.

¹⁸ Станция Ясная Поляна — в 2001 г. станции возвращено старое название Козлова Засека.

¹⁹ В семье М. Я. Цветковой и И. М. Цветкова было шесть детей: Полина (р. 1902), Николай (1904–1993), Михаил (1907–1939), Сергей (1910 — после 1924), Василий (р. 1914 — ум. во младенчестве), Павел (р. 1916, пропал без вести во время Великой Отечественной войны).

²⁰ Мельников Иван Сергеевич (1887–1975) — родился в Мясове, близ Тулы, окончил Тульское железнодорожное училище, работал на строительстве железной дороги на Кавказе, на строительстве в Москве; слушал лекции в университете Шанявского; служил в Тульской городской управе техником-чертежником; в 1914 г. был призван в армию, из-за отказа идти на войну по идейным убеждениям арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость, в марте 1917 г. освобожден, работал в городских органах Тулы по обустройству беспризорных детей. В 1921–1926 гг. и 1928–1934 гг. был в Ясной Поляне учителем труда; после 1934 г. преподавал в школах Москвы и в МОПИ им. Крупской.

²¹ Щепакин Иван Дмитриевич (1886–1967) — родился в Мясове, близ Тулы, окончил ремесленное училище и Тульский институт народного образования, работал слесарем, чертежником, был зав. ремесленными школами, педагогом в школах ФЗУ, техническом институте; художник, обучался в студии бывшего ученика В. Маковского и В. Поленова — М. Галкина; с 1915 по 1960 г. — участник тульских художественных выставок; в 1920-е гг. работал в Ясной Поляне; основал библиотеку им. А. Толстого в с. Мясове.

²² Результатом работы учебно-производственных мастерских в 1922–1923 гг. стало участие в 1923 г. во Всероссийской сельскохозяйственной и культурно-промышленной выставке. В Москве на Воробьевых горах были показаны изделия из дерева и рукоделие девочек, выполненные по рисункам Е. А. Калачева. Все работы учащихся имели большой успех.

²³ Калачев Евгений Александрович (р. 1888) — родился в Омске, в семье военного чиновника, с детства увлекался живописью, в 1917 г. окончил Петербургскую академию художеств, был одним из организаторов художественно-промышленных мастерских в Мстёре, художник, преподаватель кафедры живописи и рисунка во ВГИКе; автор портретов Станиславского, Рокоссовского и др., профессор живописи; с февраля 1923 г. по апрель 1924 г. — сотрудник яснополянской школы — преподаватель искусств, художник-инструктор учебно-производственных столярных мастерских.

²⁴ Мельникова Варвара Викторовна (урожд. Северьянова; 1893–1927) — жена И. С. Мельникова, участвовала в работе Тульского губернского комитета по организации комбедов, в 1920-х гг. работала учителем в яснополянской школе.

²⁵ Булгаков Вениамин Федорович (1889—1975) — брат секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова, в 1920-е гг. работал в яснополянской школе, затем — в Толстовском музее.

²⁶ Хмелинин Александр Полиектович (1890—1977) — юрист, в 1923—1926 гг. в яснополянской школе заведовал учебной частью, положил начало краеведческой работе в школе, изучению педагогической деятельности Л. Н. Толстого; уехав из Ясной Поляны, окончил пединститут в Магадане, был создателем Магаданского краеведческого музея, упоминается в книге А. Л. Толстой «Дочь».

²⁷ Чайная — постройка 1911 г., сохранилась до наших дней — д. № 17-А, в здании размещалось потребительское общество; в 1913—1920 гг. — амбулатория Д. П. Маковицкого; после его отъезда врачом в амбулатории и преподавателем гигиены стала М. А. Абакумова-Савиных.

²⁸ Дом Ивана Лохмачева (Лохмачева изба) — дом № 72, был построен яснополянским крестьянином И. Лохмачевым, но хозяин в доме долго не задержался: уехал работать на железную дорогу, дом какое-то время был безхозным, в начале 1920-х гг. там стали обучать подростков из мастерских и проводить занятия ликбеза; в 1925 г. в доме располагалась почта, которая находится там до сих пор.

²⁹ Школа-американка — построена летом 1923 г. на средства американской организации «Джойнт», открытие состоялось 20 ноября 1923 г., в День памяти Л. Н. Толстого. В 1923 г. Главным управлением по социальному воспитанию были выделены средства, и началось строительство школы-памятника Л. Н. Толстому. Первые четыре колышка торжественно забили И. С. Мельников и ответственный за строительство В. И. Головин.

³⁰ Абакумова-Савиных Мария Александровна (1873—1932) — врач, начальник санитарного поезда, на котором служила А. Л. Толстая во время Первой мировой войны, в 1920-е гг. заведовала яснополянской амбулаторией.

³¹ Кузминская Татьяна Андреевна (урожд. Берс; 1846—1925) — младшая сестра С. А. Толстой, автор воспоминаний о Л. Н. Толстом.

³² Денисенко Елена Сергеевна (урожд. Толстая; 1863—1942) — племянница Л. Н. Толстого, в 1922—1936 гг. работала в Ясной Поляне; в 1923—1926 гг. преподавала рисование и иностранный язык в яснополянской школе; в 1926—1936 гг. была научным сотрудником музея, в 1934—1936 гг. заведовала Домом-музеем Л. Н. Толстого.

³³ Цветков Николай Васильевич (1853—1916) — яснополянский крестьянин, ученик школы Л. Н. Толстого в 1860-е гг., занимался извозом в Туле; о нем пишет в своих воспоминаниях Т. А. Кузминская.

³⁴ Народный дом — находился на пригорке (по-деревенски «хреновый бугор») за конюшней. В конце 1924 г. А. Л. Толстая нашла средства на приобретение сруба в четырех километрах от Ясной Поляны для сельского клуба. К осени 1925 г. клуб, названный Народным домом, был открыт; здание разобрали после постройки в 1956—1957 гг. в Ясной Поляне современного Дома культуры.

Е. Ю. Петрова

ИЗ ИНДИЙСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Л. Н. ТОЛСТОГО

Вы единственный истинно великий человек на этом ослепленном властью и тщеславием материалистическом Западе.

Из письма Бабы Бхарати¹ Л. Н. Толстому

Толстой понимал важность изучения и знания Востока. В целом ряде восточных религиозно-философских учений он находил то, к чему вели его собственные духовные искания. Особая роль в этом ряду принадлежала Индии² — стране зарождения буддизма, стране, где непричинение вреда живому существу издревле было основой морали и где ахимса — ненасилие — традиционно считалась *желательной нормой поведения*. Понимая, что принцип ахимсы не определял характера индийской культуры в целом, Л. Н. Толстой особо выделял из нее именно ахимсу, акцентируя в философско-религиозном наследии Индии то, что было *нужно и дорого* ему самому. Тем самым он создавал — в соответствии с собственным мировоззрением — определенный образ духовного наследия Индии как для себя, так и для своих соотечественников³. Таким образом, у Л. Н. Толстого в каком-то смысле была «своя Индия», и ее облик определялся теми чертами индийского культурного наследия, которые были ему наиболее близки. У Индии также был «свой Толстой», чье учение и личное сочувствие судьбе Индии было полезно индийцам и могло быть *приспособлено* ими к нуждам их страны.

Начало переписки Л. Н. Толстого с индийцами относится к 1896 г.⁴ Инициаторами переписки всегда выступали индийцы. Она вобрала в себя все то связанное с Индией, что интересовало Л. Н. Толстого, т. е. самый широкий спектр вопросов: от древней философии до актуальнейших проблем начала XX столетия, так как именно эти вопросы волновали и обращавшихся к нему индийцев.

Переписка Л. Н. Толстого была чрезвычайно обширна, особенно в последние годы его жизни, когда он получал до тридцати писем в день. Более пятидесяти тысяч адресованных ему писем хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва). В сравнении с названными цифрами переписка Толстого с индийцами «по своему объему... невелика, но представляет немалый историко-культурный интерес»⁵; неудивительно, что к этой теме обращались не раз, начиная с биографа Л. Н. Толстого П. И. Бирюкова, опубли-

ковавшего на немецком языке многие письма Л. Н. Толстому из Индии в книге *Tolstoi und der Orient. Briefe und sonstige Zeugnisse über Tolstois Beziehungen zu den Vertretern orientalischen Religionen (Zürich und Leipzig, 1925)*. Намного позднее в России вышла замечательная книга крупного исследователя творчества Л. Н. Толстого А. И. Шифмана «Лев Толстой и Восток», в которой теме *Толстой и Индия* посвящена обширная глава; в двух изданиях этой книги (1960 и 1971) упоминается около двадцати писем, полученных Толстым из Индии. Остается согласиться с С. Д. Серебряным в том, что «индийская часть корреспонденции Толстого нуждается еще в специальном исследовании и научной публикации»⁶.

Среди корреспондентов Л. Н. Толстого, чьи письма отнесены к его индийской корреспонденции, были как индийцы (писавшие ему из Индии и из других стран), так и не индийцы: европейцы и американцы, являвшиеся христианскими миссионерами в Индии, или же просто люди, чьи интересы и общение с индийцами и их культурой связали их с этой страной. Одним из корреспондентов, писавших Л. Н. Толстому из Индии, оказался проживавший там китаец. Помимо этого, в индийскую часть переписки Толстого включено одно письмо из Бирмы, которая тогда входила в Британскую Индию, и одно письмо с острова Цейлон.

Условно можно разделить все рассматриваемые письма на две крупные группы: 1) письма, касающиеся религиозно-философских вопросов, и 2) письма, затрагивающие проблемы колониальной Индии. Письма первой группы включают: — письма Л. Н. Толстому от индийцев, исповедующих различные религии (индуизм, буддизм, джайнизм) и не индийцев, которые стремились обсуждать с Л. Н. Толстым религиозно-философские вопросы, проблемы распространения его сочинений, присылали в Ясную Поляну религиозную литературу, содействовали Л. Н. Толстому в его деятельности по распространению в России мудрости восточных религий, а также сообщали ему о мудрецах Индии — его современниках; письма индийских мусульман; письма христианских миссионеров в Индии. Письма второй группы включают обращения к Л. Н. Толстому приверженцев различных направлений индийской политической жизни.

Нами были просмотрены все письма, полученные Л. Н. Толстым из Индии, хранящиеся в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, около 60 единиц.

Анализ сохранившихся в архиве Толстого писем из Индии и от индийцев показывает, что часто, обращаясь к нему как к *единственному на Западе великому мудрецу, риши, махатме, духовному учителю*, индийцы находили в его мировоззрении немало общего с основопола-

гающими принципами своей древней культуры. Внимания индийцев — современников Л. Н. Толстого — не могли не привлекать его стремление к универсализму, позволявшее находить в его учении общее и с индийской религиозно-философской традицией; его уважение к культурному наследию и народам стран Востока (и в частности Индии); утверждение примата духовного над материальным и острая критика «ложного христианства» и всей западной материалистической цивилизации, чье колониальное давление и испытывала на себе Индия; масштаб его личности и его возможности как человека, способного сказать в защиту Индии свое слово, которое будет иметь вес благодаря его авторитету в мире. «Образ» Л. Н. Толстого, вобравший в себя эти черты, был необходим Индии. Помимо этого, прочитывая письма индийцев Толстому и обращая внимание на их отношение к его личности и учению, стоит иметь в виду роль, которую в Индии испокон веков играло такое явление, как *гуру*, *духовный наставник*. Психология народа, воспитанного в традициях глубокого почитания и безоговорочного доверия к таким людям, не могла не усилить уважения и доверия его представителей к личности проповедника духовных истин и ценностей Льва Толстого, а порой и преклонения перед ним. Неудивительно, что многие его корреспонденты выражали желание распространять в своей стране сочинения российского мыслителя. В свою очередь Л. Н. Толстой, как известно и как уже говорилось выше, посвятил немало времени и сил популяризации «восточной мудрости» в России.

Намерения Толстого распространять в России истины религиозных учений Востока были широко известны, и многие, узнав о его планах, стремились оказывать ему содействие. Остановимся именно на письмах индийцев, приславших в Ясную Поляну религиозную литературу, выбрав из них некоторые ранее неизвестные послания.

22 марта 1909 г. с письмом к Л. Н. Толстому обратился Брахма Шри Шриниваса Бхагавата Свами из Бангалора — издатель журнала *Гнанодайя* (*Gnanodaya*) и основатель общества *Бхакти Марга Сабха* (*Bhakti Marga Sabha*). Цель письма — ознакомление Л. Н. Толстого, в числе ряда выдающихся людей, с деятельностью общества, которое, в свою очередь, имело целью стремление донести до многих истины индийской религиозной философии. Этот корреспондент отмечает особую значимость распространения религиозных истин в мире, где прочно утвердился материализм. Следовательно, цели его деятельности можно определить шире: она предполагала распространение религиозно-философского знания не только ради просвещения, расширения кругозора. Приведем полный текст этого письма: «Сударь, позволю себе утверждать, что многим хорошо известно то, что материализм — результат одностороннего образования, которое дают в наших школах и коллед-

жах, — так или иначе занимает твердые позиции в нашей стране. Стремясь как-то исправить ситуацию, насколько это возможно с моими скромными средствами, я основал ежемесячный журнал, посвященный вопросам религии и философии и называемый „Гнанодайя“⁷. Журнал нацелен на то, чтобы представить священные истины индуистской религии и возвышенный и прекрасный идеал Веданты в как можно более простой, доступной и интересной форме; помимо всего прочего, журнал содержит классические отрывки и отрывки из Пуран, иллюстрирующие эти великие истины и этот высокий идеал, философские сказания, небольшие статьи на философские темы, написанные простым народным языком, свободным от специальных терминов, а также изложение жизни и учений великих мудрецов и бхактов любой касты, вероисповедания и национальности, которые навсегда останутся маяками для всего человечества. Я принялся за эту работу, движимый только любовью к делу, и не ищу никакой личной выгоды. Моя цель в том, чтобы донести истины индуистской религии до как можно большего числа людей, а доход использовать для поддержки организации „Бхакти Марга Сабха“, о назначении которой Вы можете узнать из проспекта, приложенного к письму. Считая себя обязанным держать наиболее выдающихся мыслителей наших дней в курсе моих скромных начинаний, я с удовольствием посылаю Вам отдельной бандеролью несколько номеров журнала, которые Вы, надеюсь, примете и прочтете».

Из проспекта, приложенного к письму, мы узнаем следующее о журнале „Гнанодайя“: «Он помогает достичь раскрытия истинной природы человека. Он показывает то, что успех и величие могут быть достигнуты всеми, и стремится поднять своего читателя до тех высот, где открывается мистический путь. Хотя он и берет индуизм за основу, он простирает свои руки через океан, чтобы в братской любви и религиозной терпимости соединиться со всеми людьми, ищущими Бога, как бы они это ни делали.

Официальный печатный орган общества Бхакти Марга Сабха, Бангалор»⁸.

Общество «Бхакти Марга Сабха» представлено в проспекте как организация, которая «1) ищет истину практическую, но не догматическую; 2) не рассматривает социальную сферу в отрыве от Бога и Религии; 3) насколько позволяют средства, обеспечивает пропитанием обездоленных людей, принадлежащих к любой касте или классу»⁹.

Стоит обратить особое внимание на пункт второй; в нем выражена мысль, которую постоянно подчеркивал Л. Н. Толстой. Текст письма и приложенный к нему документ обнаруживают сходство целей и деятельности его автора и Л. Н. Толстого, если говорить об их стремлении к *распространению религиозных истин*.

Письмо издателя «Гнанодайи» осталось без ответа, которого оно не требовало. Предположительно, журнал мог вызвать интерес Л. Н. Толстого; сведений о том, читал ли он журнал, у нас нет. Ни один номер в яснополянской библиотеке, к сожалению, не сохранился.

Из Британской Индии религиозную литературу Л. Н. Толстому присылали и представители других зародившихся в Индии религий. Так, 19 декабря 1907 г. Д. Саманева, член Международного буддийского общества в Рангуне (Бирма), обратился к нему со следующим письмом: «Милостивый государь, позвольте мне послать Вам бандеролью небольшую книжку, которая была написана моим Учителем, Бхикку Ньянатилокой¹⁰, здесь, в Рангуне. Если Вы соизволите ее прочесть, то вы найдете в ней не что иное, как подлинные и истинные слова Будды, которые он сам произнес 2500 лет назад, неся закон истины индийскому народу. Я подумал, что было бы хорошо, если бы кто-нибудь из Ваших соотечественников перевел ее на русский язык, и я был бы счастлив услышать, что Вы сами думаете об этом проекте»¹¹.

На конверте письма имеется запись Л. Н. Толстого: «Душану¹². Благодарить». Книга Бхикку Ньянатилоки «Слово Будды: очерк этико-философской системы Будды на основе палийского канона» (The Word of the Buddha: An outline of the ethico-philosophical system of the Buddha, in the words of Palicanon) хранится в личной библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

20 июня 1910 г. в Ясную Поляну написал Виджайя Дхарма Сури — редактор издававшегося в Бенаресе журнала «Джайн сашан», назвавший себя «джайнским монахом»¹³. Информацию об издательских планах Толстого ему подтвердил «профессор Миронов»¹⁴, которого Виджайя Дхарма Сури называл своим другом и через которого он и переслал Толстому следующее письмо: «Дорогой граф, хотя мне давно уже известно Ваше имя, так же как и всякому, кто знаком с литературой, прямо обратиться к Вам меня заставило недавно полученное мною письмо моего друга профессора Миронова. Профессор сообщает мне, что Вы (а Вас он называет „своим великим соотечественником“) хотели бы написать книгу о джайнизме, чтобы сделать великий принцип нашей религии, т. е. принцип ахимсы, известным всему миру; кроме того, он пишет, что Вы примете те материалы, которые я могу Вам предоставить и которые будут полезны при написании книги.

Невозможно лучшее осуществление цели жизни любого джайнского садху, чем обеспечение подобными материалами человека, чья каждая строка будет прочитана — и небезрезультатно — каждым человеком. Мне же не составит никакого труда дать миру те сведения, используя которые, мир будет продвигаться к вечному благу. Упомянутое выше письмо пр. Миронова было ответом на мое пись-

мо, в котором я спрашивал его, действительно ли Вы решили написать о религиях мира и в их числе — о джайнизме. Это письмо я направляю Вам через пр. Миронова, т. к. я не знаю Вашего адреса, который я надеюсь получить вместе с ответом на это письмо, если Вы сочтете его достойным ответа без ущерба для Вашего бесценного времени. В заключение скажу, что мне было бы чрезвычайно приятно узнать, какую именно информацию Вы хотите получить¹⁵ для разработки Ваших принципов и подготовки упоминавшейся выше книги.

P. S. Если нужно, я могу прислать материалы в оригинале на санскрите или прākритах»¹⁶.

Из Индии — из Бангалора — с подобным предложением к Л. Н. Толстому обратился китаец Кунг Тьен-Ченг, который называл себя потомком Конфуция. На конверте его письма Толстому (июнь 1910 г.) сделана пометка: «Mr. T. C. Kung присылает биографию своего предка Конфуция»¹⁷: «Уважаемому графу Льву Толстому, автору „Воскресения“ и великому мудрецу Европы.

Достопочтенный граф, насколько я знаю, Вы работаете над изложением величайших религиозных учений мира и собираете материалы из различных источников.

Я китаец, потомок Конфуция, китайского мудреца, и, естественно, я хотел бы, чтобы его философская система нашла свое отражение в серии Ваших книг. Отдельно я высылаю Вам журнал, в котором дан краткий обзор его жизни, извлеченный из брошюры, которую я опубликовал в прошлом году по случаю празднования 2460-й годовщины со Дня рождения мудреца. Кроме того, я посылаю Вам его портрет и надеюсь, что все это Вам пригодится. Если же Вам нужна еще информация, я могу сам что-нибудь Вам сообщить, а что-то узнать у герцога Йеншинг. Желаю Вам успеха во всех Ваших начинаниях и долгих лет жизни и труда на благо страждущих мира сего. Посылаю Вам свою визитную карточку».

Желание этого китайского корреспондента из Индии видеть религиозное учение Конфуция среди учений, изложенных Л. Н. Толстым, может быть объяснено двумя причинами: с одной стороны, автор письма был уверен, что Л. Н. Толстой сделает это изложение добросовестно, с другой стороны, в изложении Л. Н. Толстого учение сможет привлечь к себе наибольшее внимание¹⁸.

Еще в мае 1910 г. к Л. Н. Толстому обратился английский востоковед Эдвард Шиллер. На конверте его первого письма Л. Н. Толстому (от 2 мая 1910 г.) — пометка: «Edward Schiller. Glasgow. Предлагает войти в сношения с индийским мудрецом». Приведем текст этого письма: «Его светлости графу Льву Толстому. Достопочтенный граф, в журнале „Review of Reviews“ я прочел Ваше письмо,

в котором Вы просите знатоков Вед присылать Вам наиболее интересные, значительные и глубокие отрывки из Вед. А так как я давно уже глубоко интересуюсь мудростью Востока, письмо это не могло не привлечь моего внимания; но вместо того, чтобы послать цитаты и т. п., я подумал, лучше будет сообщить Вам о том, что несколько лет назад мне посчастливилось лично познакомиться с одним из величайших индийских мудрецов, с которым с тех пор я постоянно поддерживаю связь и которого в Индии считают одним из крупнейших знатоков ведической философии. Таких людей европейцам трудно найти, и старый индийский афоризм — „Ценные вещи редки → мудрые люди наиболее редки и их трудно найти“ — всегда поражал меня своей истинностью, потому что на суждения невежд полагаться нельзя, ведь они не способны оценить мудрости мудрецов, а также потому, что история учит нас, что мудрых никогда не понимали и потому преследовали невежды. И так оно и есть, когда жизнь индийских мудрецов соприкасается с западной мыслью и людьми Запада. Вашей светлости это, несомненно, известно лучше, чем кому бы то ни было, ведь Ваша великая и важная миссия, должно быть, породила бесчисленных собак, которые лают у Ваших ног.

Мой индийский друг и учитель теперь путешествует по Европе, сейчас он либо во Франции, либо в Германии, и я со дня на день жду от него письма, так что, если Ваша светлость захочет пообщаться с ним — лично или через меня, — дайте мне знать, так как, я уверен, он будет рад предоставить любую информацию или помощь по поводу Вед и философии, которой они учат. Со смиренной благодарностью за удовольствие и пользу, полученные при прочтении Ваших книг, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Остаюсь искренне Ваш, Эдвард Шиллер»¹⁹.

Получив письмо Э. Шиллера, Л. Н. Толстой сразу же набросал на его конверте конспект ответа²⁰. Краткий набросок письма свидетельствует о том, что предложение Э. Шиллера чрезвычайно заинтересовало Л. Н. Толстого, который выразил желание вступить в общение с мудрым индусом.

Через месяц, 7 июня, Э. Шиллер отправит в Ясную Поляну более конкретное письмо о том, каким образом Л. Н. Толстой мог бы связаться с его индийским другом (чье имя в тексте письма расшифровать, к сожалению, не удалось); из письма мы узнаем, что сам индус был бы рад общению с Л. Н. Толстым: «Дорогой граф, сожалею, что не сразу ответил на Ваше письмо. Так получилось отчасти по моей вине, по причине различных обстоятельств, которые от меня не очень-то зависели, но главным образом оттого, что я потерял связь с моим другом... во время его странствий по континенту. Из-за этого

было потеряно столько времени, пока я узнал, куда ему писать. В ответном письме он говорит, что очень хотел бы встретиться с Вашей светлостью и что если Вам случится быть в Западной Европе, он прибыл бы в любое место во Франции, Германии или другой стране. Ну а пока он не устроен и постоянно путешествует с места на место, он считает, что лучше всего Вашей светлости было бы писать ему о любых вопросах, которые могут возникнуть у Вас по поводу Вед и их учения. Кроме того, он говорит, что, пока он где-нибудь не устроится, Вам будет лучше посылать письма мне, а я перешлю их ему вместе с другими. Я уже сделал все для того, чтобы предотвратить любые ненужные задержки в доставке почты моему другу и его ответов. С искренней надеждой на то, что Ваша великолепная работа принесет плоды и сможет научить людей жить, а следовательно, вести лучшую и более разумную жизнь, чем нынешняя»²¹.

На письмо ответил В. Г. Чертков. Общение А. Н. Толстого с индийцем не состоялось. В то время Толстой уже не успел осуществить и многие из намеченных творческих планов. Однако нетрудно заметить, что и в последние месяцы своей жизни, несмотря на возраст, нездоровье, непростую обстановку в семье, он по-прежнему проявлял интерес к новым интересным людям, которые стремились к общению с ним и в число которых неизменно попадали представители Востока.

¹ Баба Премананд Бхарати — индийский философ, ученик Вивекананды; переписывался с А. Н. Толстым в 1905—1907 гг.

² Крут чтения А. Н. Толстого по индийской (как и вообще восточной) тематике был чрезвычайно широк. Раз обратившись к индийскому религиозно-философскому наследию, А. Н. Толстой навсегда сохранил уважение к индийской философии. До последних дней жизни целый ряд книг об Индии и индийских журналов оставался у него под рукой в рабочем кабинете.

³ Популяризацию «индийской мудрости» в России А. Н. Толстой рассматривал как одно из лучших средств передачи нравственного идеала, простых и вечных этических ценностей и истин самому широкому кругу своих соотечественников: от детей русских крестьян до хорошо образованных людей. Просветительские замыслы и деятельность А. Н. Толстого в этом направлении способствовали сближению индийской и русской культур на основе единства базовых нравственных истин, содержащихся в религиозных учениях христианства, индуизма или буддизма.

⁴ Судя по наиболее раннему из сохранившихся в архиве Толстого писем из Индии.

⁵ Серебряный С. Д. Восприятие художественного творчества Льва Толстого в Индии (Южной Азии) // Лев Толстой и литературы Востока. М., 2000. С. 185.

⁶ Серебряный С. Д. Восприятие художественного творчества Льва Толстого в Индии (Южной Азии) // Лев Толстой и литературы Востока. — М., 2000. С. 185.

⁷ Выделено в тексте письма.

⁸ ОР ГМТ. Письмо Брахмы Шри Бхагаваты Свами от 22 марта 1909 г. Перевод с англ. Ранее не публиковалось.

⁹ Там же.

¹⁰ Это имя, которое принял немецкий индолог А. Гют, ставший буддийским монахом.

¹¹ ОР ГМТ. Письмо Д. Саманевы от 19 декабря 1907 г. Подлинник на французском языке. Ранее не публиковалось.

¹² Имеется в виду Д. П. Маковицкий.

¹³ Как указано на конверте письма.

¹⁴ Николай Дмитриевич Миронов — русский санскритолог, специалист по джайнизму.

¹⁵ Подчеркнуто в тексте письма синим карандашом, вероятно, В. Г. Чертковым.

¹⁶ ОР ГМТ. Письмо Виджайи Дхармы Сури от 20 июня 1910 г. Перевод с англ. Ранее не публиковалось. На это письмо ответил В. Чертков. (См. пометку на конверте: «Отв. 28 июля. 10 авг. ВЧ»).

¹⁷ ОР ГМТ. Письмо Кунг Тьен-Ченг (июнь 1910 г.). Перевод с англ. Ранее не публиковалось.

¹⁸ Что касается книги о Конфуции, то еще в 1904 г. «Посредник» выпустил книжку «Конфуций, китайский мудрец. Его жизнь и учение» под редакцией Л. Н. Толстого. Кроме того, позднее вышла книжка «Письмо к китайцу. Китайская мудрость. Мысли китайских мыслителей, собранные Толстым».

¹⁹ ОР ГМТ. Письмо Э. Шиллера от 2 мая 1910 г. Перевод с англ. Ранее не публиковалось.

²⁰ По этому конспекту нам известен текст ответа Л. Н. Толстого. См.: 81, 253. Дата ответа также проставлена на конверте: 26 апреля / 9 мая 1910 г.

²¹ ОР ГМТ. Письмо Э. Шиллера от 7 июля 1910 г. Перевод с англ. Ранее не публиковалось.

ИЗ ИСТОРИИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ



БЕРЕЗОВЫЕ ПОСАДКИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

«Утром опять игра света и тени от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве...» (84, 281). Так мы попадаем в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», и это чувство легкости, прозрачности сопровождает нас всюду — на пути к любимой скамейке, к реке Воронке или в сторону деревни Грумант. Атмосферу легкости создает береза, произрастающая на 119,4 га современной территории заповедника, что составляет 51 % лесного фонда музея-усадьбы, тогда как в составе Тульских за-сек (50048 га) на березу приходится всего 7,5 %¹.

Береза является одним из элементов русской усадебной культуры имения Ясная Поляна. Началом всего был березовый прешпект, заложенный во времена Н. С. Волконского и ставший любимым образом природы в произведениях Л. Н. Толстого. Может быть, от этой любви к красоте прешпекта и появилась у Толстого идея сделать всю Ясную Поляну березовой? Продолжая традиции предков, Лев Николаевич сажает березу по Черте, создает березовые культуры, чистые и смешанные, по Кочаку (бывшее урочище Телятинский лес), засаживает вырубку, купленную у чиновника В. Я. Лимонова² (бывшее урочище Лимоновский лес), создает березовые культуры по Воронке (Срезанная, Митрофановская, Абрамовская посадки, Березовый клин).

Что же это за магическое дерево, так приворожившее Л. Н. Толстого? В книге «Легенды и были о лекарственных растениях» читаем о березе: «Есть дерево об четыре дела: первое дело — мир освещает, другое дело — крик утишает, третье дело — боль исцеляет, четвертое — чистоту соблюдает»³. С давних пор на Руси береза — наиболее почитаемое дерево. В мифопоэтическом творчестве береза выступает как мировое дерево, которое является центром мироздания, универсальной моделью вселенной. Вершина дерева достигает небес и связана с Богом, солнцем, птицами, корни уходят глубоко в землю, соприкасаются с преисподней, где обитает нечистая сила, средняя часть отождествляется с земным пространством. По народным представлениям, береза и ее ветви обладают особой плодоносящей силой, которая передается земле в период праздничных дней Троицы⁴. Распускаясь ранней весной, береза символизирует пробуждение природы: «...первая трава, первые листья березы и первые клубы белых весенних обла-

ков», — так предстает весна глазами героя Л. Н. Толстого в романе «Война и мир» (10, 152). Здесь же, подчеркивая красоту берез, писатель «рисует» старый, корявый дуб, стоящий «презрительным уродом между улыбающимися березами» (10, 153). Только страстно влюбленный человек мог привести такое сравнение. Вечную молодость, легкость, счастье, любовь воплощают березы у Л. Н. Толстого.

В заповеднике произрастают березы повислая и пушистая. Береза малотребовательна к почвам, морозостойка и светолюбива. Образует довольно мощную корневую систему, но местами неглубокую. Дает поросль от пня и укореняется отводками. Цветет береза рано весной, почти одновременно с распусканием листьев. Семена созревают в середине или в конце лета. Свежие семена отличаются высокой всхожестью, но сохраняется она не более одного года. При посеве семян сразу после сбора осенью всходы появляются через 2–3 недели, а при посеве весной — через 4–5 недель. Плодоносит береза ежегодно и обильно, но часть семян оказываются пустыми. Береза повислая — дерево высотой около 20 м, нередко с асимметричной кроной, с белой и гладкой корой, которая легко расслаивается у молодых экземпляров, но становится глубокотрещиноватой и черной у старых. Ветви обычно повислые. Побеги красновато-бурые, со смолистыми бородавчатыми желёзками. Листья яйцевидно-ромбические, в основании клиновидные, острые, двоякозубчатые, гладкие. Плоды-семянки эллиптические, длиной 2 мм, с двумя звездчатыми крылышками, собраны в сережки. К почвам малотребовательна — может расти на бедных песчаных и каменистых почвах, но лучше на свежих супесчаных. Береза пушистая — дерево около 20 м высотой, с продолговатой кроной и распростертыми в стороны и слабопоникающими ветвями. Кора белая на значительном протяжении ствола, лишь у самого его основания находятся темно-бурые шероховатые пятна старой коры. Молодые побеги красновато-бурые, густоопушенные, без смолистых бородавок. Листья яйцевидные, с округлым, слегка сердцевидным основанием, на верхушке острые или заостренные. Береза пушистая растет в местах с влажной почвой — на переходных и низинных болотах, в депрессиях на плоских участках водоразделов, на вырубках, залежах, лесных опушках.

Культуры березы заповедника относятся к двум лесным формациям: дубово-липовой и липовой. Первая занимает хорошо дренированные увалистые поверхности водоразделов, пересеченных глубокими логами, реже — плоские поверхности с частой сетью глубоких оврагов. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинистые отложения относительно богатого минерального состава. Почвы представлены серыми покровными суглинками, плодородие которых обеспечивает произрастание богатых насаждений. К дубово-липовой формации относятся березовые участки № 9 — Срезанная посадка, № 11,



Ряды старовозрастных берез в Березовом клину (вид от колодца).
Фотография 18 марта 2002 г.

№ 12 — Молодая Абрамовская посадка (довоенная и послевоенная), № 13 — Старая Абрамовская посадка, № 14 — Березовый клин. Особенностью березовых культур, включенных в эту формацию по их территориальному положению, является восстановление естественным путем широколиственных пород, главным образом липы, достигшей в отдельных участках второго яруса. В покрове здесь травы, характерные для широколиственных лесов: пролесник, зеленчук, осока и др. К формации липовых лесов относятся березовые культуры Старой и Молодой Митрофановских посадок (№ 2, № 3), расположенных за рекой Воронкой. Почвы формации представлены покровными суглинками, подстилаемыми глинистой мореной. В березовых культурах, включенных в формацию, во втором ярусе также появилась липа.

На современной территории заповедника (414 га) из березовых посадок сохранились Митрофановские, Абрамовские, Березовый клин и Срезанная посадка, правда, уже порослевого происхождения. Средний возраст березовых посадок музея-заповедника — 95 лет, при возрасте естественной спелости березы 81–90 лет. Оценка санитарного состояния березовых культур проводится сотрудниками заповедника путем сплошных пересчетов на четырех пробных площадях размером от 0,25 до 1 га. Состояние участков характеризуется по среднему баллу: 0–1,5 — здоровые, 1,6–2,5 — ослабленные, 2,6–3,5 — сильно ослабленные, 3,6–4,5 — усыхающие, более 4,6 баллов — усохшие.

Первая лесокультурная посадка Л. Н. Толстого — Срезанная — расположена через овраг на восток от еловых культур Подкапустника. Она была заложена на бывшей пашне ориентировочно в 1859—1864 гг. и срублена в начале 90-х годов XIX столетия в возрасте 30 лет. В Срезанную посадку Толстой вложил свои лесокультурные принципы, повторенные им через 15 лет в Абрамовском березняке, через 20 лет — в Митрофановской посадке и через 45 лет — в березняке у северного колодца (Березовый клин).

Абрамовская посадка — один из старых березовых участков. Согласно геометрическому плану съемки 1889 г., Абрамовская посадка заложена в 1874—1881 гг. с размещением посадочных мест $3,2 \times 3,2$ м⁵. Площадь Абрамовской посадки составляла по плану 1889 г. 31,08 га и, судя по разделению на два участка (5 и 6), сажалась в два этапа (1874—1876 гг., 1879—1881 гг.). В 1913 г. часть участка (22 га) была продана сыновьями Л. Н. Толстого на сруб. «Лес продали купцу Чеснокову», — сообщала С. А. Толстая в письме Т. Л. Сухотиной⁶. Реставрация березовой Абрамовской посадки производилась до и после войны, в 1937—1938 гг. и 1949—1950 гг. соответственно, с размещением посадочных мест 2×2 м.

Первоначально Митрофановская посадка была произведена на площади 13,8 га в 1877—1880 гг. с размещением берез $2,5 \times 2,8$ м. В 1936 г. 7,2 га участка подверглись реставрации. Новая схема смешения древесных пород 2×2 м была отлична от «толстовской», кроме того, введение в культуры липы, дуба, осины отнесло участок в ряд немемориальных.

Посадки культур Березового клина на плане 1889 г. нет. Участок сохранялся пахотным до 1903—1905 гг., когда с производством густых березовых культур была завершена «композиция Прудыща». Вероятно, именно о посадке Березового клина С. А. Толстая писала 20 октября 1903 г.: «Посажено 12000 березок <...> посадили еще 10000 саженцев березок, но на этот раз в размещении $1 \times 1,5$ м»⁷.

Анализ счетов показывает, что Толстые использовали посадочный материал березы 2—6 лет из Моховского лесничества, березы-дички до 1,5 м высотой из Подгороднего лесничества.

Современная категория состояния березовых посадок заповедника составляет 2,6 балла (сильно ослабленные насаждения). Биологическая ослабленность березовых древостоев выражается в уменьшении листовой пластинки (мелколиственность отмечается у 39—82 % берез), формировании кроны за счет водяных побегов (от 25,7 до 82 %). Большое влияние на состояние березовых насаждений оказывают гнилевые болезни и стволовые вредители. Пораженность берез гнилями по участкам составляет 2,9—20 %. Наиболее часто встречается мраморная ядрово-заболонная гниль, возбудитель — настоящий трутовик (*Fomes fomentarius*

(L.) Gill.), и белая заболонная корневая гниль, возбудитель — опенок осенний (*Armillariella mellea* (Vahl. ex Fr.) Karst.). Настоящий трутовик отмечается в основном на сухостое. Береза заражается *F. foetentarius* через вершину или обломанные толстые сучья. Грибница, попадая в рану, распространяется в коре и заболони и отсюда идет в направлении к центру дерева. Грибница растет с большой скоростью и быстро разрушает древесину. К моменту образования плодовых тел дерево уже настолько разрушено, что при легком ветре ломается. Гниль, вызываемая этим грибом, относится к смешанному типу и характеризуется светло-желтой окраской и многочисленными черными черточками и черными линиями, отграничивающими части разрушенной древесины от здоровой. Инфекция *A. mellea* распространяется посредством ризоморф, которые заражают боковые корни в местах их соединения со стволом. Ризоморфа через ранку попадает под кору и образует здесь нежнокожистую, часто веерообразно расходящуюся грибницу. Из корней грибница переходит в ствол, распространяясь в нем на высоту 2–3 м. Происходящее при заражении повреждение корней влечет за собой медленную смерть дерева.

Деревья 4-й (усыхающие), 5-й (свежий сухостой), а иногда и 3-й (сильно ослабленные) категории состояния заселяются стволовыми вредителями следующих видов: лиственный сверлильщик (*Elateroides dermestoides* L.), березовый заболонник (*Scolytus ratzeburgi* Jans.), лестничник древесинник (*Xyloterus signatus* F.). Заселенные стволовыми вредителями деревья составляют от 0,7 до 2,3 %. Наибольшее их количество (у 2,3 % берез) отмечается в Старой Абрамовской посадке.

Выявлена бактериальная водянка (*Erwinia* sp.) у 4,4–4,7 % берез. Визуальный признак ее проявления — слизетечение. Данное заболевание встречается главным образом у старых деревьев и является старческой болезнью.

На стволах старовозрастных берез от комля до высоты 10 м отмечаются порошковатые налеты бурых и сине-зеленых водорослей.

В последнее десятилетие частым явлением в заповеднике стало выпадение с корнем старовозрастных берез. Интенсивные березовые ветровалы отмечаются в период сильного насыщения почвы влагой (весна, осень). Корневая система выпавших деревьев поражена гнилью (*A. mellea*) и практически всегда нежизнеспособна.

Некоторую стабильность состояния старовозрастных березовых посадок на протяжении нескольких лет (категория состояния Старой Абрамовской посадки — 15,9 га, в 1997 г. — 2,67 балла, в 2002 г. — 2,67 балла) удается поддерживать благодаря проведению санитарных рубок и уборке захламленности. Так, в период проведения санрубки в березовых культурах Старой Абрамовской посадки в 1999–2000 гг. удалено 133 куб. м больных, сухих берез и ликвидировано 187 куб. м захламленности на всем участке.

Анализ состояния берез заповедника говорит о начавшемся распаде в насаждениях. Основной причиной распада является возраст посадок, превышающий порог, отведенный березе природой. Отсюда — наличие у деревьев патологий, ликвидировать которые практически невозможно, так как невозможно остановить ход начавшегося естественного процесса. Проведением санитарных рубок, уборкой захламленности, лечением отдельных деревьев можно продлить жизнь березовым посадкам еще на какое-то время, однако с каждым годом с выпадами, сломами, естественным зарастанием березовых культур «засечными» породами меняется «березовый» облик Ясной Поляны. Поэтому необходим целый комплекс мероприятий, начиная с теоретических разработок схем и методов восстановления березовых посадок и заканчивая непосредственным выполнением огромного объема работ. Без этого не обойтись.

Первые этапы реставрации старовозрастных березовых культур уже начаты с 1990 года в Срезанной посадке, где проведены сплошная рубка и посадка лесных культур березы на 0,98 га площади участка. В 1998 г. разработан проект по реставрации Старой Абрамовской посадки, реализация которого начата в 1999 г. проведением санитарной рубки, вырубкой липовой поросли, в 2000, 2001 гг. — посадкой березовых культур (570 штук) согласно толстовской схеме. В 2002 г. составлен проект реставрации хозяйственного участка Березовый клин, произведена посадка 93 берез в «окне» у мемориального колодца, выполнен отвод деревьев в санитарную рубку в Старой Митрофановской посадке и намечен ряд мероприятий по восстановлению данного участка.

Березы должны украшать яснополянские ландшафты, радовать глаз посетителя своей прозрачностью и светом. Ясной Поляне нужно оставаться «березовой», поскольку так было задумано ее устроителями, традиции которых мы не можем растерять. Здесь, в заповеднике, должна быть явью простая толстовская фраза: «...Утро сизое, росистое, с березами, русское, славно» (47, 149).

¹ Ушаков А. И. Таксационная характеристика насаждений Тульских за-сек // Тульские леса. Тула, 1971. С. 293–300.

² ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 577.

³ Гринкевич Н. И., Сорокина А. А. Легенды и были о лекарственных растениях. М., 1988. С. 17.

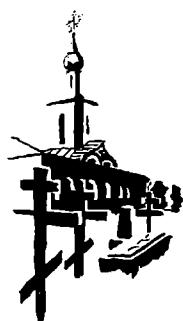
⁴ Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. СПб., 2001. С. 578–585.

⁵ Фонды музея-усадьбы «Ясная Поляна». Комната С. А. Толстой, сундук 1686 г.

⁶ ОР ГМТ. Письмо С. А. Толстой Т. А. Сухотиной от 28 февраля 1913 г.

⁷ Архив музея-усадьбы «Ясная Поляна». Ф. 1. Оп. 10. Ед. хр. 101. Л. 112.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ





**Лидия Дмитриевна
ГРОВА-ОПУЛЬСКАЯ**
21 мая 1925 — 31 декабря 2003

31 декабря 2003 года на семьдесят девятом году жизни скончалась Лидия Дмитриевна Громова-Опульская, член-корреспондент РАН, главный редактор академического Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 100 томах, ведущий биограф писателя, главный научный сотрудник отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН, который возглавляла в течение четырнадцати лет.

Со студенческих лет научная деятельность Л. Д. Громовой была связана с исследованиями жизни и творчества Л. Н. Толстого.

В 1945 году в МГУ им. М. В. Ломоносова Л. Д. Громова защитила диплом «Историческая тема в творчестве Л. Н. Толстого». В 1946–1949 годах она — аспирантка МГУ, ученица Н. К. Гудзия, в значительной степени повлиявшего на становление ее научных интересов.

В 1952 году Л. Д. Громова защитила кандидатскую диссертацию «Особенности реализма Л. Н. Толстого в поздний период творчества».

В 1949 году Л. Д. Громова начала работать редактором Гослитиздата над Полным собранием сочинений Л. Н. Толстого в 90 то-

мах, а в 1955 году познакомилась с Н. Н. Гусевым и редактировала его работы.

С 1953 года Л. Д. Громова работала в ИМЛИ РАН, сначала в секторе текстологии, затем в отделе русской классической литературы, которым заведовала с 1988 по 2002 г. Филолог и редактор высокого уровня, она внесла огромный вклад в подготовку и выпуск научных изданий классиков отечественной литературы. Начиная с 1950-х годов, участвовала во всех изданиях Л. Н. Толстого, а с 1988 года работала над академическим Полным собранием сочинений писателя в 100 томах (120 книгах), в 1996 году назначена главным редактором этого издания. Ее трудами обеспечен выход в свет сочинений А. И. Герцена, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, С. А. Есенина, М. А. Шолохова, нескольких книг серии «Литературные памятники» и важных публикаций в томах «Литературного наследства».

В 1973 году Л. Д. Громова приступила к работе над продолжением «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», начатых Н. Н. Гусевым. В 1979 году вышла книга «Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год», где много страниц отдано творческой истории произведений Л. Н. Толстого. В 1998 году завершила работу над следующим томом «Материалы к биографии с 1892 по 1899 год». В процессе подготовки остался завершающий том (1900–1910).

В 1983 году Л. Д. Громова защитила докторскую диссертацию «Проблемы текстологии русской литературы XIX века».

Л. Д. Громова — выдающийся ученый-текстолог, ее перу принадлежат фундаментальные исследования в трудах «Вопросы текстологии», «Основы текстологии». Она руководила подготовкой и многое сделала сама в академических изданиях А. И. Герцена и А. П. Чехова в 30 томах, получивших высокое научное признание у нас и за рубежом. Л. Д. Громова разобрала и подготовила к печати сложнейшие рукописи романа «Преступление и наказание» (опубликовано в серии «Литературные памятники», т. 6–7 академического издания Ф. М. Достоевского, и повторено в 15-томном издании). В первых томах Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 100 томах почти вся текстологическая и комментаторская работа выполнена Л. Д. Громовой.

Л. Д. Громова являлась председателем Текстологической комиссии при ИМЛИ и ОЛЯ РАН, членом Эдиционно-текстологической комиссии при Международном комитете славистов. На международных съездах славистов Л. Д. Громова выступала с докладами по вопросам текстологии. Принимала постоянное участие во встречах русских и французских текстологов.

Как председатель текстологической комиссии, Л. Д. Громова курировала деятельность всех научных групп, занятых в ИМЛИ подготовкой академических изданий классиков, в частности, являлась членом редколлегии Полного собрания сочинений С. А. Есенина, отвечая там за всю текстологию.

В последние годы жизни научная деятельность Л. Д. Громовой стала особенно энергичной и плодотворной. Она организовала деятельное сотрудничество со славистами Канады, США, Японии. Участвовала в международных научных конференциях, проходивших в Польше, Канаде, Японии. При ее непосредственном участии выходили тома 100-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого. В сотрудничестве с директором Центра славянских исследований Оттавского университета профессором А. А. Донсковым Л. Д. Громова трудилась над введением в научный обиход и комментированием новых текстов, подготовив целый ряд изданий, посвященных Л. Н. Толстому и его окружению.

В 1997 году за серию работ в области теории и практики текстологии Л. Д. Громова была удостоена премии имени А. А. Шахматова. Ее полувековое подвижническое служение русской литературе получило национальное и международное признание. Л. Д. Громова была удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ (Указ Президента РФ № 1194 от 27 июня 2000 года), являлась членом Японского толстовского общества, почетным профессором Оттавского университета (Канада). В 1999 году в Оттаве, на торжественном собрании по завершении международной научной конференции, в большом зале канадского парламента Лидии Дмитриевне вручили почетную медаль Оттавского университета за огромный вклад в научные исследования о Л. Н. Толстом. Л. Д. Громова была награждена медалями «За оборону Москвы», «Ветеран труда», медалью в память 850-летия Москвы. В 1999 году получила золотую Пушкинскую медаль, а в 2003 году — Тютчевскую медаль.

26 мая 2000 года общее собрание Российской академии наук постановило избрать Л. Д. Громову членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению литературы и языка.

В последнее десятилетие жизни Лидия Дмитриевна по-своему «окормляла» научную работу в Ясной Поляне, являлась главным редактором Яснополянского сборника, принимала участие в заседаниях ученого совета музея, в международных научных конференциях «Л. Н. Толстой и мировая литература».

В предисловии к книге «Новые материалы Л. Н. Толстого и о Толстом: Из Архива Н. Н. Гусева» (1997) Л. Д. Громова писала о Н. Н. Гусеве: «Не выносил он одного: слова, сказанного о Толстом неверно или дурно. В этих случаях он делался непримирим

и беспощаден, и горе тому, кто становился объектом его обличения и полемики». Сказанное о Гусеве во многом справедливо и в отношении Лидии Дмитриевны, достойной его преемницы в науке о Л. Н. Толстом.

Лидия Дмитриевна прожила большую, интересную, сложную, исполненную трудов, поисков и размышлений, содержательную, достойную жизнь.

Уход из жизни Л. Д. Громовой — невосполнимая потеря для науки, для каждого из нас.

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ

Г. В. Алексеева

ПРОЩАНИЕ С ЛИДИЕЙ ДМИТРИЕВНОЙ

6 января 2004 года, в 12 часов дня, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького (РАН) прощались с выдающимся ученым современности, членом-корреспондентом РАН Лидией Дмитриевной Громовой-Опульской. В фойе Института всех встречала большая фотография улыбающейся Лидии Дмитриевны, а в большом зале Института был установлен утопающий в цветах гроб с телом покойной, к которому в течение трех часов гражданской панихиды шли и шли ученые, коллеги, ученики, друзья и просто знакомые Лидии Дмитриевны.

Траурное собрание открыл член-корреспондент РАН, директор ИМЛИ Феликс Кузнецов. Он говорил об огромной утрате, постигшей ученый мир, о невосполнимости этой потери, заметил, что Лидия Дмитриевна и жила, как праведница, и умерла, как праведница, во сне, подложив ладошку под щеку. Академик Евгений Чельшев рассказывал о большой дружбе, которая связывала Лидию Дмитриевну и покойного академика Никиту Ильича Толстого, он упомянул о потрясающей скромности Лидии Дмитриевны, которая упорно отказывалась от звания члена-корреспондента РАН и предлагала целый ряд молодых ученых, достойных, с ее точки зрения, этого почетного звания. Член-корреспондент РАН Петр Николаев назвал покойную «интеллектуальной Матреной», бесребреницей, которая всю жизнь заботилась о других. О Лидии Дмитриевне как большом ученом, подвижнице тепло и проникновенно говорили академик Александр Куделин (ИМЛИ РАН), профессор, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН профессор Петр Палиевский, заведующая кафедрой русской литературы профессор Вера Аношкина (Московский государственный областной университет), заведующий кафедрой русской литературы профессор Владимир Катаев (МГУ), доктор филологических наук Галина Богатова (Институт русского языка РАН). Главный научный сотрудник ИРЛИ РАН доктор филологических наук Галина Галаган в своем выступлении признала, что со смертью Лидии Дмитриевны осиротел ИМЛИ, осиротел ГМТ, осиротела Ясная Поляна. Директор ГМТ Виталий Ремизов отметил, что в Лидии Дмитриевне было много

не только от солженицынской Матрены, но и от лучших русских императриц, подчеркнув необыкновенную царственность Лидии Дмитриевны. Руководитель есенинской группы ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Прокушев поделился воспоминаниями о совместной работе над собранием сочинений Сергея Есенина. По завершении траурного собрания заместитель директора ИМЛИ РАН Виктор Гуминский сообщил о поступивших в адрес Института телеграммах соболезнования из многих стран мира.

В 15 часов траурная процессия с Поварской двинулась на Николо-Архангельское кладбище, где, согласно воле Лидии Дмитриевны, должна была состояться кремация для последующего захоронения ее праха в могилу мужа профессора Михаила Петровича Громова. Там, на Николо-Архангельском кладбище, участники траурной церемонии провели рядом с Лидией Дмитриевной последние минуты.

В 18 часов в каминном зале ИМЛИ РАН, где всего лишь три с половиной года назад проходило чествование Лидии Дмитриевны по поводу ее 75-летнего юбилея, был устроен поминальный ужин. И опять звучали речи, но уже менее официальные — коллеги, друзья делились душевными воспоминаниями о покойной.

Феликс Кузнецов говорил о лакуне, образовавшейся в науке, о незаменимости Лидии Дмитриевны как ученого, как редактора 100-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Своими воспоминаниями взволнованно делились И. Г. Птушкина, С. А. Небольсин, А. Б. Куделин, А. М. Ушаков, В. М. Гацак, С. С. Куняев, Т. Арнатская, В. Б. Катаев, А. С. Курилов, У. Б. Далгат, Н. И. Бурнашева и многие, многие другие. Вспоминали о Лидии Дмитриевне — талантливой студентке филфака МГУ 1940-х годов, участнице толстовского семинара Н. К. Гудзия, о защите ее диплома «Историческая тема в творчестве Л. Н. Толстого», вспомнили о том, что Н. Н. Гусев завещал именно Лидии Дмитриевне продолжить работу над «Материалами к биографии Л. Н. Толстого». Говорили о «домашности» и «академичности» Лидии Дмитриевны, о ее безграничной доброте и щедрости, о высочайшей ответственности и дисциплинированности, о беспощадной требовательности к себе. Перефразируя слова Куприна о Рубинштейне, говорили о «судьбе мученицы и триумфатора». Особенно много слов было сказано о Лидии Дмитриевне как текстологе милостью Божией, о ее пристрастиях в литературе — Л. Н. Толстом и А. П. Чехове и в этой связи — о ее совместной работе с М. П. Громовым над академическим собранием сочинений А. П. Чехова в 30 томах. Л. Д. Громова первой защитила докторскую диссертацию по специальности «текстология», таким образом проложив путь другим исследователям. Речам и воспоминаниям не было конца...

Виктор Гуминский прочел телеграммы соболезнования из России, США, Канады, Великобритании и других стран.

В телеграмме В. И. Толстого, директора музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», говорилось: «Невозможно поверить в то, что ушла из жизни Лидия Дмитриевна. Казалось, она всегда будет согревать нас теплом своего удивительного человеческого обаяния, казалось, всегда можно будет обратиться к ней за мудрым советом. Ее поразительная работоспособность казалась неисчерпаемой, а сердечность и доброта поистине безграничными. Таких людей во все времена не бывало много, а по нынешним, кажется, и вообще больше нет. Нам только еще предстоит осознать величину понесенной утраты и научиться жить и работать без Лидии Дмитриевны».

Профессор Андрей Донсков, директор Центра славянских исследований Оттавского университета, писал из Канады: «Разделяю глубочайшую скорбь по уходу из земной жизни крупнейшего учено-филолога, прекрасного человека и нашего личного друга. Для нас, на Западе, Лидия Дмитриевна являлась непревзойденным учителем и в науке, и в жизни. Чувствую, что я лично осиротел в той же мере, как и все те, кто горячо ее любил. Осиротела вся Россия, потерявшая человека, так преданно, самозабвенно любившего свою Родину. Лидия Дмитриевна будет жить в памяти всех нас, в своих трудах. Но как ужасно больно, что ее нет больше с нами».

Профессор Донна Орвин, редактор журнала «Tolstoy Studies Journal», прислала в адрес ИМЛИ РАН письмо: «Невосполнимой утратой для толстоведов всего мира стала кончина действительного члена Российской академии наук Лидии Дмитриевны Громовой-Опульской. Лидия Дмитриевна была крупнейшим ученым своего поколения, являясь одновременно в глазах зарубежных славистов подлинным послом доброй воли. Ее жизнь и деятельность неотделимы от истории толстоведения второй половины XX века.

Будучи исключительно разносторонним исследователем и занимаясь множеством крупных проектов, Лидия Дмитриевна всегда скрупулезно работала над мельчайшими деталями, и ни один даже самый незначительный элемент текста не ускользал от внимания этой неутомимой труженицы.

Лидия Дмитриевна высоко ценила теоретические исследования о Толстом и уделяла им большое внимание. В то же время главной ее любовью оставалась текстология. Именно эту область она считала полем своей настоящей деятельности, к которой всегда относилась с чувством высочайшей ответственности. И если не удавалось правильно подготовить текст, если оказывалось невозможным прочесть злополучный толстовский почерк или верно реконструировать после-

довательность черновиков, то, по ее мнению, публикация была неполноценной, а будущим ученым и критикам пришлось бы иметь дело с представленным в ложном свете текстом.

Как редактор «*Tolstoy Studies Journal*», я обращалась к Лидии Дмитриевне по многим вопросам. Мне будет очень не хватать ее мудрых советов. В своей научной деятельности я многим обязана ей. В частности, у нее можно и нужно было учиться умению поддерживать свою работу на высочайшем уровне и в то же время относиться к коллегам уважительно и беспристрастно. Я имела возможность наблюдать Лидию Дмитриевну на многих научных конференциях, в которых мне посчастливилось участвовать вместе с ней. Читала ли она доклад, подводила ли итоги дискуссии или просто выступала со своими весомыми, остроумными и всегда справедливыми замечаниями, в зале неизменно царила уважительная тишина. Лидия Дмитриевна никогда не перехваливала докладчика, но у всех находила что-либо достойное добрых слов, умела поддержать ученого, в особенности — молодого ученого. Она неизбежно оказывалась главой заседаний, но не потому, что подавляла своим авторитетом, а в силу своих глубоких знаний, а также благодаря своему пронизательному, ясному уму и общепризнанной справедливости.

Лидия Дмитриевна искренне верила в братство людей всего мира. Вероятно, это было результатом как ее личных убеждений, так и ее постоянного обращения к творчеству Льва Толстого. Поэтому Лидия Дмитриевна всегда интересовалась сотрудничеством с зарубежными учеными. Лидия Дмитриевна была неизменно добра и щедра ко всем зарубежным коллегам, посещавшим ее в Москве. Она приглашала нас к себе в гости, всегда была готова оказать содействие в нашей научной работе и помочь в реализации толстовских проектов в различных странах.

Свою главную задачу Лидия Дмитриевна всегда видела в дальнейшем развитии науки о Толстом во всем мире. «*Tolstoy Studies Journal*» очень серьезно относится к этой задаче, и я уверена, что от имени всех зарубежных коллег могу сказать: лучшим памятником Лидии Дмитриевне будет наша общая работа по продолжению ее дела».

Профессор Роберт Виттакер из Нью-Йоркского университета писал: «Не могу себе представить ученую Москву без Лидии Дмитриевны, изучение Толстого, толстовских текстов и биографии без нее. Грустно, когда уходит такой светлый, положительный человек».

Свои соболезнования в адрес ИМЛИ, ГМТ и Ясной Поляны выразили ученые из Принстонского университета.

Проректор Оттавского университета Роберт Мейджер в письме соболезнования поделился воспоминаниями о годах сотрудничества

Лидии Дмитриевны с Оттавским университетом, о вручении ей почетной награды университета в 1999 году в знак признания ее выдающегося вклада в научные исследования Оттавского университета. «Госпожа Громова обладала безграничным великодушием, щедро делилась своими знаниями, предоставляла нашим исследователям, особенно господину Донскову, привилегию доступа к настоящему кладезю справочной литературы и подлинным документам. Такое великодушие объясняется только огромной любовью к русской литературе и Л. Н. Толстому. Кончина Л. Д. Громовой — большая утрата для Оттавского университета и, думаю, для российских и зарубежных ученых», — писал профессор Мейджер.

Решено было объявить день рождения Лидии Дмитриевны 21 мая и день смерти 31 декабря днями ее памяти. В эти дни двери отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН будут открыты для всех, желающих почтить память великого русского ученого.

Траурные собрания прошли также в МГУ, ГМТ. В государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» к сорока дням по упокоении Лидии Дмитриевны, 8 февраля 2004 года, была открыта фотовыставка.

Лидия Дмитриевна как-то сказала: «Со студенческих лет я поняла, что Л. Н. Толстому буду служить всю жизнь». Светлый образ Л. Д. Громовой-Опульской, самоотверженно посвятившей всю свою жизнь служению Л. Н. Толстому, русской литературе, навсегда останется в нашей памяти.

Яснополянский сборник 2004

На обложке: Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.
Ясная Поляна. 1900—1901 гг.
Фотография С. А. Толстой

Макет: В. В. Смазнова
Корректоры: Г. В. Домбровская, И. П. Лукьяненко
Верстка: А. А. Домбровский
Сканирование: А. В. Антонов

Серия ЛР № 021228 от 9.06.97 г.
Подписано в печать 22.12.04 г. Гарнитура Academy.
Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22. Тираж 500 экз. Заказ № 439.

Издательский дом «Ясная Поляна»
Тула, ул. Октябрьская, 14

ISBN 5-93322-022-1



9 785933 220220

Для заметок

Для заметок